

4 (84)

Литературно-
художественный
иллюстрированный
журнал

Отчий край





В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне журнал «Отчий край» объявляет конкурс на лучшее художественно-публицистическое и документальное произведение о героическом подвиге советского народа на фронте и в тылу.

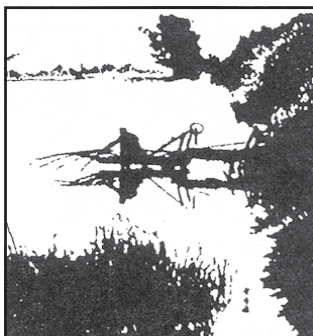
В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные авторы журнала. Материалы присылать на электронную почту «Отчего края» (otchiykray@mail.ru) или приносить в редакцию (ул. КИМ, 6, корпус «А») в электронном виде. Лучшие произведения журнал напечатает в юбилейном году.

Итоги конкурса будут опубликованы в №4(88), 2015 года.

Для победителей установлены следующие премии:
первая – 5000 рублей,
вторая – 3000,
третья – 1500,
поощрительные – 1000.

*Лауреат
Государственной премии
Волгоградской области*

*Лауреат
Всероссийской
литературной премии
«Сталинград»*



4 (84)
2014

Отчий край

Шеф-редактор
Виталий СМЕРНОВ
Главный редактор
Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ

**Редакционная
коллегия:**
Александр ВЯЗЬМИН
Лев КУКАНОВ
Борис ЕКИМОВ
Анатолий КЛИМОВ
Александра ЕРОНОВА
Владимир ОВЧИНЦЕВ
Александр РОМАШКОВ
Виктор ФЕТИСОВ

На 1-й странице обложки
репродукция картины
Александра Червоненко
«Дворец труда», 1966

В ЭТОМ НОМЕРЕ

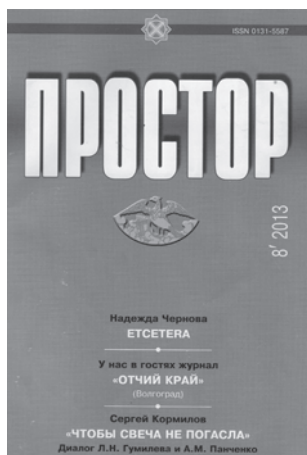
ПРОЗА	
Борис ЕКИМОВ. Осень в Задонье	3
ПОЭЗИЯ	
Освальд ПЛЕБЕЙСКИЙ. «Я никогда свободы не отдам...»	43
НАСЛЕДИЕ	
Павел ПОЛЯКОВ. Шёл девятьсот четырнадцатый...	49
НЕВЫДУМАННОЕ	
Александр ЦУКАНОВ. Дороги, дороги...	78
Хлеб наш	81
ТЕАТР	
Александр РУВИНСКИЙ. Будет новый ласковый дождь	85
ЖИВА РОССИЯ!	
Алексей КУЧКО. Феномен Парчака	90
КОНТАКТЫ	
РУССКОЕ СЛОВО КАЗАХСТАНА	95
ПОЭЗИЯ	
Валерий МИХАЙЛОВ. «Касаясь неба и земли...»	96
ПРОЗА	
Дукенбай ДОСЖАН. Кумыс	99
ПОЭЗИЯ	
Кайрат БАКБЕРГЕНОВ. Междуречье	106
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Ольга АБИШЕВА. «Мёртвый город из белых юрт»	110
ПОЭЗИЯ	
Лидия СТЕПАНОВА. «Звезда горит во мне...»	117
ПРОЗА	
Светлана НАЗАРОВА. Мой зеленоглазый аруах	123
ЧТЕНИЕ И ОБЩЕСТВО	
Вера САВЕЛЬЕВА.	
Рассказ в новейшей русской прозе Казахстана	135
ПРОЗА	
Толен АБДИК. Таласбай	140
ПОЭЗИЯ	
Любовь ШАШКОВА. Там, где деревянный дом	145
ПРОЗА	
Александр ЛУХТАНОВ. Улыбка Эрнста	148
ИСКУССТВО	
Любовь ШАШКОВА. «Наша опера родом из аула»	173
ПОЭЗИЯ	
Надежда ЧЕРНОВА. И утро, и вечер	178
ПРОЗА	
Герольд БЕЛЬГЕР. Дедушка Сергалы	182
ПРОЗА	
Александр ЯЛФИМОВ. Орлы прияицкие	188
ПОЭЗИЯ	
Ануар ЖОЛЫМБЕТОВ. Топот копыт	200
ПРОЗА	
Сергей КОМОВ. Над высоким берегом залива	202
ЭКСПЕДИЦИИ	
Владимир ПРОСКУРИН. Аткинсон попал в Копал	209
ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ	
Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ. Тайна остаётся	215
ПРОЗА	
Анатолий ЕГИН. Ополченец	222
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ МОЗАИКА	
Александр ФОЛИЕВ. Трындычиха из Царицына	237
Александр СМЕРНОВ. «Глишь» и не сарептское масло	238



Осень в Задонье



Будет новый ласковый дождь



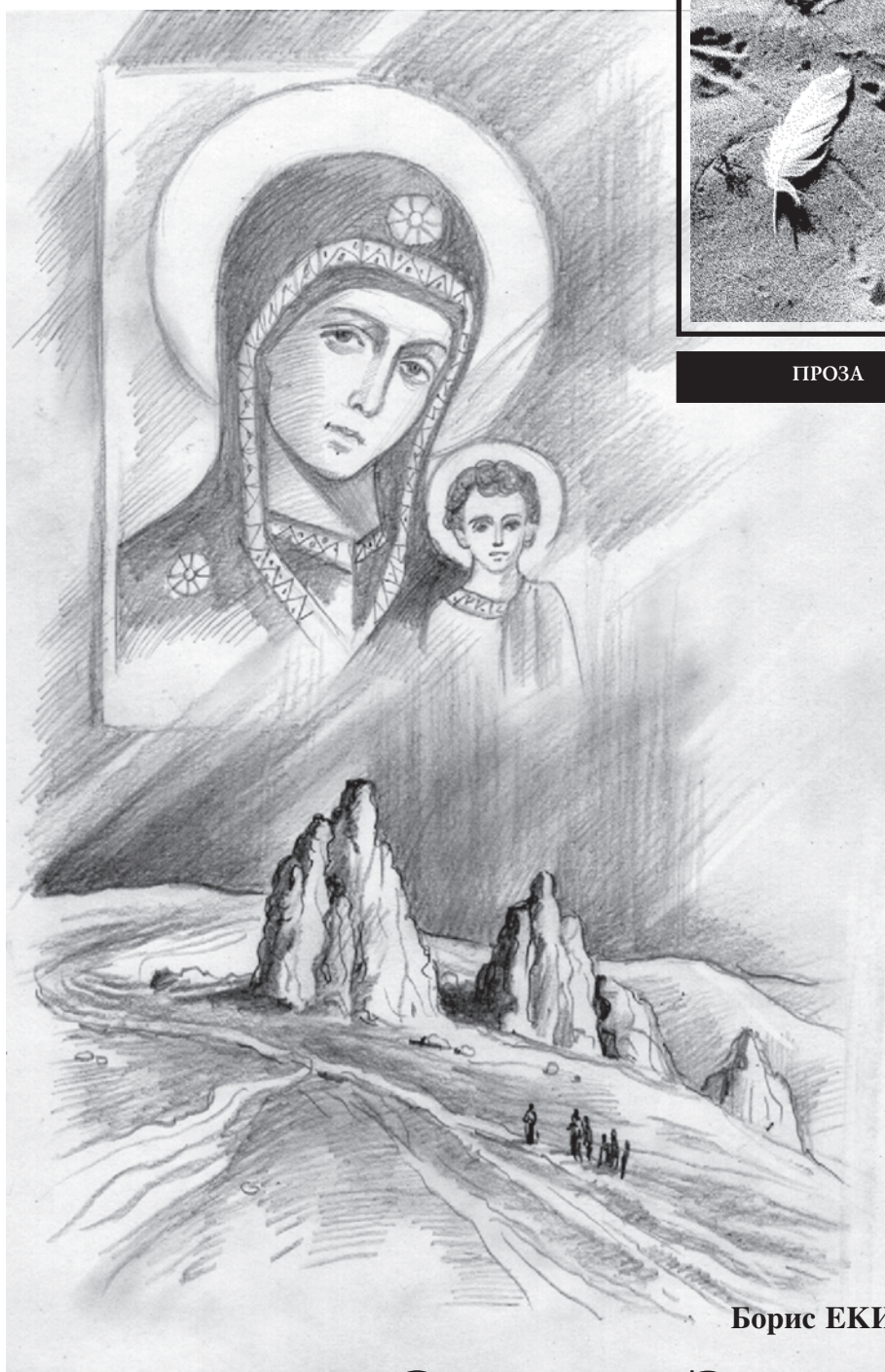
Русское слово Казахстана



Тайна остаётся



ПРОЗА



Борис ЕКИМОВ

Осень в Задонье

Повесть

Рис. Вадима ЖУКОВА

Глава 1

Молодым летом, за неделю до Троицы, в далеком глухом Задонье, на хуторах, свой век доживающих и вовсе ушедших: Большой Басакин да Малый, Большой Голубинский, Евлампиев, Зоричев, Теплый, Венцы да Ерик, не одним разом, но объявлялись машины и люди приезжие из окружной станицы, районного городка и даже из областного центра. Правились они не к жилью хуторскому, остатному, не к руинам, а на кладбища, к родным могилам, подновляя их, прихорашивая свежей краской, бумажными цветами, венками.

Подступала Троица — праздник великий для всех живых и ушедших, а для здешних краев еще и свой, престольный, с давних лет самый чтимый в округе.

Во времена прошлые возле хутора Большой Басакин, на прибрежном высоком кургане, на самой вершине его из-под каменных плит бил могучий трехструйный родник с просторной каменной чашею, из которой мощным шумливым потоком по каменистому руслу вода устремлялась вниз, к недалекой речке.

Когда-то, в пору вовсе древнюю, в этих краях бушевали подземные могучие силы. Легко поднимая и разрывая песок да глину, выпирали наружу, вздымались, дыбились, порою рушась, огромные серые каменные плиты да белые меловые. Тогда, видно, и появился этот могучий диковинный курган с мощным родником на вершине, с каменными да меловыми выходами и глыбами.

Долгие годы — сотни, а может, и миллионы лет — земные и небесные воды, вечный ветер промывали и пробивали в навалах и выходах мелов и камня узкие щели, проемы, арки, потаенные пещеры да гроты. Там и здесь словно созидались на кургане и рядом островерхие каменные пирамиды, колонны да башенки, арки. Порой не верилось, что все это не человек создал, но природа и долгое время.

Именно здесь, на вершине кургана, возле родника и была когда-то найдена, объявилась икона Задонской Божьей матери. С той далекой поры курган называться стал Явленным, как и родник. Там поставили часовню из камня-«плитняка» на высоком фундаменте. Возле нее ежегодно свершался молебен, на который съезжался и сходил народ со всех хуторов и станиц, окрестных и дальних. Из мест далеких народ разный стекался заранее: молеельщики, старцы, юродивые, калеки да болящие, чающие исцеления. В ближних селениях их привечали едой и ночлегом.

В канун Троицы округа просыпалась в ночи, ближе к рассвету вскипая, словно потревоженный муравейник. Со всех сторон к Явленому кургану тянулись вереницы пеших людей, конных и воловьих повозок, телег, бричек. Окрестные хутора в этот день пустели. Зато в Большом и Малом Басакине и вокруг Явленного кургана приезжие теснились кучно: лесом вздымались в небо дышшины да оглобли.

А народ все прибывал, пылили дороги.

Не зевали торговцы, заранее разбивая возле кургана и речки свои палатки с булками, пряниками, кренделями, орехами, сладкими цареградскими рожками, конфетами, морсом да лимонадом на льду. Торговля шла бойко.

Но главное, конечно, служба и общий молебен. Священство, певчие приезжали не только свои, станичные, но из Калача, Пятиизбянской, Нижне-Чирской, из знаменитого Новодонского монастыря, и, конечно, приходили монахи и старцы-отшельники, которые спасались в пещерах и кельях Явленного кургана, в Церковном провале, на Скитах.

Крестный ход, многолюдный, с иконами да хоругвями, с Явленной Задонской Богородицею, свершался вокруг часовни. Потом была служба, освяще-

ние родника, омовение в водах его. А потом — просто людской шумный праздник: свой, престольный и всеобщий — Святая Троица.

При советской власти часовню убрали. Высокий фундамент даже взрывали, чтобы навовсе искоренить, как говорили в те времена, «религиозный дурман». Тогда же пропал Явленный родник: один за другим истончились, а потом иссохли три светлых ручья, какие бежали из-под плит камня-песчаника. Потрескалась каменная чаша, заросла полынью. В ту же пору из станичного храма исчезла хранящаяся там Явленная икона.

Праздник кончился. Но еще долго на Троицу украдкою, чаще ночной порой, приходили на Явленный курган помолиться старые люди и старые же монахи из пещер. Советская власть монахов пыталась выкурить, но не смогла. Говорили, что там, на Явленом кургане, на Скитах, в Церковном провале под землею не только кельи, часовни, но длинные, на много километров ходы, ухороны, потайные лазы и даже подземный настоящий Троицкий храм. Ведь устройением подземной обители в свои последние годы занималась знаменитая в донских краях игуменья Ардалиона. По преданию, туда она и ушла, оставив мир.

С «дурманом» и «поповщиной» долго сражались хуторские «активисты»: Мосейка Рулян, Дюня — «Партийный глаз», Петя Галушка, пытаясь поймать главных врагов — монахов-молельщиков. Они окружали курган да подкрадывались, но всякий раз возвращались на хутор ни с чем. Молельщики исчезали, словно уходили под землю. Может, это были вовсе не люди, а одни лишь виденья.

Серьезней боролись с «монастырщиной» «госбезопасность» да военные. Они устраивали облавы, взрывали найденные ходы, кельи, пещеры.

Все это было. И ушло. Поросло былью и небылью. Но старые люди говорили, что на большие праздники у Явленного кургана из-под земли слышен колокольный звон и церковное пение. Порою в этом краю, чаще в ночное время, вроде бы появлялись люди ли, призраки.

А еще долгие годы, нечасто, но в положенный срок, в прежние времена потаясь кружила по хуторам окрестным повозка: смиренная лошадка, дощатый короб с брезентовым верхом, возница — монах ли, старец в сером балахоне с клобуком, лицо закрывающим. Он не просил подаянья, объезжая за хутором хутор, но собирал людей на молебен. Поднимался брезентовый полог повозки, открывая невеликий иконостас. Возница, сняв серый балахон, оказывался в черном одеянье с белыми нашитыми крестами на груди, спине, клобуке. Обычно молебен свершался на месте порушенных часовен, на кладбищах, в станице — у стен обезглавленного храма. Монах объезжал дома, усердно молясь возле хворых, пользуя их святой водой да «святыньками», при случае — соборовал; детишек крестил.

Так продолжалось долгие годы. Конечно, потаясь, ухороном. Порой повозку с возницею ловили местные власти, в райцентр отсылали. Но через время снова появлялась в округе лошадка с повозкой, при ней возница в балахоне, лица не видать, лишь борода торчит.

Откуда приезжали монахи с повозкой и куда пропадали, никто не знал. Но даже в трудные годы в повозку всегда клали не скупясь: муку ли, пшено, кукурузу, картошку, другие харчи. Старые люди говорили, что посланцы эти из подземного монастыря, который жив и теперь.

В годы послевоенные, нелегкие, хуторская ребятня скот пасла, работала на бахчах да плантациях и по округе мыкалась с весенней поры до снега, добывая немудреную еду: птичьи яйца, сусликов, лук-скороду, корни козелика, дикие яблоки, терен и прочую зелень. Те, кто постарше да посмелей, искали оставшиеся после войны блиндажи, подбитые танки, в которых по-

падалось съедобное: немецкие консервы, галеты или иное: часы, бинокли, мешки, плащ-палатки, парашютный шелк — все годилось в хозяйстве. В эту пору детвора натыкалась на пещеры в Церковном провале, на Скитах, возле Явленного кургана. Конечно, ни еды, ни трофеев там не было. Лишь подземные ходы, кельи, порой обшитые деревом или обложенные камнем. Там были лавки, спальные нары, столы и много икон, крестов. В ту пору нравы были строгие. Ребяшня в пещерах не бедокурила, а извещала о них людей старших, которые приходили, забирали иконы и обрушивали, заваливали ходы, чтобы никто не лазил, не осквернял святое место. И, конечно, за детей боялись: подземные ходы да кельи — дело опасное. Ходили слухи, что тянутся эти ходы до самого Дона.

В годы нынешние хутора быстро безлюдели, вовсе расходились, доживали в них одни старики. Некому было колесить по округе. И повозку с монахом давно не видели.

Зато объявился другой народ, любопытный, расспрашивая да выведывая про подземный монастырь, о котором в Большом Басакине никто и ничего толком уже сказать не мог. Даже набожный дед Савва, который за веру много страдал: тюрьмы, сибирская каторга, молчал. Ничего от него не добьешься.

А еще в годы последние на Троицу на хутор Большой Басакин свой народ стал съезжаться, вспоминая старину, казачий свой род, молодость, родные края и родные могилы. Басакины, Атарщиковы, Неклюдовы приезжали целыми семьями, загодя, с ночевой. Сначала растекались по когда-то просторному хутору и всей округе, проводывали хуторские кладбища и свои, родовые, угадывая с трудом, искали и находили, показывали детям и внукам затравившие бугорки да канавки, остатки задичавшего сада или одинокую корявую грушу-«дулинку» на месте родовых дедовских подворий. Вспоминали. Роняли слезу.

Проводывали Гиблый курган — страшное место, куда в тридцатые годы со всей округи власти сгоняли народ перед сибирской высылкой. Кулацкий поселок номер два называлось это место официально. Туда привозили и пригоняли людей осенней да зимней порой на голое место, в пустую степь. Морили голодом, холодом. Народу там полегло, что травы. Особенно старых да малых. Но ни могил на том месте, ни крестов. Венки да цветы приезжие клали на землю. И боялись по ней ступать. Там — родненькие лежат.

Поминали. Молились.

А потом просто отдыхали на воле: рыбачили, купались, собирали троицкие пахучие травы. И, конечно, радовались жданным и нечаянным встречам с земляками, близкой и далекой родней, порою уже подзабытой.

По новому же обычаю в канун Троицы всем известный Аникей Басакин — последний хуторской жилец из молодых — ставил на речном берегу, возле Явленного кургана большую армейскую палатку, готовил костры и котлы, чтобы угостить земляков казачьим «полевским» хлебом с бараниной, луком, пшеном, а еще, как положено, троичкой яишней, и приглашал из станицы старого священника.

Год от года народу съезжалось все больше.

Одних лишь Басакиных — счету нет. Станичные Федор Иванович, Егор Фатеевич со взрослыми уже детьми да внуками. Районный землемер Тимофей Иванович, у него — три сына, старший — летчик, полковник. Чапурины, Пристансковы, Хныкины — коренные роды, здешние. А еще голубинские, набатовские, евлампиевские, ильменские: Калмыковы, Гуляевы, Детистовы, Карагичевы... Из областного города приезжали, из районного центра, из Москвы, Питера, других городов далеких, порою даже из Сибири, куда в годы лихие целыми хуторами высылали «рассказаченных» да «раскулаченных».

Одним словом, на Троицу в стороне задонской, обычно пустынной, возле хутора Басакин, у кургана да речки, становилосьлюдно. Машины, цветные яркие навесы, полога, шумливая детвора, радостные встречи, разговоры — все это живило округу.

А еще и свой батюшка подъезжал, из города, отец Василий, молодой, тоже из басакинских, привозил он дьякона да певчих.

Служили молебен на кургане, возле бывших часовни да родника. Молились. А потом продолжали праздник. Выпивали понемногу и не все: впереди — дорога. Зато истово хлебали свежую уху да пахучий кулеш с бараниной, разговлялись троицкой яишной — за то спасибо Аникею, он в этом краю теперь за хозяина.

Детвора да молодежь купались, рыбачили. Люди постарше мирно беседовали, поминая давнее, в котором горького было через край: высылки, войны, голод. Оттого и бежали. Но еще были детство, близкие люди, чьи могилки рядом, были юные годы, которые утекли, и родная округа, которая в прежней поре.

Словом, есть о чем «погутарить». Басакины ли, Нагайцевы, Подсвиroyвы... Дворяродные да троюродные, вовсе седьмая вода на киселе, но — свой круг: «земеля», «годок», «односум»...

Вспоминали былое: свое и вовсе давнее, слышанное от отцов и дедов. Маркиан Басакин — лихой рубака, имел три Георгиевских креста. Как не вспомнить его, не помянуть. Могучий Титай Подсвиroy, который, жалея быков, выпрягал их из тяжелого воза и брался за войе, тащил, приговаривая: «Конечно, быкам не осилить. Сам еле тяну».

И о нынешнем не больно сладкие речи. О том, что Дон без хозяина гибнет. Скоро не то что рыбы, лягушек да ракушек не останется. А ведь бывало... О стерляди, осетрах вспоминали, о пудовых сазанах, лещах и вовсе страшенных сомах, которые скотину, людей в воду утягивали, а гусей да уток живьем глотали. Нынче донские воды пустыли, берега загажены, прибрежный лес рубят и жгут чужаки. Земля не пашется и не сеется. Захватили ее чечены, дагестанцы и прочий «кавказ», погубив заливные луга да займища. Вот он — огромный Басакин луг, который в старые времена сеном снабжал всю округу. Его берегли, скотину по весне на нем не пасли, даже на телеге здесь запрещалось ездить. А нынче чеченские отары, овечьи да козьи, превратили Басакин луг в пустую толоку. И не только луг. Курганы уже голые стоят: ни чабора на них, ни поляны — все козы выдрали.

Особенно горячился здешний житель Аникей Басакин, у него немало скотины и рыбная ловля.

— С одной стороны Вахид меня поджимает, — объяснял он. — С другой — Ибрагим. А мне, коренному, скотину пасти негде. На Дону — ростовские, шахтинские, вся Украина. Гуртом. Их никакие границы не держат и тоже законов для них нет: загадили, загубили все, — жаловался он, казачина крепкий, большерукий, и приезжих просил: — Наших сюда присылайте. Чтобы была подмога. Можно ведь и рыбацкую базу устроить, и охотничью, навести порядок, чужаков отвадить, своих приучить к порядку. Казаки... В городе ходят, с лампасами, — горячился он. — Сюда их присылайте. Сделаем конную школу, для молодых. У меня лошадки гуляют. Туристов можно возить. И работать можно, скотину водить, птицу. Дома у меня свободные. Задаром отдам. Живите, работайте. Своим я всегда помогу... Это наша земля, родная... Мы тут хозяева. Пашу Басакина жду. Военный человек, полковник. Он придет, наведем порядок.

Аникеевы речи слушал народ приезжий, сочувствуя и одобряя, тем более что встречал он гостей не скупясь: шулом из баранины, уха, троицкая яишня.

А народ приезжал непростой: майоры, полковники милицейские и даже армейский генерал из Москвы: Чапурин, но тоже родов Басакиных; профессор из университета, начальники из района и области; серьезные бизнесмены: хозяин гостиниц и ресторанов Хныкин со взрослыми сыновьями, которые тоже при деле; Талдыкины да Черкесовы...

Все они чтили свое казачество, родство, гордились им, видели горький исход. Сочувствовали Аникею, порой помогали.

Но у каждого давно уже была своя налаженная жизнь, которую не повторишь. Один лишь Павел Басакин — военный летчик, обещал и обещал твердо: «Вот отлетаю и здесь поселюсь. Пригоним дебаркадер, на устье поставим, Иван Подсвилов тоже демобилизуется. Николай Черкесов... Наведем военный порядок. База рыбацкая, охотничье хозяйство, конноспортивный лагерь для молодых казаков», — планировал он уверенно. Но потом уезжал, как и все остальные. Уезжал, улетал в далекие страны: Африка, Индия. Уезжал, но долго помнил праздничный день: Троицу, Явленный курган, речные воды, терпкий степной дух, сердечные разговоры в ближнем кругу и, конечно, песни:

Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя!

Особенно хорошо получалось, когда привозили из райцентра голосистую Марковну да Ивана Переходнова.

Не для меня придет весна,
И Дон широко разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств не для меня.

Пелось и слушалось так хорошо, что даже сердце щемило:

А потом:
Не для меня цветут сады...

Пчелочка золотая,
Что же ты жужишь?
Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль...
Вдаль не летишь.

Это уже весело, порой с плясом.

Славный получался праздник. Но недолгий. К вечеру разъезжались. Наутро будто и не было ничего.

Речка, просторный Басакин луг да задичавший Басакин сад, огромная речная долина, которая тянется на десятки верст, от Венцов, Голубинского, Теплового — когда-то хуторов людных, казачьих, от балок ли, провалов Чернотубова, Сибирькова до Монастырского ли, Церковного до Явленного кургана, Скитов и самого Дона. И везде — тишина, безлюдье.

Редкие гурты скота да овечьи, козы отары. Машина порой пропылит. Это Аникей Басакин харчи своему пастуху повез и заодно выбирает места для покосов. Теперь — самое время. А может, кто-то из пришлых, свои ли, чужие.

Машина пробежит, уляжется пыльный хвост. И снова тишина, безлюдье. Лишь редкие нынче суслики посвистывают да черные коршуны сторожат поднебесье.

Тишина. Троицкие травы цветут, пахучие, терпкие: сиреневый чабор, розовый железняк, местами — шалфей, белый и желтый донник-«буркун», пылит горькая полынь, стелются, словно текут, ковыли, серебрясь на солнце. Кое-где, на месте давно оставленных людьми хуторов, которых знак — лишь могилки, там — кресты, железные надгробья; на них недолго, но ярко светят цветы неживые, добела выгорая под жарким солнцем.

Эта память на короткий срок.

Долгую память храня, высится над степным покоем курган Явленный. Годами древний, но как и прежде — могучий, он вздымается над водой и землей, словно огромный храм.

Именно так — храмом господним называла этот курган великая праведная старица, знаменитая игуменья Ардалиона, которую в годы прошлые знали все. В нынешнюю — немногие, но все же помнили, чтили. Потому что она была из этих краев, родом Басакинских, по отцу — Атарщикова.

Но все это тоже — лишь долгая память.

Глава 2

Вечером солнце садилось в синюю тучу; недолго полыхал просторный багровый закат, а потом сразу смерклось, стемнело, как и положено в пору осеннюю.

По обычаю Иван улегся спать рано и разом уснул, как всегда, за день намаившись, но среди ночи проснулся: он чутко спал, тоже по здешнему обычаю. Нынче встревожил и разбудил его какой-то недобрый сон или необычный звук. Иван недолго полежал в постели, вслушиваясь, и ничего не услышал, но все же решил подняться, выйти на волю: мало ли что... Фонарь зажигать не стал. Одежда была на привычном месте, искать не надо. Куртку накинул да сунул босые ноги в сапоги, дверь отворил и замер на пороге.

В тесном вагончике, жилье нынешнем, было темно, но привычно: стены, крыша, пол, любая вещь под рукой, лишь шагни да пошарь.

А через отворенную дверь вдруг навалились глухая темь и глухая тишь. Даже дыхание перехватило. За спиной — нажитое тепло, за порогом — тьма непроглядная, словно черная вода: ни земли, ни неба. Иван почуял тошнотворный обморочный страх. Раньше такого не случалось, сколько прожил здесь. А вот теперь... Рука сама собой потянулась к ружью, которое висело рядом с дверью. Снаряженное ружье, от волков. Щелчок предохранителя, рука — на ложе. И сразу стало легче. Но темь кромешная и мертвая тишь никуда не делись.

Иван шагнул за порог и осторожно, будто впервые, спустился по ступеням на землю. Шаг шагнул, а дальше не мог. Снова подступил страх, оттого что за спиной уже не было прежнего оберега: стен и крыши вагончика. Но главное — близких людей нынче не было: жены, сына.

Лишь тьма и тьма. Сырая тьма и глухая тишь. Мерещилось, будто что-то недоброе, страшное таится рядом, подстерегая. Такое было лишь в далеком детстве: когда жили в своем доме, Иван боялся поздним вечером ходить в дворовый туалет. Темноты боялся и просил: «Мама, проводи...» Отец укорял: «Большой уже...» Но мама понимала. И вот теперь хоть маму зови.

Впервые, с тех пор как поселился здесь, осязаемо, умом и сердцем, Иван вдруг понял, как далеко он забрался, в какую глухомань. За речкою, в двух километрах — безлюдный брошенный хутор. А дальше — вовсе глухая тьма, на полсотни верст, во все стороны.

Верный помощник Дозор неслышимо вылез из-под вагончика и, встав рядом, звучно зевнул, клацнув вершковыми зубами. И сразу отлегло. Отсту-

пил тяжкий морок, возвращая обыденное: собака — здесь, жилье — за спиной, в двух шагах — скотьи базы, загоны. Там — вся живность.

Страх отступил. Тьма оставалась прежней, но иным зрением Иван уже видел круг ближний, привычный: справа — густые заросли тальника, высокие, с могучими кронами тополя да вербы над речкой; бобровая заводь с прочной плотиной; слева — крутой обрыв Белой горы — кургана приречного, морщинистого, изрезанного дождевыми потоками. А между ними — малый приют: железные вагончики, хозяйство — выгульные базы, стойла, сараи, птичники, сено да солома в скирдах да тюках. Приют человеческий и скотий.

Все свое, своими руками строенное, лепленное, уже привычное. И потому даже во тьме, без опаски и ощупки, он обошел хозяйство, чувствуя, как с каждым шагом оставляет его невесть откуда взявшийся, словно детский, страх. На открытом базу шумно вздыхали коровы, жевали жвачку. Заслышав шаги, сонно забормотал индюк, который вместе со своим семейством по летнему времени привык ночевать не в птичнике, под крышей, а на воле, на жердях огорожи, лисиц не боясь. Еще один хозяин — петух, нехстати разбуженный, сердито заклокотал и прокукарекал, отмечая неизвестно что.

Петуший крик окончательно рассеял все страхи, виной которым то ли тяжкое сновиденье, а скорее, недавний отъезд близких: отца, жены, сыновей.

Можно было идти досыпать. Дело осеннее, светает поздно, да еще и погода ненастная.

Протяжные далекие стоны, повторенные раз за разом, донеслись откуда-то сверху, с холмов. В ночи, во тьме звучали они жутковато. Иван понял: вот что его разбудило. Это был призывный клич лося-самца. Лосей в Задонье давно уже выбили. А этот, единственный, невесть откуда забредший, кричал и кричал по ночам, не слыша ответа и призывая не подругу, но гибель свою: выследят и застрелят.

В ночах прошлых, звездных, светлых от луны, сохатый кричал призывно, трубно. В ночи нынешней, сырой и мглистой, слышались в этом зове лишь печаль да усталость. Но для Ивана это был просто голос живой, знак ободренья. Прожив на белом свете тридцать пять лет, Иван в последние годы твердо уверовал, что не зверей да каких-то чудищ надо страшиться, а людей. Их надо бояться белым днем, а особенно ночью.

Но в этой задонской округе люди водились редко.

За речкой и просторным лугом, в двух ли — трех километрах еле дышит хутор с громким названием Большой Басакин. Людей в том Басакине — на пальцах одной руки перечесть, все — ветхое старье.

Еще недавно там жил Аникей Басакин — сорокалетний крепкий мужик, которого знала вся ближняя и дальняя округа. Ивану он приходился троюродным братом. Далекая, но родня: по отцу, по фамилии, роду. Басакины коренились на этой земле издавна. Басакины сады, Басакины колодезя, Басакинские поляны, Басакин провал, Басакинские перекаты — эти имена и поныне живы. А еще — хутора: Малый да Большой Басакин. Малый давно ушел, оставив после себя лишь память да заплывшие руины. Большой Басакин доживал свои последние дни. Теперь он лежал во тьме. Еще недавно, влюбую, даже ненастную ночь неяркий, но издали видимый купол огней поднимался над подворьем Басакина. Ранним утром оттуда слышался голос трактора. Теперь хозяин ушел и над округой сомкнулась тьма.

Снова и снова, но теперь уже глуше, издали донесся голос сохатого: стоны ли, зов. И тут же затревожилась, заволновалась птица. Забормотал старый индюк, вперебой ему разом загладело все стадо.

Пришлось вернуться, вместе с собакой.

— Ищи! Гони! — приказал Иван.

Послушный Дозор пробежал вдоль городьбы, принохиваясь, и, поймав свежий след, подлаивая, пошел ломить напрямую, через заросли тальника, к речке. Видно, и впрямь кто-то приходил. Дозору в помощь проснулся Тимошин голосистый Кузя, залаял, засуматошился, пугая неизвестно кого.

Летом в закрытых птичниках жарко. Индюки привыкли ночевать на жердях городьбы, словно на нашесте. Лисиц Дозор издали чуял, не подпуская близко, а молодых, неопытных, с ходу давил. Молодой, но уже могучий кобель — кавказская овчарка. А вот увертливая мелкота: хори, норки ли уже погубили несколько птиц, перегрызая им горло. Пора было приучать индюков к месту, иначе к зиме, к продаже, и резать будет нечего. Давно уж пора... Да все — недосуг. Вроде бы осень пришла. А дел не становится меньше. Наверное, не привык еще: новое место, новое дело.

Еще недавно Иван и не думал, что окажется здесь, вдали от людей и привычной жизни. Привычное осталось в районном городке, до которого вроде и недалеко, всего полсотни километров. Но каких... Немалой частью — грунтовых, глинистых, разбитых, в непогоду вовсе непроезжих.

В райцентре Иван Басакин прожил обычное начало жизни: родители, школа, техникум, армия, потом — работа на заводе, ранняя женитьба, дети, свой дом. Но время в страну пришло непростое. Все резко менялось, ломалось вместе с людскими судьбами. В поселке, где жил Иван, не стало работы. Пятак невеликих заводиков барахтались недолго. Все закрылись: мясокомбинат, молочный, судоремонтный, авторемонтный, стройматериалов... Одни — раньше, другие — позже, но конец один: пустые цеха, выбитые окна и двери, проломы в оградах, стаи бездомных собак.

В большом семействе Басакиных, где Иван был сыном младшим, лишь глава семейства — Тимофей Иванович остался при своем землемерском деле, работы ему даже прибавилось: бывшую колхозную землю делили, сдавали в аренду, продавали. Басакин-старший даже ушел с государственной службы, чтобы работать от себя, частным порядком. Мороки было много, но дело того стоило. Тем более что лишь старший сын его — военный летчик, оставался хоть и не в качестве прежнем, но при своей профессии и на своих хлебах. Два других — оба семейные — потеряли работу, не сразу находя себя в новой жизни. Средний сын Яков стал торговать. Сначала муку да сахар возил с мельниц, заводов, торгуя прямо с тележки-прицепа. Потом обзавелся палаткой, пристегнул к делу жену и понемногу расширял ассортимент крупами, солью, спичками, чаем — все простое, для небогатого поселкового люда. Дело пошло.

А у младшего, Ивана, к торговле душа не лежала. Тем более, когда закрылся его завод, уже все мужики в поселке чем-нибудь торговали на просторном рынке или «таксовали» да еще, по новой моде, за деньги невеликие все подряд охраняли: школы, детские сады, больницу, конторы, магазины. Но семью с двумя малыми сыновьями нужно было кормить.

Отец помог Ивану купить невеликий пассажирский автобус «ГАЗель». В поселке заработка не получилось: много желающих возить, мало желающих ездить за деньги. Рейсы в областной центр выгодней, но туда в одиночку не пробьешься. В самом областном городе было проще: плати хозяину маршрута и вози хоть круглые сутки. Но за выгодный маршрут и плата соответственная. А еще: контролеры, «гаишники» и любые «менты» в форме ли, с «корочкой», «надзирающие». Всем — плати и плати. Крути баранку с рассвета до полуночи, угождай пассажирам: там остановился — не там; кормись всухомятку, спи в машине или в каком-нибудь закутке на десятирках. Забывая жену и детей.

Иван помучался в городе месяц-другой. Особого барыша не получалось: лишь на хлеб да соль. Потом его дважды за неделю ограбили. Все было попростецки: окраина, Дубовая балка да Новоселье. Последние пассажиры. Один — рядом, другой — позади. «Останови!» И нож — на шее. Забирают деньги. И исчезают во тьме какого-то переулка. Ищи их — свищи. Да и кто искать будет?

На этом городские заработки кончились.

Но жить и кормиться надо. Куда-то на стройку ехать в Москву да Питер? Не каменщик-плотник, возьмут лишь на «подсобку». Объявлений много, но проку от них... Обещают золотые горы. Брешут. Ездит народ, но сладкого мало: чаще всего возвращаются с пустым карманом. Тем более, придется семью бросать. Жена была против, говорила: «Иди в охранники... Пусть небольшие деньги. Но дома...»

С отцом и братом — все вместе думали-рядили и поменяли «ГАЗель» на грузовой термофургон «Бычок». Снова сел Иван за баранку. Сначала работал по заказам базарных мелких торговцев да небольших магазинов, мыкался по городским оптовым базам. Колбасу да сосиски возил от местного «колбасника», вяленую да копченую рыбу, объезжая окрестные хутора да села, в Калмыкию порой забираясь и даже в Астрахань.

Почти год работал на городскую молочную компанию, по всей области развозил кефиры да йогурты. Платили неплохо, но порядки строгие: шесть дней за рулем по двенадцать часов. В день выходной тоже сидишь, словно на кукуле, на привязи: спиртного, даже пива — ни грамма, потому что могут вызвать на подмену — это в контракте записано. Работа нелегкая, но платили неплохо. А потом вдруг зарплату урезали почти вдвое. Пришлось уходить.

Снова началась маета. У крупных клиентов своя техника или договоры с серьезными транспортниками. День и ночь по трассам огромные «фуры» идут и идут. А всякая мелкота, вроде Ивана, лишь на «подхвате», при случае, у такой же мелкоты.

За эти годы Иван чего и куда только не возил. С ранней весны до осени: цветы, огурцы из Краснодара и Ставрополя, черешня, вишня, абрикосы, помидоры и прочее, заканчивая арбузами-дынями. И от людей возил на ростовские, саратовские, московские базы. И от себя: покупал да продавал, оптом ли, по рынкам. Всю географию изучил: Астрахань, Краснодар, Тамбов, Пенза, Воронеж, Казань, Уфа. Но сладкого в той «географии» было мало: днем, а чаще — ночью в дороге, в чужих людях и всякий норовит тебя «надуть-обуть-облапошить» или просто грабануть. По иным трассам, вроде ростовской, опасно ездить: товар вместе с машиной отбирают. На рынках, особенно в Подмоскovie, «мафия» да шпана. За все платишь, но машину, товар и на минуту оставить нельзя. Приходилось жену с собой брать или племянника, потом старшего сына. С помощниками легче, надежней.

Другая беда: милиция да «гаишники». Попадись им в лапы, разденут догола. Деньгами берут и любым товаром не брезгуют. «Колбасу везешь? Огурцы, рыбу? Давай на закуску!» — «Не мое... — отнекиваешься. — От хозяйина, по весу, под пломбой...» — «Ты чего нам поешь? Просишься на отстой, на отдых?» Вот и конец разговору. Не дай бог, поставят на штрафстоянку, «до выяснения». И будешь стоять. Было всякое: помидоры текли, клубнику вываливал...

С «ментами» права качать лишь себе в убыток: плати, отдавай и молчи.

Был у Ивана знакомый «гаишник» — бывший одноклассник. Однажды, при случае, очередную жалобу выслушав, произнес он, вздохнув сокрушенно: «Что же делать... Порода у нас такая». Одноклассник был с малых лет

краснощеким и крепким увальнем. Вот и теперь, в разговоре, он лишь губами пошлепал, огорчаясь, и повторил: «Такая порода...»

Эта «порода» была ненасытно-прожорливой и наглой, а порою страшной.

И потому, когда отец предлагал взять в рассрочку еще и вместительный «КамАЗ» и, может быть, даже с прицепом, Иван не спешил соглашаться, отговариваясь: «В долги лезть... Летом, может, и будет чего: фрукты, овощи, зерно, арбузы. А зимой — на прикол? Тем более, “КамАЗ”. Не хвалят его. Запчастей не накупишься».

Он отнекивался, хотя и понимал, что семью из четырех человек его нынешняя «лошадка» не вытянет, доходы не те. Но брать «КамАЗ» — это долго, считай, навсегда запрячься в его хомут и оглобли. Сказать себе: «Другой жизни не будет». А эта жизнь, нынешняя, не больно Ивану нравилась, и все казалось ему, что вот-вот должно объявиться иное, похожее на прежнее, когда на заводе работали. Конечно, и там была зарплата внятяг и много чего не больно сладкого, но теперь, через время, вспоминалось главное: утром идешь на работу, вечером — дома. Два выходных — великое дело, да еще — отпуск. По молодости — гулянки, танцы, иные забавы. В семейном быту — жена и дети, всякий день вместе. Квартиру успел получить от завода. И знал наперед, что так оно все и будет: завод, работа, каждый месяц, пусть невеликие, но «аванс» и «получка» — у него, у жены; вечером — дома, с ребятишками; отец и брат рядом; рыбалка в дни выходные; отпуск. Работал на заводе мастером и знал, что помаленьку, но будет вперед продвигаться: старший мастер, начальник смены, потом, может, и выше. И жилье дадут попросторней. В семье уже два сына. Жена еще девочку хотела.

Потом вдруг все стало разваливаться и совсем ушло. Весь завод: шесть цехов его, не считая подсобных. Все вывезли. Все порушили. Тихая война без бомбежек и взрывов. И словно после войны, как показывают в кино: пустые глазницы цехов, порушенные кровли, стены, лишь ветер гуляет да стая бездомных псов — за хозяина, кого-то даже загрызли. А еще в пустых цехах люди вешались, по пьянке или просто от горя: работы нет, денег нет, жена, дети... В конце концов: «Пошло оно все... С такой жизнью...»

А совсем рядом война настоящая — Чечня. Туда днем и ночью самолеты летят с близкого аэродрома. Гудят и гудят. И людей в Чечню набирают, по контракту. Обещают большие деньги. Но живым или мертвым? Гробы откуда везут.

Иван на войну не собирался. Не дошло дело. Но в мирной жизни радости было мало. Есть заказы — работаешь, не разбирая ночи и дня: едешь и едешь, спешишь, к дому прибываясь редко. Нет работы, значит, маешься, жене и детям в глаза стыдно глядеть. Глава семьи, кормилец... И завтра, и через год такая же песня.

Вначале, в первое время, надежда теплилась: может, изменится что? Завод, потом остатки его продавали да перепродавали. Всякий раз при такой вести разговоры шли: пришел нормальный хозяин, он все восстановит. Заказы есть, начнется работа.

Но раз от разу надежда все более гасла. Накапливалась горечь. Порою вспыхивала молодая отчаянная злость, которая в конце концов и привела Ивана к часу нынешнему: далекое Задонье, глухая ночь, одиночество, тьма, безлюдье, протяжный клоч одинокого лоса, похожий на стон. А может, это вовсе не лось, а что-то иное стонет и плачет в полуночной тьме.

Еще вчера рядом были дорогие люди: жена, отец, сыновья. Погожие день и вечер, потом лунная ночь.

Прощаясь с летом, устроили праздник. Раков ловили на отмели, с фонарем, с лодки. Потом их варили на берегу, на костре. Светлая была ночь, лун-

ная. Пресное дыхание воды. Старые могучие тополя, развесистые ивы; горечь осенней листвы и коры, пряная сладость пахучего иссопа — донского лада-на, что растет и цветет на кручах до самых морозов. Младший сынишка Тимоша просил и просил: «Мама, папа. Не надо к врачу ехать. Уже не болит ушко».

Прежде они были вместе: Иван, Ольга, младший сын Тимоша, а летней порой и старший — Василий. Особенно Тимоша прижился здесь: степной простор, речка, всякое зверье и птицы, домашняя животи-на, большая и ма-лая, пастба, огород, в котором «много всего»: «малиновый рай» да «клуб-ничный рай».

Теперь лето кончилось, все самое трудное позади. Надо было Тимошино ушко врачу показать. Потому и уезжали все разом, оставляя на поместье хозяина и работника Мышкина. Тимоша уезжать не хотел: «Папа, мама... Не болит у меня...»

Словно помогая взрослым, погожая лунная ночь сменилась хмаристым утром. Родные заторопились, чтобы не попасть в дождь и не застрять где-нибудь. Случалось такое. Не дай бог.

Они уехали. Дождь так и не пришел. Тянулся день тусклый, но теплый. Лишь к вечеру проглянуло солнце, но село в тучу. По-осеннему быстро за-вечерело. Настала ночь. А потом — внезапное пробуждение и непонятный страх. Даже к ружью рука потянулась. Раньше такого не случалось. Слава богу, быстро прошло. Ружье — ни к чему. Оно годилось в жизни прежней, когда Иван занимался извозом. Московская трасса, а хуже ее — ростовская трасса да калмыцкая степь. Порою не ружье, но автомат, гранатомет приго-дились бы. Едешь, не знаешь, где тебя остановят и что потребуют. Настоя-щие бандюки, местная шпана, которая у дорог пасется. А еще — менты, они порою страшней бандюков и шпаны. Что днем, что ночью.

Глава 3

Тогда — год назад — тоже была осенняя ночь. Иван вечером загрузил свой фургон дынями прямо с бахчи и, выйдя на трассу, возле бензозаправки пристро-ился к каравану «КамАЗов», которые везли арбузы да капусту. Пристроился и поехал, намереваясь поздним, но утром добраться до Подмосковья, в Бала-шиху, место освоенное, привычное. Но человек предполагает... Понесла их нелегкая на воронежскую трассу. Хотелось проскочить быстрее и легче.

Среди ночи на обычно закрытом милицейском посту колонну остано-вили. Шипованная тяжелая лента лежала поперек дороги.

Все понятно, и ничего нового. Собрали положенную мзду, отправили день-ги наперед, со старшим, и следом потянулись с документами к высокой, ярко освещенной будке. Дело обычное.

Но нынче все обернулось по-иному.

На просторный балкон двухэтажного дорожного поста вышел невысокий пузатенький «мент», громко сказал: «Подаянок не берем. Обнаглели!» И начал рвать и бросать вниз бумажки, прямо шоферам на головы. Вначале не поняли, потом увидели, дошло: «Деньги рвет... Наши...» Милиционер сде-лал свое дело и ушел с балкона. Пополам разорванные купюры в ночном без-ветрии веером опустились на асфальт, лежали, ясно видимые в прожекторном свете. А рядом была тьма.

Шофера завздыхали, переминаясь с ноги на ногу. Подниматься с докумен-тами наверх теперь было бесполезно. А что делать?..

Разговаривали шепотом.

— Мало дали...

— Как всегда... Обычная такса.

— Это Сашка Золотой, — сказал кто-то. — Он всегда вдвое больше берет.

— Кто знал, Золотой он или Серебряный. Заглот.

Старший колонны, мужик пожилой, бывалый, приказал:

— Не бухтите. Пойду попытаю. Сколько надо...

И стал неторопливо подниматься по крутой железной лестнице к ярко освещенному кубу, откуда доносилась музыка, разговоры и женский смех. Видно, там гулеванили.

Потянул легкий ночной ветерок, и порванные деньги с шуршанием поползли от навеса на проезжую часть. Их стали поднимать:

— Можно склеить... Должны принять в банке. Заменят...

Подобрали все. Курили, ожидая старшего: с чем он вернется?..

А Иван ждать не стал. Одним разом навалилась тяжкая усталость, телесная и душевная, которая копилась все долгое лето: еще в марте он начал мимозы возить из Краснодара, потом пошло-поехало... Теперь — сентябрь. И все одно и то же: кабина, дорога, базы, рынки, «менты», барыги, тревога, недобрые ожидания, тоска по дому, жене, сыновьям, которых все лето, считай, не видел; и обещанной рыбалки они так и не дождались, а ведь мечтали: река ли, озеро, палатка, костер... Господи... И все из-за чего? Из-за этих денег, проклятых бумажек. А эта красномордая скотина вылезла, изодрала бумажки и выбросила. Не бумажки он рвал и выбрасывал, но человеческой жизни дни: Ивана, его сыновей, жены, отца, матери, братьев — всех одним разом.

Горечь и усталость навалились. Жить не хотелось. А впереди еще...

Одно лишь было спасенье: повернуться и уйти, уехать домой.

Так он и сделал: ни слова не говоря, пошагал к своей машине, которая стояла последней в караване «КамАЗов», в ночной тьме. Дошел до нее, залез в кабину, завел, развернулся и поехал домой. Никто его не остановил.

К утру Иван был уже дома. Он оставил у подъезда машину, про дыни забыв, а в квартире, даже не раздеваясь, сразу лег на диван и заснул. Проспал он, с невеликими перерывами, почти двое суток. Проснулся в первый раз, разделся, помылся и — в постель. Потом еще раз встал среди ночи, чаю попил, чего-то поклевал и опять на сон потянуло. Спал и спал.

Жена испугалась, пробовала его тормозить:

— Ты заболел? Что с тобой? Что случилось?

— Посплю, посплю... — бормотал он умоляюще. — Можно, я посплю.

Жена отступилась.

Проснулся окончательно Иван поздним утром, не сразу поняв, где он и что с ним, словно пришел в себя после тяжелой болезни ли, долгого забытья. Что-то там, далеко позади — черное, злое. А теперь — здоровое тело, ясная голова. За окном — белый день. Оконные шторы сдвинуты, но неплотно; солнечный широкий луч освещает комнату, радужными бликами упираясь в стену, в большой семейный портрет, висящий на ней. Это уже давняя семейная фотография Басакиных. Все вместе: отец, мать, три сына и дочь. Еще молодые. Отец в смоляных кудрях, а мама — вовсе красавица: большие глаза, корона уложенных кос, добрая улыбка. Старшие дети: Павел и Маша — чернявые, невеликие ростом. У Якова и вовсе юного Вани материнская стать: светлолицые, ясноглазые, высокие. Как давно это было... Какие все молодые... Последняя фотография, когда все жили вместе. Теперь Маша далеко: прилепилась к своей Камчатке, не вытянешь оттуда. А Павел и вовсе, то — в Африке, то — в Индии, летает и летает. А ведь вроде недавно... Но как давно!

Иван лежал и глядел на семейный портрет. Смотрел, и вздыхал, и тихо радовался: какие все милые и, слава богу, живы-здоровы.

Понемногу, но мысли возвращались в день сегодняшний, и о вчерашнем начинало вспоминаться. Тихо скрипнув, приотворилась дверь, и уморительно-серьезная, настороженная мордашка младшего, пятилетнего сына Тимоши просунулась в открытый проем.

Иван зажмурился, но поздно. Глазастый Тимофей его разоблачил:

— Не притворяйся. Ты проснулся. А я тебя караулю, потому что некому тебя караулить. Мама на работе, Вася в школе. Я даже на улицу не выхожу... — подробно объяснял он ситуацию. — Дед приезжал и уехал. На твоей машине. Оставил нам десять дынь. Сладкие. Бабушка скоро придет. Она вчера приходила, принесла пирожков, мы тебе оставили, с капустой. Ты спал. — Сын подошел ближе и, рассказ закончив, сказал: — Хватит притворяться, открывай глаза, вставай. Ты никуда теперь не уедешь, машины-то нет. Будешь со мной, — и с оглядкой, шепотом предложил: — Давай ловить вампиров. Они в подвале скрываются. Мы с Никитосом их вчера туда загнали.

— А может, мне сначала позавтракать? — спросил Иван, поднимаясь с постели и раздвигая шторы. — Вампиры — это серьезный противник. Давай умоемся, позавтракаем и тогда...

— Они могут вырваться из подвала и спрятаться на мусорке, в мусьдах.

— Мы их и там достанем, — пообещал Иван.

Завтракать усаживались вдвоем. Закипал чайник, шкварчало в жаровне что-то пахучее. Машины и впрямь за окном не было: отец забрал ее и дыни куда-нибудь пристроил. Спасибо ему, хотя это тоже — в укор. За отцом не заржавеет. Но семь бед — один ответ. А сейчас можно не торопиться, спокойно позавтракать, с сыном поговорить. Это уже праздник.

На воле разгорался погожий осенний день. Окно кухни выходило на тихую улочку.

Жили на первом этаже обычного двухэтажного дома, с тремя подъездами. Таких домов и поболее, на пять этажей, в поселке было немало. Целый район построили при советской власти. Он так и назывался — «Стройрайон». Городская окраина невеликого районного центра, с асфальтом, детскими садами, магазинами, школами и даже стадионом.

Но меж домами — крохотные палисадники да огородики, обнесенные всяким старьем; курятники, сараи с погребами; дощатые да железные гаражи; машины под окнами, у подъездов, в основном старье, порою годами стоят на спущенных колесах; переполненные мусорные «мусьды», горы хлама, разносимого ветром: полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки — картина скучная. Но слава богу, кухонное окно глядело на тихую улочку с невеликими домиками, зарослями сирени да жасмина под окнами, огородами, садами — все это просторно, зелено. Ярко цветут у заборов белые, синие, алые, лазоревые хризантемы, желтые ноготки, доцветают петунии да мальвы. Глядеть приятно.

Завтрак проходил под музыку телефонную. Трубку брал Тимофей, представлялся:

— Слушает Басакин Тима. — Сообщал новости: — Он проснулся, завтракает. Сил наберется, будем вампиров ловить.

Потом отцу передавал трубку.

Звонили друг за другом: жена, мать, отец, брат.

— Нормально, — отвечал им Иван. — Все нормально, ничего не болит. Расскажу.

Хотя что он мог рассказать? По нынешним временам дело обычное. Бывало и хуже: грабили, били, прокалывали колеса в чистом поле. А здесь —

всего лишь «ментовская» жадность и дурь: мало дали. Тоже — обычное. И деваться некуда. Но словно переполнило чашу: горечь, усталость и что-то еще тоскливое, темное. Как об этом рассказывать даже родным людям? Поймут ли?

Понимали не очень. Приезжал отец, чтобы сообщить: «Дыни продает человек на трассе, у моста. Берут. Машину подгонит. Ты оклемался? — Пронзительный взгляд. — Отравился, может, чем? — Это уже, понятно, насмешка. — Прошло? Ну и слава богу. — Телефонный звонок его подогнал. — Еду уже, еду... — Он поднялся с кряхтеньем, пожаловался: — Спину опять застудил. Едешь — вроде жарко. Откроешь окно — просифонит. Возраст, наверное...»

Это было правдой: шестьдесят лет, юбилей уже отметили старшему Басакину. Крепкий мужик, кряжистый, но голова седая, от кудрей на темени, считай, ничего не осталось, на лице резкие морщины, спина побаливает. Но он еще крепок, с утра до ночи в работе: самый опытный землемер в округе, его дело — не только разбивка, межевание, но оформление документов, прав на землю — ремесло нынче очень нужное для всех: от стариков, которые свои «шесть соток» узаконить хотят, до солидных фирм и хозяев. Сидеть не дают. «Ну, еду, сказал, еду, уже в дороге...»

С тем он и отбыл, похлопав сына по плечу:

— Ладно, отдыхай. — И внуку приказав: — А ты отца корми да охраняй.

— От вампиров? — спросил Тимка. — Они позасели вокруг.

— Это уж точно... — рассмеялся старый Басакин. — Засели, не выкуришь.

С тем и уехал.

В пору обеденную прибыли мать и жена. По обычаю бабьему они охали да ахали, сваливая все на болезнь: «К врачу надо сходить, провериться...»

Окончательный диагноз поставил к вечеру подъехавший брат: оглядев Ивана, он сказал:

— Вроде живой... А для полного здоровья надо попариться и пивка попить. Я маму просил баню топить. На пивзавод в городе заскочил. Свежайшего нацедил. Поставил в холодильник. И рыбка есть. Так что бери машину и вези всех ко мне. Ребянтю возьми. Тимошка париться любит. И вы, бабоньки... А как же! — щекотнул он невестку. — Ваньку попаришь. А он — тебя! Ну, я поехал свою родимую забирать. Догоняйте!

Яков жил на окраине поселка в своем, не больно великом флигеле с подворьем, на котором умещалось все: высокий просторный склад, куда завозились мука, сахар, крупы и все прочее, чем торговал он; тоже немалый гараж; а еще — сад, огород, теплица, сетчатый вольер для охотничьей собаки и, конечно, баня — хозяина радость и гордость. Баня была настоящая: бревенчатая, с «каменкой», полками, мойкой, раздевалкой и даже невеликой верандой, чтобы летом чаек попивать, отдыхая.

Стоял теплый сентябрь, и потому немалый собор хозяев и гостей не в доме толокся, а растекся по всему подворью: женщинам — огород да цветы; детворе — их любимица охотничья собака Рада, хомячки, которых разводила дочка; мужикам, конечно же — баня, первый пар, когда сухие полки и стены пышут жаром и белые клубы от «каменки» бьют в потолок.

Они были похожи, два родных брата. Тем более что разница в возрасте невеликая. Но в детских и школьных временах она казалась огромной: на целых четыре класса. Яков для брата младшего всегда был надежным покровителем, наставником и доброй защитой. Так было с малых лет, так и теперь оставалось. И потому Иван безо всякой утайки рассказал то небольшое, что было, и то, что казалось и что болело.

Старший брат его выслушал, посочувствовал, невольно свое вспоминая: — Это мы знаем... — вздохнул он. — Устал, допекли, не железный. Такая жизнь пошла. Куда нам деваться? Семья, дети... Их не скинешь с руки. Терпи, казак, — и, смягчая, с усмешкой: — Может, наши придут. Но на може — плохая надежда. А сейчас я тебя подлечу, — пообещал он, помахивая веником. — Выгоним хворь.

На том вроде и поставили точку. Виделись нечасто, было о чем поговорить, кроме горького, которому не поможешь.

Но между прочим старший брат сообщил:

— Саня Маслак уезжает. Палатку и все хозяйство будет продавать. Место хорошее. Клиентура своя, постоянная. Не хочешь в соседи?

Иван, не раздумывая, отрицательно головой помотал.

— Заелись... Дальнобойщики, — посмеялся Яков. — Не думаете о людях. Кто их будет кормить? — Сам он занимался торговлей уже лет десять и даже больше.

Парились, выходили отдыхать на веранду, приучали к парной малого Тимошку, который отчаянно лез на верхний полоч, ни жару, ни веника не боясь, в отличие от брата старшего.

Отдыхали и снова париться шли, дожидались отца, который обещал подъехать, лениво отбрехивались от жен, которые торопили их.

Наконец мужики всласть набанились и, устроившись на веранде, неспешно потягивали пиво, подсмеиваясь над женщинами, которые визжали да верещали в парной.

Отец приехал поздно, когда уже все вместе заканчивали ужин, чаевничали. Старый Басакин наскоро обмылся, сел за стол. Жена его укорила:

— Ждем тебя, ждем. Так долго...

— Работа... Делим, переделываем, никак не поделим. А у вас тут чего? — внимательно поглядел он на младшего сына.

— Попарились, — ответил тот. — Все в порядке.

Он и впрямь был в полном порядке: отоспался, отмылся, молодой еще, крепкий, светлолицый и сероглазый.

— А дальше? — допрашивал отец.

— Пивка попили, — с усмешкой, все понимая, вступился за брата Яков.

Они были похожи: ростом, статью, русые, сероглазые.

— Молодцы, — со вздохом одобрил отец, глядя на сыновей своих, взрослых уже, на голову выше его, приглядных, слава богу, здоровых, живущих своими семьями и своим умом.

Ума им, конечно, достало, дураками не назовешь, и не лодыри, а вот жизненной хватки пора бы поднабраться поболее. Хватки и жесткости, без которых в нынешнее время прожить трудно.

Нет, не только ликом и статью не в отца сыновья удались. Это видно было с молодых еще лет. «Маманя родная... — говорил он, бывало, в сердцах, когда сыновья не могли справиться с каким-нибудь делом и пасовали. — Мамочка Рая...»

Вот и сейчас, по всему видать, та же песня: сидит сынок, ждет отцова сочувствия ли, решения. Ведь давно не мальчик: дом, жена, дети... А все тот же: «мамочка Рая...»

К притихшему застолью взрослых очень кстати подбежал малый Тимошка.

— Мы что забыли? — спросил он у деда в упор. — Мы совсем забыли ехать на наше поместье? Рыбу ловить, грибы собирать. Лето прошло. Сентябрь, октябрь, ноябрь, — старательно выговаривал он и уверенно закончил: — Декабрь — это уже зима, дедушка... А ведь ты обещал. И папа обещал. Мы ждем, ждем... — голосок его дрогнул.

Дрогнуло и сердце деда. Он притянул к себе внука — теплого воробышка — и сказал:

— Раз обещали, значит, надо ехать. На поместье... Вот и поедете завтра с папой, пока погода хорошая. Пару дней поживете. Подумаете. — Это уже твердый сыну наказ. — Загляните в станицу, Федору скажите, что мы на выходной подъедем. Давно не виделись. Аникею-крестнику привет везите. А мы подъедем, — глянул он на жену. — А то и впрямь лето кончится и поместье наше, — засмеялся он, — совсем захиреет без хозяйского догляда. И вся родня нас позабудет. С Троицы не видались. Это — непорядок.

— Мы сделаем порядок! — радостно пообещал внук.

На том разговор и кончился. Так всегда велось у Басакиных: последнее слово за отцом.

Конечно, потом в каждой семье что-то договаривали. Старшие Басакины, как все пожилые люди, ко сну готовились долго и засыпали не вдруг, перебирая день прошедший, его заботы. Тем более нынешний и вчерашний, тревожные.

За столом высказать сыну старый Басакин ничего не успел. А ведь накопилось.

Пришлось жене изливать душу:

— Взрослые мужики, а ума нет. Обиделся он, видите ли... «Гаишник» плохой попался. Вроде они бывают хорошие. Кому чего доказал? Бзыкнул, уехал.

— Как ты не поймешь? — заступилась жена. — Он за лето устал. С весны из кабины не вылазит. И эта милиция, бесстыжая...

— Если в такие годы уставать, что дальше будет? Я почему не устал? А мне ведь приходится порой и хуже. Гораздо хуже! — не выдержав, он высил голос, но тут же смолк, сберегая покой жены. И самого себя — тоже. Всякое случалось в новой непривычной жизни. Недаром ведь — седина, морщины, хвори. Даже рубец на сердце, о котором знал только он.

Глава 4

Это случилось несколько лет назад на одном из хуторов. Обычное дело: поехал старый Басакин землю «выделять в натуре»: карты, теодолит, лента, колышки. Начал работать. И вдруг стали сбегаться люди, местные жители.

— Ты чего тут хозяйничаешь?! — стали шуметь. — Чего вымеряешь?!

Он объяснил:

— Все делаю согласно постановлению. Землю выделяю не я, а районная администрация. Земельный комитет выдает свидетельство. Я — человек подневольный. Мне сказано, я лишь выделяю в натуре, съемку провожу, колышки забиваю.

— Засунь себе свои колышки в зад и катись отсюда. Это земля наша от веку. Тут хуторская скотина пасется. А ты ее либо Магомеду меряешь?

Басакина обступили. Лица у людей суровые, речи злые.

— Еще раз говорю: я — подневольный. Землемер. Мое дело в натуре...

— В натуре! — перебили его. — Крутяк нашелся. Не колышек, а кол осиновый ты нам загоняешь! Это — наши попасы! Ты либо глупой? Или глухой? Ухи прочистить? Понимаешь, наши... Это же Манской лог и Летний лог! Тебе любой скажет, что это наши попасы. Для хуторского стада. Для свойского. От веку. А ты не спросясь суешься со своей турундой. Стараешься для Магомеда. Угождаешь ему. А у всего хутора забираешь.

— Разве это я? — оправдывался Басакин. — Вы где были и чего думали? Магомедов писал заявление. Его рассматривали. Объявление давали в газете.



Вы почему не предъявляли свои права? А теперь на меня кидаетесь. Я у вас крайний.

Старая женщина с клюкой подошла близко к Басакину, стала стыдить.

— Ведь не молоденький, седоклокий. Наш человек... Я твою матерю знала. А ты чего творишь? Продаешь за копейку. Нас и без тебя со всех сторон обчичекали: колхоза нет, школу, почту закрыли, больницу разорили. А теперь и последнюю землю, наши попасы отбираешь... А мы ведь только от скотины живем. Будем теперь кланяться Магомеду? Налог платить? За свою землю? Ты уж тогда и кладбище ему отдавай. С могилками!

У старой женщины — черное лицо, черные руки и слова черные.

— Бога ты, видно, не боишься. Так вспомняи родителей своих покойных. Они все видят, — указала она черным перстом в небо. — Как ты землю нашу родную!.. Продаешь за копейку.

Она заплакала и вдруг упала. Басакин бросился ее поднимать, но его оттолкнули: «Иди отсюда! Пока не получил!»

Как он уехал и далеко ли, из памяти вышибло. Видел лишь черную старуху, на мать похожую, и чувал боль, которая не позволила долго ехать.

На обочине дороги, в степи, недалеко от хутора, его заметили знакомые люди, землемерскую машину угадав. Остановились. Дали лекарство. Помогли до дома добраться. Отдыхался. Оклемался.

Позднее ему сообщили врачи: «А у вас — рубчик. Инфаркт был». Жене он об этом, конечно, ничего не сказал. Теперь вот вспомнилось: тот хутор, старуха, сердечная боль.

И такое в его нынешней жизни бывало. Не единый раз. Работа. И ее не бросишь.

Старый Басакин со вздохом сказал жене:

— Мне вот тоже рассердиться и бросить все. Под твою юбку залезть. Там — не дуэт.

— Чего ты равняешь? Ты — это ты. А они еще не привыкли. На заводе они хорошо работали. А теперь такое время, порою поглядишь — душа вянет.

— Время, время... — свое гнул старый Басакин. — Время вам виновато. А вот другие его хвалят, это время.

— Какие другие? Ворье?

— Ворье — ворьем. А еще есть нормальные люди, какие работать умеют, а не слезы лить. Я их всякий день вижу. Тутов, Сулацков, Суровикин, Мохов... С нуля начинали, а теперь земли по десять, по двадцать тысяч гектаров. Подумать страшно. А они работают. Скотину, молодняк везут из Германии, из Австралии. Молочная ферма — картинка. Потому что работают, — подчеркнул он, — и время им не мешает. А у наших все не слава богу: то собачка сдохла, то милиция плохая. Это все от тебя, — укорил он жену. — Начитались книжек, стишки учили. «Отговорила роща золотая...» Выросли красавцы писаные... Тонкокорые. Царапнут их, сразу — кровь, слезы. Мамочка Рая... — вздохнул он. — Привыкли, чуть засквозит — сразу под юбку. Время, время... Это порода такая, именно твоя, — подчеркнул он. — Надо же... — возвысил он голос. — Собачка сдохла, и все козе под хвост.

— Какой ты памятный... — вздохнула жена. — Никак не забудешь эту собаку.

— Такое не забывается, — с горечью сказал старый Басакин.

Он был, конечно, прав. Дело ведь не в собаке. Средний сын Яков... Надеялся на него, помогал начать торговое дело, радовался, что идет оно, планировали магазин завести. Это уже не только себе, но и детям, на будущее.

А потом... Все планы — козе под хвост. Разве такое забудется? Тем более что случилось это всего лишь два года назад.

Хорошо начинал Яков. Трудно, но хорошо. И год от года все крепче на ногах стоял.

На просторном, в целый квартал, поселковом рынке ли, базаре имелось все: мясной крытый корпус, поменьше — молочный да рыбный, а вокруг и рядом, подпирая друг друга, табунились разномастные ларьки, киоски, вагончики, набитые съестным товаром. Мясное, крупяное, хлебное, сладкое... Круглый год овощи, фрукты, свои и заморские.

А дальше вовсе неохватно, пестрым цыганским табором раскинулись разборные палатки, матерчатые навесы, раскладные столики, настилы, прицепы, тележки и просто земля. Везде товар, товар и товар. Одежда, обувь, посуда, мебель, детские игрушки, парфюмерия и галантерея, скобяной товар и железный — все что хочешь, чего надо-не надо. Одним словом — районного городка базар, не больно людный по будням, муравейником кипящий во дни воскресные.

Торговая палатка Якова Басакина размещалась на бойком месте у главного входа, возле автобусной остановки. В палатке было много всего: мука трех видов, сахар, крупы, макароны да вермишель всяких сортов и фасовки: пузатые мешки, сумки с ручками, пять да десять килограммов, и малый развес в пакетах. А еще соль да спички, дешевые чаи да кофе, недорогие консервы: всяческие тушенки, сгущенки, майонезы да кетчупы — много и много всего, без чего не прожить, а цены пониже магазинных — немалая важность для небогатого поселкового люда.

За прилавком — приветливая, черноглазая Люба Басакина; она и поздоровается, и быстро товар подаст, посоветует: «Хорошие макароны, мы их сами берем... Чаек духовитый, я себе завариваю... Алтайская мука... Чуть подороже, но стоит того. Подъемистая». Любочка всех знает, и ее все знают. Который уж год на этом месте торгуют Басакины.

В субботу да воскресенье — дни людные — работают в четыре руки, с мужем. По будням, в ранние утренние часы, Яков привозит товар, помогает жене его раскладывать и отправляется в город, как говорит, «на добычу». Мало ли — много, но в палатке больше сотни разных товаров. Вот и крутись, ищи где дешевле: на оптовых базах да рынках. До города и обратно двести километров, и там — карусель, пока сыщешь нужное. Такая работа.

В поселке Басакиных знают все. В жизни прежней, советской, Яков работал мастером на здешнем заводе. Потом началось как везде: вместо зарплаты — обещания: «Подождите... Потерпите...» Порой взамен денег муку дают, сахар, обувь, консервы. Называлось это «бартером». У Якова двое детей, пришлось подрабатывать. Сначала на своей машине с тележкой-прицепом он ездил на воронежские сахарные заводы, на мельницы, закупал товар подешевле, продавал его мешками, что называется, «с колес», в поселке или на окрестных хуторах.

Когда стало понятно, что заводу приходит конец и другой работы в поселке не будет, решили заняться торговлей всерьез. Занимались деньги, поставили склад во дворе, купили в рассрочку «фургон». Колесо закрутилось. Начinalи с муки, круп да сахара. Понемногу расширялись. Чай да кофе... Тушенка, сгущенка, простые овощные да рыбные консервы... Соль, спички, туалетная бумага. Сначала — разборная палатка, утром да вечером — канитель; потом устроились попрочнее: фанерный домик возле самых ворот рынка.

Прижились. Место бойкое. Басакиных все знали. Приветливая говорливая Любочка, черноглазая, сухошаваая, всегда при деле: покупателей нет,

значит, фасует товар, раскладывает, со всеми здороваются, в разговор вступая охотно, но дела не оставляя.

— Яша? В городе, в город поехал.

— В Карповку, за мукой. Мука замечательная. Ее хорошо берут. И вы берите. Последние мешки...

— Уехал за сахаром в Воронеж. Дорожает сахарок. Сейчас мы по старой цене продаем. А привезет, наверно, уже подороже. Конечно, все дорожает. Тем более скоро лето. Начнут варенье варить. Надо брать, надо...

Поселок не больно великий, тем более что бывших заводских работников много — знакомства давние. На базар идут не всегда с нуждой, а порою лишь прогуляться да новости собрать, особенно пожилой народ.

Торговля Басакиных на месте бойком, у базарных ворот, мимо не пройдешь.

— Здорово живете!

— Слава богу, и вам здоровья! — приветливо отвечает Любочка.

— Где Яша? Либо в город подался?

— В город, в город... На базы. Куда же еще. Такая наша работа.

Бывают поездки подальше.

— С вечера в Воронеж погнал, — объясняет Любочка. — За сахаром. Там дешевле, прямо с завода. Берите. На той неделе краснодарскую муку привезет... А как же... Стараемся.

Но в последние годы люди порою слышат от Любочки речи иные, странные, особенно для базарных соседей-торговцев.

— Где Яша? Либо в город погнал? Или подальше?

— Рыбачит... На той неделе так хорошо поймал. Нынче опять поехал. Любит это дело. Пускай... — с улыбкой говорит хозяйка. — Передых тоже нужен.

Рыбачат в поселке многие. Одни по нужде. Другие в дни воскресные, для забавы. Летом над водой посидеть, зимою по льду с буром побегать, погонять судака да окуня, свежим воздухом продышаться — славное дело. У кого время свободное есть. Народ торговый, особенно мужики, услышав Любины речи, лишь вздыхают. Попробуй вырваться. У Басакина иное.

— Поехал зайчиков погонять, — в зимнюю пору отвечает Любочка на чей-то вопрос. — Собачка заскучала, она — породистая, охотничья. Привозит зайцев. Сами едим и сыну — в город. Зайчатину если хорошо отмочить, нашпиговать, натереть...

Ловкости Любе не занимать: товар отпускает, деньги берет и успевает про зайчатину рассказать: чем шпиговать, натирать, как обжаривать и тушить.

— Любочка! — останавливают ее бабы-торговки из ларьков соседних. — Слюнки текут от зайчатины. И мужиков наших не сбивай. Охота, рыбалка... Они и так глядят, как бы куда увеяться. Кохаешь своего Яшеньку и кохай! Молчаком.

Люба посмеивалась.

— А как же... Хороших мужей надо беречь. Тем более Басакины — казаки. Может, завтра война, — хохочет она. — А Яша будет усталый...

Конечно же, охота да рыбалка для Якова — забава не частая. Главное дело — работа: лето ли, зима, снег ли, дождь, но в четыре утра подъем, осенью да зимой впотьмах, торопливый завтрак, погрузка товара. Поехали на базар, к палатке своей.

Палатка — хорошая, слава богу, каждый день разбирать да собирать не надо, но стены у теремка фанерные, на ночь товар не оставишь. Вот и приходится всякий день привозить, таскать да раскладывать тяжелые мешки, ящики. Это работа мужичья. Перетаскал, разложили, первые покупатели

пошли. Летом полегче, а зимой — долгая темь, непогода и слякоть. Но жить надо. И кормиться людям надо. Слава богу, что рынок есть. Здесь цены пониже.

Но товар дешевый еще надо сыскать. Это забота хозяина. Перетаскал мешки, помог разложиться и покатил в город на оптовые рынки, на элеватор, на мельницы...

А к вечеру надо вернуться, чтобы забрать жену и товар с рынка.

К дому обычно прибывались впотьмах. Там — тоже дела. Двое детей. Спасибо, мама Рая выручала, у сына домовнича или забирая внуков к себе, кормила их да с уроками помогала.

Такая вот жизнь, торговая. Не год, не два, а больше десяти уже лет. Но слава богу, что хоть такая сложилась. С протянутой рукой не пошли: сами жили, детей поднимали. Сын уже в городе учится, на врача.

А что до трудностей, то кому нынче легко. Прежде в поселке работали заводы: авторемонтный, судостроительный, металлоконструкций. А еще — речной порт, грузовой и пассажирский, железнодорожная станция, немалый мясокомбинат, к нему со всей округи скотину везли да гнали, рыбозавод, молочный цех, да еще один — мяскоколбасный, два лесхоза, два железобетонных завода, «Сельхозстрой», «Водстрой», мехколонна, «Сельхозтехника» да «Сельхозхимия», дорожные строители.

Нынче обо всем этом лишь память. Вот и живи, как знаешь. В Москву да в Питер поезжай на стройки, в Сибирь на «вахты», в Дагестан на кирпичные заводы. Бросай семью, жену и детей, живи и кормись по-собачьи в какой-нибудь конуре. И много ли заработаешь? Обманут. Или вообще не вернешься. В охранники иди в областной центр, в ту же Москву — тоже по «вахте», враскорячку. Живи: там и здесь. Тем, кто моложе — в Чечню воевать.

Слава богу, Басакины сумели устроить свою жизнь на месте, в поселке. Спасибо отцу и матери, они помогли и теперь помогали. Особенно трудно было в первые годы. Все внове: цены, качество, «хороший» товар да «плохой» товар, дешево продать — себе в убыток, дороже просишь — покупатели мимо идут. Да еще и обругают: «Как не стыдно... Как не совестно... Обираете... Богатеете на наших слезах...» — такое случалось и сейчас.

Люба умела ответить и оправдаться. Яков в таких случаях лишь краснел да глазами моргал. Особенно перед своими, заводскими. Но понемногу ко всему привыкали. И торговцы, и покупатели. Понимая, что это — новая жизнь. А к прежнему нет возврата.

Но прежнюю жизнь тоже не выкинешь. Она хоть и прошла, но осталась в душе и порою, даже через долгое время, вспоминалась, теплила сердце, а порою взрывалась горечью, болью. Так случилось и с Яковым. Но сначала с близким другом его, который на том же рынке торговал болтами, гайками, вентилями да кранами — малым железным да скобяным товаром. Они знали давно: по возрасту — ровни, по прежней заводской работе, по жизни — товарищи.

И нынче дружба их не терялась. По субботам парились вместе, а после бани рюмочку-другую выпивали, вспоминая прошлое, ругая нынешнее. В прошлом было много всего: молодость, завод, на котором работали, волейбольная да футбольная заводские команды, в которых играли, рыбалка, которой увлекались все. Автобусы завод нанимал, табуном ездили. Порою и жены не отставали. Уловы были не чета нынешним. Теперь к речке выбирались раз в году: другая жизнь, в которой лишь дела торговые.

А потом товарищ вдруг умер, среди бела дня, у всех на глазах, возле своего товара. Позднее рассказали и что-то поняли. Оказывается, подошел человек знакомый, тоже заводской, бывший, хотел купить вентиль для воды, для

полива, но цена показалась высокой, стал торговаться. Слово-другое, а потом заорал: «Нашими заводскими торгуешь. Наворовал, напрятал, а теперь шкуру дерешь! Растянули завод! Ворье! Бесстыжие рожи! Коммунисты! Комсомольцы! Призывали! А сами — ворье! Тянули все подряд! Теперь — торговцы! Бизнес! Шкуру дерете!» Он кричал и кричал. Потом ушел, бросив на землю злосчастный вентиль. Хозяин с расстройства закурил, нагнулся, чтобы вентиль поднять. И замертво рухнул.

Его схоронили. Яков плакал на кладбище и на поминках. И не он один.

Глава 5

Неделю спустя у Якова новая беда: померла собака Лайка, когда-то охотничья. Он для охоты и брал ее, натаскивал, а потом кончилась охота: торговля пошла, с утра до ночи крутишься как белка в колесе. Какая уж тут охота. Гляди, как бы тебя не подстрелили.

Вот и подохла собачка. Жена сказала: «От старости. Сколько ей лет-годов...» Яков возразил: «От тоски». Собачку он решил закопать в хорошем месте, на воле, где когда-то охотились.

Утром, как всегда, он отвез на рынок жену, помог товар разложить, сказал ей:

— Поеду, схороню.

— Ты там недолго, далеко-то не уезжай, — обеспокоилась Любочка. — Надо...

— Нам все надо. Надо, надо и надо! — неожиданно резко, всплыв, обрезал ее Яков и уехал.

Он вовсе не собирался далеко уезжать, но вспыхнув, не сразу остыл. «Надо и надо... Надо и надо...» — бормотал он под нос себе. А между тем ехал и ехал, пока не опаматовал: вот он — просторный Березовый лог, рядом — песчаные бугры-«кучугуры», поросшие рдяным тальником. Выйдя из машины, Яков огляделся и как-то разом отчетливо понял, что в мире — весна, настоящая весна в разгаре, и совсем рядом — молодое лето. А он и не заметил в суете, колготе. До света, впотьмах — подъем, рынок, потом — дорога, город, торговые базы, «оптовки», и снова — дорога, рынок. Везде суета и спешка. День за днем.

Далеко-далеко, на холмах за Доном, кричит гагарка: «О-го-го! О-го-го-го!» Зов ее протяжен. И ветер оттуда, от Дона, с холмов, от лесистого займища; он — легкий, словно дыхание, он — чистый, горьковатый и сладкий: полынный, тополевый, речной.

Басакин сел в машину и поехал на зов гагарки, к Дону: Березовый лог, Лазоревый, Старая Сокаревка, Лубники, Голубинские пески — все это когда-то хоженое-перехоженое; просторные пологие степные балки, лощины, озера в камышовой оправе, песчаные бугры-«кучугуры» с редкими корявыми соснами, гнутыми от ветров, в мочажинах — осинники с березками, самые грибные места.

И, наконец, займищный лес возле Дона: дубравы, ближе к берегу — белокорые тополя-осокожи, вербы, талы.

Собачку он закопал, сказав ей: «Тут тебе будет хорошо...» И в самом деле ведь хорошо.

Все обычное, суетное, все ушло, забылось; время отступило, оставив лишь вечное: весеннюю землю, воду и небо. Не хотелось трогаться с места, нарушая покой в душе и мире.

В лесистом береговом займище — месте укромном — было солнечно, тепло, порою жарко. Высокие легкие облака — в голубом небе; легкий ветер,

тополевый, речной. Вода плещет в обрывистый песчаный берег. От воды — свежо, но отойди от берега десять шагов, в ложину, и сразу — знойно.

Яков забыл обо всем: вчерашнем, нынешнем, утреннем.

Пришла память прошлого: охота, рыбалка, просто отдых с детьми и женой. Но как давно это было, словно сон. А теперь снова явь.

Рядом вода плещет, сладкое дыхание ветра, знойная затишь, в которой и душа согревается.

В лесистом займище по-весеннему солнечно и светло. По земле — темные тени стволов, узорчатое кружево ветвей. Над головою сквозит небесная голубизна. На дубах — молодая красноватая листва и светлая зелень висячих сережек; тополевые кроны с желтизной. И все это светит, сияет под солнцем. И терпко, пьяняще пахнет. А на земле — желтоглазые чистотел да одуванчик, сиреневые «сосульки» мяты, заросли ландышей, которые вот-вот зацветут: уже поднялись над листвой легкие стебельки с белесыми бутонами; белая пена цветущего терновника; невесть откуда забредшие груша да яблоня в белом цвету да в розовых бутонах. Все это — в пьяном духе и гудении пчел, земляных и домашних, прилетевших сюда от далеких хуторов. Посвистывает синица. С нагретой тропинки испуганные ящерики убегают, шурша по сухой листве. Угольно-черный, блестящий уж в золотистой сияющей короне пригнулся на тропе, не хочет уходить.

В лесу тишина. Лишь ветер, набежав, прошелестит мягкой листвой. Далеко, за Доном — овечье грубое блеянье и тонкий дискантный переключик ягнят. Это пришла на водопой овечья отара; где-то близко, в теплых заливах, на мелкой воде плещет большая рыба на икромете.

В подножье старого дуба, прислонившись к теплой коре, Яков закрыл глаза и долго не мог, не хотел очнуться от сладкой дремы, в которой медленно кружилось все то же: голубое, зеленое, золотое.

Открывать глаза не хотелось. Так бы сидеть и сидеть. Думать, вспоминать прошлое, такое как нынче: зеленое, золотое...

Дома жена беспокоилась: не случилось ли чего, может, машина сломалась? Уже думала звонить деверю или свекру. Но муж наконец нашелся.

Он вернулся, забрал жену с рынка, а потом, в ответ на упреки, оправдался: — Хоронил. Дело не быстрое. Схоронил, как положено. Помянул... Всех... — и вздохнув, добавил. — Теперь моя очередь.

Жена так и села.

— Ты чего несешь? Выпил? А еще за рулем!..

— Одна у вас песня, — вздохнул Яков. — Надо и вправду выпить.

Он выпил, хотя не стоило выпивать: утром за руль садиться. Как всегда: рынок, палатка, товар, а потом в город ехать.

От выпивки, всего лишь после рюмки-другой, вспоминалось и вспоминалось прошлое, которого, оказывается, было много-премного: детство, молодость, служба в армии, случайное знакомство с будущей женой в пригородном поезде, сразу после армии. Летняя пора: старые вагоны с опущенными рамами окон, теплый ветер, смешливая черноглазая Любочка, смуглолицая, с темным румянцем. Помнилось... Сынишка-первенец с голубом костюмчиком, ясноглазый, улыбчивый, он смеялся даже в церкви, после купели, когда его крестили. Легкие волосики, нежная кожа, ладошки и ступни — розовые, кукольные. И даже какашки в горшке такие красивые, золотистые.

Многое вспоминалось. Заводская жизнь: в новом цехе конвейер монтировали, потом запускали, мучились... А потом он пошел. Такая радость... Волейбольная команда: тренировки, на которые вместе с женой приходили и с малышом. Хорошая была команда, сильная. В своей области и даже южной зоне — всегда были в тройке лидеров. Заводская база отдыха на Дону. Деревья

вянные домики. Всей семьей туда ездили. На воскресные дни или в отпуск. Теплая вода, рыбалка, ребяшня и жена рядом.

Много было в жизни всего хорошего. Оно вспоминалось. О нынешнем думать не хотелось. Там — постылое. И впереди — такие же, как сейчас, но уже короткие дни и годы, тем более что они не идут, а летят.

Яков пытался рассказать жене, вместе порадоваться, погоревать: «Ты помнишь?..» Она чему-то близкому ей поддакивала, но многое пропускала мимо ушей, особенно о заводской работе.

Так было день, другой, третий. Одно и то же: поздний ужин, рюмка-другая, не более. Конечно, он не пьянел. Но снова и снова хотелось прошлое вспоминать, говорить о нем. «Ты помнишь?.. А вот когда я...»

Жене в этом новом обычае: вечерних, даже ночных разговорах о прошлом, стало чудиться что-то тревожное. Особенно, когда Яков свой завод вспоминал.

Она стала сердиться:

— Ничего там хорошего не было. Бывало, я ругаюсь, когда тебя не дожدهшься... Это все прошло и не вернется. Надо про завтрашнее думать...

— Про магазин? — спрашивал Яков со вздохом.

— Конечно. Не век в этой палатке сидеть.

— Два магазина... Ты что, забыла... А еще — автолавка. — Он начинал злиться.

Такого прежде уж точно не было. Магазины — дело решенное. В поселке уже подыскивали помещение, сговорились об аренде с последующим выкупом. Место хорошее, бойкое. Другой магазин — в станице, в тридцати верстах от поселка. Туда ездили в последнее время по понедельникам, торговали прямо из машины, «с колес». Приглядевшись, решили магазин открыть. Округа просторная, народ живой, местный магазинишко помирает. Значит, можно работать.

Все это — дело, считай, решенное: магазины, а еще — автолавка, хутора объезжать. Обдумывали, прикидывали, старый Басакин одобрил и обещал помочь. А теперь вот такие разговоры... День, другой, третий...

Свекра жена Якова побаивалась: человек строгий, к нему не сунешься с догадками и домыслами. А вот мама Рая — другое дело. Свекровь ее поняла. Поняла и день-другой, домоседничая у сына, она будто случайно задерживалась допоздна, оставалась на ужин. В застольных разговорах мама Рая ни в чем не перечила сыну, слушала его, поддакивая и даже помогая вспоминать подзабытое: детство, юность, молодые годы. Казалось, что ей самой так хорошо, так сладостно уходить в дни былые. Но это лишь казалось, а на душе кошки скребли: в лице, в глазах, в речах сына она чувала тоску, усталость, понимая ее. А еще — что-то нездоровое, больное.

Мама Рая в кругу родных и знакомых слыла человеком мягким, покладистым — сама доброта. Но близкие знали ее и другой.

— Их надо отправить хотя бы на неделю куда-нибудь отдохнуть, — твердо сказала она мужу, объяснив ситуацию. — Придумай. Побystрее. На торговле подменим.

Невестке она внушала всерьез, без обычной мягкости:

— Хороших мужиков, Любочка, надо беречь. Смотри, сколько их погубилось... Спиваются, травятся, всякую гадость глотают. Наш, слава богу, в этом не грешен. А сколько от сердца и от всего другого умирало. Сама видишь, не старцев, молодых на кладбище везут и везут. Нам, старым, там уже и места нет. Они лишь с виду крепкие, эти мужики, хорохорятся. А душа, а сердце у них... Не в кузне деланное. Переживают. За детей, за семью. Они ведь — кормильцы. А нынче попробуй кормиться да семью держать, если работы нет.

В Москву бежать, на заработки. Там таких туча черная... Сколько пропало людей... Господи, господи.. А вы, слава богу, устроились, жаловаться грех, — внушала мама Рая. — Но надо по-умному. Надо и передых себе давать. Понятно, что многого хочется: для себя, для детей. Но надо и побережться. Не дай бог и не приведи... Сама видишь и знаешь нынешнюю жизнь. Сплошные нервы. Потом плакать да локотки кусать. Спаси и помилуй нас... Хорошего мужа надо беречь, — твердо внушала она.

Старый Басакин вспомнил давнего друга, астраханца. К нему и отправились Яков с женой, на базу отдыха, в пойму.

Уезжали с опаской. Любочка — вовсе нехотя. Вернулись оттуда довольные, рассказам конца не было. Вернулись — словно другие люди. Яков хвалился с тихим восторгом ли, ужасом:

— Такого клева сроду не видел... Такие шуки, на проводку. Такие судаки... А уж всякая шушера: вобла ли, окунь... Ну просто дуром хватают. На голый крючок...

Жена подтверждала:

— Рыбы... Какая хочешь... — и об ином, для нее важном: — Хорошо там: обслуга, еда, чистенько все, красиво. На берегу лес вокруг, домики бревенчатые... Так отдохнула.

Было видно по ней, что отдохнула: посвежела, разгладились морщинки у глаз, смугловатый румянец объявился, как в давние годы, глаза по-молодому светили — и впрямь, Любочка. Свекрови она сказала: «Он был такой хороший. Рюмки не выпил. Хотя там — пожалуйста. Но он такой был... — усмехнулась она. — Прямо как в молодости... — и повинилась: — Ваша правда: надо его беречь».

Вернулись к тем же делам, к ларьку и торговле. Все привычное: рано утром — подъем и пошло-поехало, на весь день. Но кое-что изменилось. Впервые, объявили понедельник днем выходным. Ведь у всех людей есть выходные. Пусть не воскресный день, но отдых, от торговли. По дому хватало дел: сад, огород и прочее.

Решили погодить с магазином. Больно много их развелось. А люди идут в магазины крупные. Там шире выбор, ниже цена, какие-то «карты» да скидки. И еще: ларек стоит на бойком месте давно; к нему люди привыкли, на рынок заходя, мимо не пройдут, а рынок — он для поселка вечный, здесь не только покупки, как в магазине, но прогулка, развлечения, встречи. Так что от добра добра не ищут. Кормит, и слава богу. Старый друг, он лучше новых двух, непроверенных.

Потом объявилась новая мода, которой завидовали мужики — рыночные соседи.

— Съездил бы ты порыбалил, — как-то вечером попросила Любочка. — Рыбки захотелось из своих рук. Говорят, ловится хорошо. Мама просила.

— А как же... — удивился Яков. — Надо ведь...

— Обойдусь. Утром отвезешь пораньше, — сказала она, но, отвернувшись, вздохнула украдкой.

В самом деле ничего не случилось. Дело привычное. А поймал Яков неплохо.

С той поры так и повелось: выходные — в понедельник; к ним вдобавок нечасто, но Яков ездил рыбачить, а в зимнюю пору стал «гонять зайчиков»: подарили ему на день рождения собаку, молодую лайку. Дважды в год стали выбираться на короткий, но отдых: весной — в астраханскую пойму, в летнюю пору, под осень — на море, вместе с дочерью.

Старый Басакин похмыкивал да вздыхал, не больно одобряя; жена корила его: «Он тебе сын или найда, какую на порог подбросили? Вот и радуйся,

что живой-здоровый, на своих хлебах. А «магазинщики», они тоже — всякие. Картежники... Сегодня проиграл ларек, завтра назад вернул. Верка Шайтанова вовсе с ума сошла, на «автоматах» в казино два вагончика и машину продула. Вот тебе и магазинщики».

Старый Басакин особо жене не перечил, хотя мог бы другие примеры привести, их немало. Но понимал он, что треснутый горшок надо беречь. Ведь в самом деле это не «найда», а сын родной. Но в глубине души оставалась еще и горечь своих надежд неисполненных.

Старый Басакин, помогая сыну, помаленьку загодя себе готовил «запасной аэродром». Время идет, подпирает возраст. А нынешние пенсии... Лишь на хлеб. Иметь свою долю в торговле сына — дело не лишнее. Не получилось. Отсюда и горечь. Порой она поднималась. И выходила наружу, как теперь, после случая с сыном младшим.

Нынешний ночной разговор продолжался долго. Выслушивать приходилось жене.

— Порода, это ваша порода такая... Твоя порода, — внушал старый Басакин. — Мамочка Рая... Тонкокорые. Чуть царапнут их, сразу — кровь, боль, слезы.

— Надоед со своей породой. Загордился. У вас кличка какая была уличная? Жуки... Все черные да страшные. В земле возились.

Старый Басакин тихо и долго смеялся.

— А чего ж ты тогда за меня замуж пошла? За жука навозного?

— Не помню. Наверное, сдуру. Молодая была, глупая. Ты чего-нибудь набрехал. Я поверила.

Посмеялись, помолчали, вспоминая совсем давнее, которое так далеко ушло, расплываясь, забываясь. Но ведь все это было: юность, молодость. Любовь, порою странная даже для людей близких. Ведь в самом деле: «Чего ты в нем нашла?» — удивлялись подруги, соседи, мать с отцом. Красавица: высокая, светлолицая, сероглазая, ухажеров — не счесть. А она выбрала какого-то «жука»-землемера.

Выбрала. И потом, за долгую жизнь, никогда не пожалела. Надежным оказался Жук. И в прежние годы, и потом, когда рухнула советская власть и жизнь резко поменялась, становясь трудной и очень трудной, а порой невыносимой: работаешь, а зарплаты нет и нет. Чем кормить детей? Все дорожает. Каждый день новые цены. Дурачьи... Глазам не веришь. И старикам пенсию не дают, месяц, другой, третий... А старые люди, что малые дети. Чем жить? С протянутой рукой стоят: «Подайте на хлеб...» Да в мусорках роются. И Чечня — рядом: война, беженцы. Время тяжелое: молодые гибнут, старые мрут. В эту пору много народу пропало. Особенно мужиков. Басакин выдержал. Сам кормился и помог сыновьям, которые рядом жили и которые в самом деле характером оказались не в отца, а в маму родную. Хорошо это или плохо? Чего зря гадать. Теперь уже ничего не изменишь. Слава богу, что все живые, здоровые, работают, на хлеб-соль хватает, детей растят.

А что до сегодняшнего, то у Ивана поболит и пройдет. Поболит и утихнет. Привыкать и привыкать надо к новой жизни, в которой все не то, чему учились и детей своих с малых лет учили.

— Ладно, пусть едет с Тимошей. Передохнет. Может, и в самом деле устал, — сказал старый Басакин и закончил твердо: — Но другого ничего не придумаешь. Лошадка кормит. Плохо ли — хорошо, но кормит. Значит, за нее и надо держаться. День-другой пускай отдохнет, и — за работу. Всем нынче непросто. А жить надо.

На том долгий ночной разговор и кончился.

Кто знал, что через время все так обернется у Басакина-младшего: осенняя глухая полночь, непроглядная тьма, далекий протяжный стон, непонятный обморочный страх, ружье в руках и лишь преданная собака рядом. А вокруг — безлюдье. Еще недавно Аникей Басакин был рядом: за речкой, за лугом даже в ненастной ночи вздымался туманный купол огней над его просторным подворьем. А ранним утром, порою впотьмах, словно петушиный клик — голос трактора. Сначала высокий, потом — потише: завелся, поехал на реку, сети снимать. Слышно, как тележка погромыхивает, на ней — лодка.

Теперь он ушел. На многие десятки верст — ненастная ночь, глухая тишь и безлюдье.

Курган Явленный недалеко. Где-то там, в пещере, монах Алексей. Он, конечно, помогает. Но попробуй дозовись его, как теперь. Мышкин теперь ночует на хуторе. Свое гнездо ближе. Да еще неизвестно, где он его совет. Что напоеет ему ночная кукушка... И старшего брата Павла придумка — охотничья база — не больно в помощь. Тоже вдали и во тьме, в самом устье речки пустой дебаркабер стоит. Проку от него... Сам Павел, как всегда, где-то в «полете». Свои, жена с сыном, уехали, и разом обрезало: рядом — только собаки. Оттого и страх непонятный. Не привык. Ведь еще недавно не думал — не гадал... Поселок, квартира, семья, родные, знакомые — все и все рядом. Теперь — иное.

А ведь вначале была простая поездка с сыном Тимошей на «дачу» ли, на «басакинское поместье» для короткого отдыха.

Глава 6

Поместье Басакиных находилось в Задонье, далеко от поселка. Тридцать с лишком километров асфальта к станции, и от нее еще столько же грунтовой дороги.

Миновали поселок, высокий мост через Дон, потом свернули направо, позади оставляя гудящую машинами ростовскую, южную трассу, и оказались на дороге одни.

— Можно на переднее? — спросил сын. — Милиции теперь не будет.

Иван сбавил скорость, помог малышу перебраться на переднее сиденье. Тимоша был очень доволен: переднее — это почти водитель, и все видно. Хотя глядеть было особо нечего: холмистая, желтая, выгоревшая от солнца степь; редкие пожни да пашни; робкая зелень озимых хлебов; придорожные кусты да деревья, еще зеленые; полевые дороги, уходящие от асфальта неизвестно куда.

По асфальту до станции доехали быстро. Здешние Басакины жили на краю селенья: Федор Иванович — двоюродный брат отца и взрослые сыновья его. Три дома стояли рядом, задами выходя на общее огромное поместье: скотьи базы, зимние стойла, сенные гумна, амбары, сараи. Всего этого богатства главным хозяином и работником был Федор Иванович, сыновья да снохи ходили в помощниках. Своего скота Басакины держали немного: полсотни коров да бычков. Но круглый год, два дня в неделю: пятницу и субботу, они торговали мясом на райцентровском базаре, бывало и воскресенье прихватывали, доторговывая.

Федор Иванович — прасол, если по старинушке, по-нынешнему — перекупщик, торговец. Скотину забить, а главное, продать — дело непростое: ветеринарные справки, разрешения, базарные порядки и правила — все это, особенно с непривычки, немалая колгота и потеря времени. Басакиным лишь позвони, они подъедут и заберут любую скотину, на месте забьют и деньги отдадут, наличными, сразу же.

Таким ремеслом Федор Иванович занимался уже десяток лет. Когда колхоз развалился, впристяжку к своей скотине он стал у людей молодняк прикупать, приноровился к базарной торговле. Понемногу и сыновья втянулись, с невеликим хотеньем. Но другой работы в округе не было; тут уж хочешь не хочешь, но жить чем-то надо, семью кормить.

Просторное поместье станичных Басакиных нынешним утром пустовало. Во дворах людей не видать, зато ворота на скотий баз нараспах открыты. Там и застали приезжие младшего из Басакиных, одногодка и даже тезку — Ивана. Он уже уезжал, вывалив огромную грудку сена из тракторной тележки, но, увидев гостей, из кабины вылез. Обнялись, поздоровались.

— Сено свозим, — объяснил хозяин. — Всем артемом, как мураши.

— А мы на свою дачу. Как там рыбалка? Грибов, говорят, много.

— Какая рыбалка? Какие грибы? — сокрушенно ответил хозяин. — Забыли уже, в какой стороне Дон и займище. И узнать негде. Людей не видим. Скотина и скотина... Скоро не гутарить, а лишь мычать будем, — и посмеялся, завидуя. — Хорошо тебе, дальнотойщику: съездил в Москву, мешок денег привез и рыбаль в свое удовольствие. — А отсмеявшись, пообещал: — В воскресенье к вам подъедем, как штык. Скажу отцу. Нынче сено свезем, может, и скласть успеем. Завтра две головы на забой, заказ. Расторгнемся и в воскресенье, к обеду, а может и раньше, на ваше поместье подъедем. Мясо на шашлык я заделаю, в маринаде. Посидим. Так что, ждите. Погнал я. А то батя с ума сойдет. У него все по часам. График, сам знаешь, — снова рассмеялся он, щекокнул племянника и запрыгнул в кабину, наказав: — В домах — баба Феня, она вас хоть чаем напоит.

Колесный тракторенок с огромной, в решетчатых бортах тележкой, погромыхивая и позвякивая, покотился прочь, оставляя гостей на раскрытом базу среди высоких валов пахучего сена.

— А можно покувыркаться? — попросил Тимоша.

— Ну, кувыркайся, пока хозяев нет, — разрешил отец.

Мальчик прыгнул с разбегу и утонул в легком сенном ворохе. Вынырнул и снова нырнул.

— Ищи меня, папа!

Но Иван сына не слышал, оглядывая и не вдруг признавая округу.

Хозяйство Басакиных лежало на высоком краю станицы, в подножье кургана. Вид открывался просторный: кривые станичные улочки ручьями стекали вниз, пропадая в прибрежных садах, левадах, лесистом займище. А дальше синели речные, донские воды. И снова — займище, потом желтые песчаные бугры в редкой зелени. В дальней дали синели холмы, уходящие в небо.

Все это было знакомо: станица, Дон, степная округа. Иван бывал здесь: в детстве подолгу жил, вместе с братьями купался, рыбачил, пас коров да коз, помогал на сенокосе. Потом стал гостить редко и коротко. А потом и вовсе таким вот набегом. Но осталась память, светлая, детская.

— Ищи меня, папа! — кричал Тимоша, выныривая и снова утопая в мягких кучах — валах.

— Поехали, поехали, — поторопил Иван. — На минутку к бабе Фене заглянем, отдадим гостинцы и — вперед.

Но старая женщина гостей принимала по своему обычаю: чай, молоко из погребца, свежие пышки и, конечно, каймак — топлёные сливки.

От старости и хворей грузная, невеликая ростом, баба Феня, словно квочка, гостей опекала:

— Да как же... Да сколь не видала... Да вырос какой большой... Поболе каймачку накладай, худущий, весь в папочку...

Малые правнуки, какие при бабке находились, словно мышата, притихли, копаясь в кулках с гостинцами. Баба Феня расспрашивала о родне и свое успевала выложить:

— Все на Федоре. Тянет, как бык борозденый. А ребята на сторону косят: куда бы увезтись. Вова просит какой-то автобус. Хочет людей возить в город. И Ваня туда же... Чего они ищут, чего выглядят? Какую зорю? Нас все знают, в станице, по хуторам. Наши и чечены. Работай, живи да этих чият расти, — кивнула она на малышей. — А Федор, он тоже не железный... А без него все прахом...

Недолго посидели, послушали и поехали.

В машине пахло сеном. В Тимошкиных волосах остались зеленые сухие былки.

— В сено хорошо нырять, мягко, — сказал Тимоша. — У нас свое сено есть?

— Кто его нам косил?

— Ну давай накосим!

— Поздновато уже, — ответил Иван.

Поднялись на холм, выбираясь на свою дорогу. Иван еще раз взглянул на станичную округу: дома, улочки, зелень, красного кирпича могучий, но порушенный храм без крестов — память горькая давняя; такая же память, но ближняя: разбитые дома-«двухэтажки» без окон, без дверей, еще недавно там люди жили, разваленные пекарня, котельная; но все это — малое, а вокруг, близко и далеко-далеко: холмистая степь, густая синева просторной воды и блеклая — вовсе безмерного неба.

Когда-то казачьи донские земли, окружная станица, с двумя десятками хуторов под крылом; потом, при власти советской — центральная усадьба немалого, на шесть хуторов колхоза. Теперь — глухое Задонье.

Федор Иванович Басакин в этой станице прожил век, работая трактористом, комбайнером, шофером в колхозе. Как всякий селянин, он свою скотину имел, не надеясь на колхозную зарплату. Человек работающий, он в последние колхозные годы держал две коровы, пару бычков, свиней да птицу — для себя и на продажу; от пуховых коз получал неплохой доход.

В детстве родители присылали часто хворающего Ваню к станичным Басакиным на парное молоко, чтобы здоровье подправил. Молоко забылось, а все остальное помнилось: шалаш на сенокосе, «полевской» кулеш, рыбалка, уха на берегу, купанье до синевы и дрожи и горячий песок, пастушество, работа на зерновом току, прополка да сбор арбузов на бахчах, — все это было. И, конечно, баба Феня, которая, словно клуша, с детвой возилась прежде и теперь.

Сыновья Федора Ивановича тяготились хуторской жизнью и бытом. Старший уходил в райцентр, работал в автоколонне шофером. Но заработок был малый, машины — старье, одна мука. Жена, малый ребенок, съемная квартира — одно к одному. Пришлось возвращаться. Тем более что отец для молодых соседний дом купил. Нехотя, но вернулись в станицу, к отцовскому делу: своя скотина, чужая, на забой и продажу. По летнему времени — пастьба, сенокос; по зимнему — на базах работа: корми, пои, убирай. Потому и сетовал брат: «Скотина да скотина... Людей не видим». И, конечно, завидовал: «Хорошо тебе, дальнобойщику...»

«Дальнобойщик» — слово красивое. Но что проку в словах... Порой лучше со скотиною дело иметь, чем с людьми. Не хотелось и вспоминать.

Асфальтовая дорога закончилась в станице. Дальше поехали по грунтовой, не больно езженной, порою колдобистой. Тут ни машин, ни знаков жилья.

Степь да степь. Пологие ли, крутые, глубокие лесистые балки, курганы, вблизи и вдали.

— Здесь люди не живут? — спросил Тимоша.

— Мало людей.

— А волки?

— Есть волки.

— А мы их не боимся?

— Пусть они нас боятся.

Ехали и ехали, и наконец выбрались к просторной долине. На вершине высокого холма машину остановили, вышли из нее.

— Где наше поместье? Ты помнишь? — спросил отец.

Тимоша обвел глазами непривычную для него ширь земли, на которой глазу не за что было зацепиться, и лишь вздохнул глубоко.

Отец помог ему:

— Вон там, за речкой, видишь, высокий Явленный курган, а поближе, у Белой горы — синий вагончик. В прошлом году там были. Не помнишь?

Мальчик снова вздохнул и ничего не ответил. Глаза его были широко раскрыты, но не могли вместить такого огромного пространства земли и неба, увиденного будто впервые. Ему сделалось даже как-то страшновато, и он взял отца за руку.

Иван понял малыша, сказал:

— Поехали.

По белой меловой дороге спустились с холма; мелким бродом, на галечном перекате, перебрались через речку и скоро объявились на своей земле, которую именovali с усмешкой поместьем.

Когда-то, теперь уже в давние годы, когда рухнула советская власть, сельский народ и поселковый наперегонки стал обзаводиться собственной землей. Одни — для прокорма в нынешней и будущей жизни, другие — на всякий случай: бери, коли позволено. Басакины в стороне не остались, оформив в аренду да в собственность полсотни гектаров земли довольно далеко от поселка, в Задонье, на родине отцов и дедов. Выбрали место приглядное и уютное: берег речки, прикрытый от ветра высоким обрывистым холмом, просторная луговина. Рядом — места когда-то знаменитые: Явленный курган, Церковный провал, Скиты. Одно слово — Монастырщина. Никто из Басакиных о земледельстве не думал. Взяли на всякий случай. А еще потому, что старший из братьев, летчик Павел, мечтал: «Отлетаю, на пенсию выйду, буду здесь жить. Куплю дебаркадер, организую турбазу. Тут речка, лес. Чем плох?»

Мечтаниями пока все и кончилось. Поставили под горою железный вагончик. Летом иногда приезжали на день-другой отдохнуть на воле, порыбалить. Место было славное.

Просторную поляну, на которой стоял вагончик, надежно прикрывали могучий прибрежный холм с отвесным меловым обрывом, высокие белокорые тополя, развесистые береговые ивы, густые заросли краснотала. В этом тихом мире текла своя жизнь, которую лишь потревожил гул машины. Но он сразу смолк. И тишина сомкнулась.

Позднее, когда вернулись домой, отец и сын по-разному вспоминали прошедшее. Малый Тимоша повествовал восторженно родным и друзьям:

— Наш вагончик охраняет маленький зверь ласка!

— А еще — черные коршуны! Целая эскадрилья! Двадцать штук! Летают и летают.

— На бахче арбузы и дыни. Бери сколько хочешь. Там живут кабаны, лисицы, еноты и лось! Они любят арбузы. И даже волки приходят.

— На лошади я скакал! И не упал!
 — В сене хорошо кувиркаться! Мягко!
 — Раки ночью не спят!
 — Бобры сделали себе огромный дом! Они деревья грызут! Зубами!
 — Лисица к нам приходила. На ужин! Мы ее угощали рыбой.

И еще одно, шепотом и с оглядкой:

— Там монах живет, тайный. Он живет ночью, а днем скрывается в пещере.

Все это было: любопытная, юркая ласка, живущая под вагончиком, уша-
 стенькая, белобрюхая; стая коршунов, кружащих над своими гнездовьями и
 угожьями; бобровые заводы, хатки. Ездили на бахчу, уже оставленную хозя-
 евами, но щедро укатанную ярко-желтыми дынями-«ломтевками» и поздни-
 ми «зеленухами», арбузами. Там почти открыто кормилось зверье.

Навестили троюродного брата, отцова крестника, тоже Басакина, Ани-
 кея, который жил и хозяйничал рядом, за речкой, на обезлюдившем хуторе.
 В большом хозяйстве его были даже лошадки, которых он любил и холил.
 Тимоша, и впрямь, впервые в жизни на лошади прокатился, визжа от восторга
 и страха.

И последнее, про монаха, тоже не было выдумкой. В первый же день
 заметили натопанную дорожку, которая вела к речке мимо вагончика и
 уходила вверх, по склону холма, обходя меловые обрывы. Ранним утром во
 тьме Иван слышал чьи-то шаги, но выглянув, никого не увидел.

Все объяснил Аникей Басакин.

— Завелся у нас монах. Какую-то пещеру копает на Явленом кургане.
 Молодой мужик. «В затвор, — говорит, — хочу...» Я ему толкую: хаты есть,
 выбери подходящую, оборудуй, поможем. Будет вроде хуторская часовня. Дед
 Савва уже не в силах. Ты будешь молиться за нас, грешных. Кто-то должен
 молиться». А он — ни в какую. «В затвор, в затвор...» Молодой мужик.
 В рясе. Говорит, из города. А может, и брешет. Не он один тут шляется. Под-
 земный храм ищут. Там вроде святая икона. И золото. Припасли для них. Но
 наш вроде спокойный. К людям приходит, молится. Беседы ведет даже с
 моими ахарами. Может, и правда, монах...

Так что мальчик ничего не придумал, рассказывая о монахе, о зверях и
 птицах, — все было правдой.

Отца его — человека взрослого — всплески восторга детского не удив-
 ляли, а в душе собственной появилось и не отпускало пусть и похожее, но
 иное.

Вернулись домой, в обычную жизнь, но порою вдруг отстранялись карти-
 ны привычные и очевидные: поселковые улицы, машины, голоса людей и тех
 же машин, от которых не укрывали даже домашние стены — все это порой
 отступало, а виделось вчерашнее: просторная степь и просторное небо, зе-
 леные камыши и зеленые купы деревьев; чуялись пресный дух воды, горько-
 ватый — полыни, пахучего иссопа-«ладана»; слышался легкий ропот листвы
 в маковках тополей, плеск волны — во всем покой и покой, такой желанный,
 врачующий душу. И голос малого Тимоши, его сияющие глаза: «Она меня не
 боится! И я ее не боюсь!» Это — про ласку ли, куницу, которые живут рядом.
 Или про лошадь, на которую посадили его.

А еще помнился закат, малиновый разлив его на полнеба, а в стороне
 западной — багровые облака, словно сказочные утесы, которые понемногу
 остывают, покрываясь сизым пеплом. В мире тепло и тихо. И теплое тельце
 сына прижалось: головка у отца на коленях. Тимоша задремывает, но силится
 продлить долгий счастливый день и потому бормочет: «Мы с тобой... Мы не
 уедем... Мы будем долго здесь жить... Мы всех сюда привезем... Маму, Васю,
 бабушку, деда. И Никитку заберем. Здесь много места...»

Он смолкает, заснув у отца на коленях.

Все это помнилось, не отпускало, понывая в душе глубокой занозой.

Возле подъезда, на обычное место, отец поставил машину — «рабочую лошадку», ключи от нее тоже на привычном месте, в прихожей — это напоминание: «Надо работать». Жена молчала, уходя на службу и приходя с нее, порою спрашивала осторожно: «Ты не болеешь? — И как-то добавила: — У нас шофер уходит». — «Заездили Петровича», — усмехнулся Иван, понимая, что это ему предложенье, над которым и думать нечего: копеечная зарплата, разбитая машинешка, денег на ремонт нет, а ездить надо чуть не круглые сутки по всему району, да еще и семью начальника возить по магазинам, больницам, школам. Старый Петрович, пенсионер, трудяга безответный, и тот не выдержал. Уж лучше идти охранником в магазин. Почти те же деньги, но день отдежуришь, два дня свободен, можно подрабатывать на «извозе», летом — на стройке. А еще была мысль...

Много было мыслей. Они, словно червяки, ворочались в голове днем и ночью, не давая покоя. Жена пока не нудит, что-то, но понимая. И мать лишь вздыхает. Молчит отец. Пока молчит.

День, другой, третий текли в томительном ожидании неизвестно чего.

В поселке работы нет и не будет. Охранник, извозчик, мелочный торговец — вот весь выбор. В отъезд собираться? Москва да Питер... Семью бросать? Спать в какой-нибудь конуре, по-собачьи кормиться. Рабочий день — немереный, а заработок известно какой... Ремонтным рабочим на железную дорогу. Вахтовые смены. Шпалы да рельсы, вагончик в степи.

В квартире не сиделось. Давили тесные стены. Иван выходил на волю: скамейка возле подъезда, старики-соседи, тары да бары. Но разговаривать попусту не хотелось.

Панельная «пятиэтажка» серой стеной высилась перед глазами. Пустой, выбитый людьми и машинами двор, тоже серый, без травинки. «Мусорка» с высокими железными баками, всегда через верх, горою. Ржавые железные гаражи, возле которых вечная толчея: похмеляются, пьют, порою тут же валяются, спят. Нестарые еще мужики. Тут же кружится детвора. Бродят бездомные собаки, кошки. А прикроешь глаза, ясно видишь иное: зеленый берег, тронутые желтизной тополя да ивы, синяя вода, меловой обрыв холма и белесый полынный покров его, горький дух. И огромное небо, облака, путь которых можно долго следить. Но все это там, далеко, а рядом — серая стена «пятиэтажки», гаражи, «мусорка» и двор — словно «мусорка»: пустые целлофановые пакеты, пластмассовые бутылки, прочий хлам гоняет ветер. Будто всегдашняя жизнь, но глядеть на нее не больно сладко. Может быть, от непривычного безделья, какого давным-давно уже не было. Обычно на скамейке рассиживать некогда: приехал, отоспался, уехал.

Машина у подъезда торчала, словно сорина в глазу, напоминая, что надо работать. Соседи, видевшие Ивана редко, спрашивали: «Ты либо поломатый?»

— Поломатый, — со вздохом соглашался он.

— Давай подлечим, — предлагали ему. — Магазин рядом.

Но Ивану хотелось иного лекарства. Оно объявилось неожиданно. И очень кстати.

Позвонил по телефону Аникей из Большого Басакина.

— Ты на месте? — спросил он. — Подъеду. Разговор есть.

Он скоро подъехал. Разговор был конкретным.

— Ты вроде сейчас не при делах, а машина на ходу. Все верно?

— Верно, — согласился Иван.

— Есть дело. На два месяца. До ледостава. У меня получилась нестыковка. Нужен надежный человек и надежная машина. Объясняю: каждый день, в пять-шесть утра — рейс в город. Груз — рыба и мясо. В городе сдал, до утра — свободен. Четко, каждый день. Ночевать можно на хуторе. А хочешь — дома. Но, как штык, в пять утра погрузка. Никаких сбоев. Товар, сам понимаешь, какой. Он ждать не будет. Вопросы есть?

— Да вроде понятно.

— Будешь думать? Или сейчас решишь?

Для Ивана это был неожиданный выход: не сидеть без дела, а за эти месяцы, может быть, что-то проявится, выплывет подходящее.

— Пойдет. Согласен, — сказал он. — Когда первый рейс?

— Завтра.

— Значит, вечером буду у тебя.

Аникей уехал. Иван вздохнул облегченно: пусть временный, но хомут снова на шее. Голову ломать не надо: что да как... Жене не стыдно в глаза глядеть. А там будет видно.

Глава 7

Хутор Басакин при подъезде с высокого холма открывался как на ладони. Лежал он в уютной долине, стекающей к Дону. И не было нужды гадать, где здесь живет Аникей Басакин. Сразу в глаза бросалось огромное, на полхутора подворье со скотыми дворами, стойлами, выгульными базами, высоким, под шиферной крышей сенником, скирдами соломы.

Все остальное сверху, с холма видится селеньем, для здешних краев обычным: зелень садов, огородов, левад, невеликие домики, кружево уличных дорог, людских да скотых тропинок.

Но если человек проезжий ли, приезжий спускался с холма, то ему поневоле становилось не по себе. Казалось, что здесь ураган пронесся или новый Мамай прошел.

Густая дичающая зелень садов, заросли конопли да крапивы стыдливо прикрывали остовы, развалины домов да сараев. Редко-редко попадется домик жилой с плетневой ли, жердевой покосившейся огородей. Чье-то лицо словно померещится в малом окошке, чей-то сгорбленный стан во дворе. Вот и все.

Но чужой народ тут не ездил: далекое глухое Задонье. А люди свои напрямик катили к просторному подворью Аникея Басакина, туда, где жизнь.

Спустившись с горы, Иван подъехал к басакинскому жилью, у ворот которого стоял и ругался хозяин. Возле ног его — большая, с хорошего телка ростом, кудлатая собака, которая с глухим рыком ощерилась на приезжего и напружинилась, ожидая команды. «Свой!» — коротко сказал ей хозяин и продолжил ругать нестарого еще мужика, но трепаного: грива нестриженных, добела выгоревших на солнце волос, черные босые ноги в опорках, лицо мятое, но легкую рубашку расpiraют крепкие плечи и руки — словно весла. Что-то знакомое почудилось Ивану: где-то он видел этого мужика.

У хозяина голос был зычный:

— Что жрать надо, всегда помнишь! Жрешь за двоих! Пить... Тоже не забываешь! Верку накачивать... Напоминать не надо! А как в дело, у тебя память отшибает! Чую, арапника ты давно не кушал. Или вот этого... — поднял он могучий кулак и потряс им.

Работник вскинул голову, с места не двинувшись; в глазах — испуг. Серые ли, голубые глаза, большие. Иван его, кажется, вспомнил: на заводе когда-то вместе работали, прозвище Кудря. Кудрявый был парень.

— Иди... — сквозь зубы процедил хозяин, оглядываясь на Ивана. — Да не шагом, а рысью! А то Рекс тебя подгонит!

Заслышав имя свое, Рекс насторожился.

— Сидеть, — успокоил его хозяин.

Работник улепетывал резво, порой оглядываясь.

Хозяин не сразу остыл, шумно вздыхал, словно пар спуская.

— Что за люди... — жаловался он. — Только жрать да пить, — потом улыбнулся Ивану, протягивая руку. — Здорово, братан. Ты прибыл? Молодец! — и обратился к собаке: — Это наш человек. Запомни.

Могучий пес его понял, расслабляясь и прикрывая тонущие в густой шерсти глазки.

— Рекс, — представил собаку хозяин. — Кавказская овчарка. Волка берет. Все понимает. Не то, что некоторые. А это, гляди, — мое хозяйство. Считай, что твой дом. Пошли во двор, — пригласил он.

— Здесь у нас летний стол, а здесь кухня. Газовая плита, микроволновка, электрочайник... В шкафу — чай, кофе и прочее. В холодильнике масло, сыр, мясо, молоко, сметана — словом, харчи. Когда надо, заходи и ешь. Холостякуем... — хохотнул он. — Тут у меня баня, тут — хата. Места хватает, но ночевать будешь не здесь. У меня гостей — со всех волостей. Надо бы поменьше, но... — развел он руками. — Покупатели, «менты», другие люди. Гульба случается. Тоже нужное дело. А тебе надо спать перед рейсом. Так что ночевать будешь, когда надо, у деда Атамана. Это сосед мой. Кличка у него такая — дед Атаман. Там — тихо, спокойно. Пошли, сразу познакомлю вас.

Двор деда Атамана — напротив, чуть наискось, в двух шагах. Старый дом, шиферный забор, ворота открыты, хозяин что-то подлаживает.

— Здорово ночевал, дед! — окликнул его Аникей. — Живой-крепкий?

— Шевелюсь... — отозвался старик.

— Знакомся. Твой квартирант. Родня наша. Брательник — Иван Басакин.

Старик, оглядев гостя, на Аникея взгляд перевел, недоверчиво хмыкнул:

— Вроде не похож на басакинских.

— Они — городские, уже с подмесом, — сказал Аникей. — Это мы — коренные.

— Тогда понятно. Его троюродная бабка с нашим двоюродным дедом у одного плетня стояли.

Аникей рассмеялся.

— Наши, наши... — приобнял он Ивана. — Басакинский род, Жуковы.

«Жуки», а порою Жуковы было хуторским уличным прозвищем рода Басакиных с давних пор. Аникей Басакин этому прозвищу вполне отвечал. Коренастый, плечистый, с большими руками. Силой его бог не обидел. А масти точно басакинской: темный, густой жесткий волос, ныне с проседью, усы, густые, нависающие брови на смуглом, медью отливающим лице. Резкие морщины. Сразу видно, что хуторянин, а еще и рыбак. Заветренный, матерелый. Одним словом — Жук.

С дедом познакомились и вернулись на свой двор.

— Машину ставишь на воле или в гараж, когда нет погоды. Вроде все. Ознакомились. Будь как дома. Давай пообедаем или уже повечеряем. Верка! Я нынче обедал?! —

— Нет, — ответил женский голос.

— Ну, вот... Без жены некому за мной доглядать. Давай! Чего там у нас?

— Уха, рыба...

— Давай уху, и рыбу, и все остальное. Оголодал.

Уселись за летний стол под навесом. Чистый двор при жилье отделялся от скотских базов и прочего хозяйства высоким забором из листового белого шифера. Дворик был небольшой, но уютный. Зеленая газонная травка, цветы, дорожки из красной брусчатки и даже небольшой водоем с фонтаном, который журчал, поднимая воду прозрачным куполом.

Объявилась Верка — дородная круглолицая баба, на крепком широком поставе.

— Это наша невеста, — представил ее хозяин. — Огнючая девка.

— Нашел невесту. Я — при муже, в законе, — возразила Верка.

— И мужняя, и всем нужная, — подтвердил хозяин. — Как говорят, не лужа, достанется и мужу.

Верка довольно хохотнула и, несмотря на полноту, быстро собрала на стол: летний салат из помидоров, огурцов да перца, холодное мясо, жареная рыба, уха.

Иван не был голоден, но глядя на хозяина, вошел в аппетит.

Аникой ел не жадно, но смачно, со вкусом, понемногу рассказывал, жалуясь:

— Вроде и лето проходит: откосились, все свезли. Вон у меня какой сеник, — похвалился он. — Все под крышей. А все равно дела не кончаются.

Он жил на хуторе большей частью один. Жена с дочерьми — в городе. Там — учеба и не на кого оставить девчат.

— То — одно, то — другое. Даже поесть забываешь. Так и схудать можно, — хохотнул он. — Вот Верка у нас, — пощекотал он кухарку, — уже и в шкуру свою не влазит. Кое-где даже шкурка лопается. Спасибо, есть што-пальчики...

Поели, закусив пахучей дыней да сладким арбузиком. Недолго посидели, отдыхая, тут же за столом.

— Ты вовремя подъехал, — размыслил хозяин вслух. — У нас лишних рук не бывает. Две головы нынче на забой. Приходилось скотину бить?

— Кур да кроликов, — посмеялся Иван.

— Ничего. На подхвате пойдешь. Сашка! Ты где?! — позвал он громко. — Бери все, что надо, поехали.

Провозились допоздна. Забили двух быков, разделали, разрубили туши. Иван отправился спать, хозяин с помощником подались к иной заботе: затарахтел малый тракторенок, загромычала тележка, на ней лодка с сетями. Поехали на Дон.

На новом месте, в пустой хате деда Атамана, Иван сразу же провалился в глубокий сон, а проснулся от звона будильника. Поднялся, умылся. На воле — серый рассвет, мерклые звезды, ночная зябкость, роса, робкая заря на востоке.

От деда Атамана через дорогу — басакинское хозяйство. Там, во дворе и на кухне, уже суетится кухарка Вера. Она Ивана увидела, позвала:

— Садись завтракай. Сейчас подъедут.

Вдали, пока еще слабым голосом, затарахтел трактор, выбираясь от реки и займища к дому.

Пока Иван завтракал, трактор подъехал и смолк.

— Льдом переложил! — приказал Аникой помощнику, заходя во двор.

— Вы и не спали? — спросил Иван.

— Спали. Но по-крестьянски, комариным сном, не то, что вы — городские — до обеда зорюете, — посмеялся Аникой. — Но мы зимой свое возьмем, отоспимся. Верно, Сашка?

— Отоспимся, — просипел помощник.

Быстро загрузили в машину мясо и рыбу.

— А это твоим, — сказал Аникей, передавая увесистый мешок. — Сазаником крестному привет вези. Скажи, повезло нынче. А гусек — твоим казачатам, свежатинка. Бери, бери... Им надо, — улыбнулся он и по-деловому добавил: — Тебе все понятно?! Вопросов нет? Везешь и сдаешь. Если менты остановят, сказ один: «От Аникея».

И в самом деле, вопросов не было. «Гаишники» остановили Ивана на мосту через Дон, у поселка. Но лишь произнес он заветные слова: «От Аникея...» — ему даже честь отдали, желая счастливого пути. И еще: «Передавай привет!»

Так началась для Ивана новая жизнь, на прежнюю будто похожая: машина, доставка груза; но вместо далеких дорог к Москве, Ростову, Краснодару, Тамбову да Ярославлю — всего лишь сотня-другая километров до областного центра и столько же назад, на хутор, с заездом в поселок, домой, где можно остаток дня пробыть и даже ночь провести, лишь ранним утром приезжая на хутор.

Но, с одной стороны, не больно удобно подниматься за полночь, тревожа домашних, и ехать впотьмах. И, конечно, хозяину спокойней, когда уже с вечера машина на глазах, наготове.

А еще появились другие заботы, к которым неожиданно подтолкнул его хозяин ночлега — старый, одышливый дед Атаман. Увидев, что Иван взялся подлаживать удочки, он посмеялся:

— Аникея хочешь обловить? Или дремоту разогнать? Ты бы лучше шиповник сбирал. Шиповник ныне могучий. Я своим лодырям говорил, когда приезжали. Чем мух гонять, собирайте шиповник. По двести рублей ведро на месте возьмут. Разве не деньги? А они не схотели, говорят, колючий.

Подсказка была заманчивая. Сразу и поехали с дедом, он места указывал, называя их: Ремнево да Семибояринка...

В первый же день Иван набрал почти два ведра, с непривычки и без нужной сноровки да амуниции исцарапался, искололся в колючих кустах. Но уже ко дню следующему отыскал брезентовую куртку да кожаные перчатки, и дело пошло. По три, по четыре ведра набирал до темноты. Спешил, возвращаясь из города, в поселок не заглядывал, наскоро перекусывал и — вперед. На дни воскресные он даже жену привез с сыновьями. От ребят, правда, больше визгу... Но собирали. Сбыт в городе был нормальный.

А потом занялся грибами: тополевая рядовка, «зеленуха», «синяя ножка». Грибы выгоднее: легче набирать, дороже стоят.

Дед Атаман, не таясь, показывал свои заповедные уголья, вздыхая: «Подохну, и никому не сгодится. Городским ничего не нужно». — Это укор сыну и внуку.

Новое ремесло Ивану понравилось: на вольной воле, никто не подгоняет. Вроде забава, но деньги идут. И хорошо, что нет конкурентов. В поселковой округе охотников до грибов и ягод — тьма: своих полно да еще городские приезжают, особенно по выходным. Возле каждого куста ли, дерева бьются лбами. Все выгребут, все обдерут подчистую, словно саранча прошла. Дело понятное, жизненное: для одних — добавка к столу, ныне небогатому, для других — заработок. Рядом — ростовская трасса. Днем и ночью на ней торгуют грибами.

А здесь вся округа твоя. Ни людей, ни машин... Даже на хуторе шаг шагни от басакинского хозяйства, от деда Атамана — сразу тишь и безлюдье. Брошенные подворья, проваленные крыши домов да сараев, саманные, глиняные оплывающие стены или вовсе — лишь камень-плитняк фундамента, провалы погребов да колодцев, высокие заросли лопушистого дурнишника, островерхой конопли, вовсе непролазные колючие терны. Кладбище, а не

хутор. Живые — лишь подворье басакинское да на самом краю, возле горы — чеченское гнездо: Вахид, Зара и орда ребятишек, от взрослых уже Умара, Зелимхана, Балкан до школьников и сопливой мелкоты. Чеченам грибы да шиповник ни к чему. У них о скотине забота.

От когда-то людного хутора — Большой Басакин он назывался — о четырех концах ли, кутах: Рыбачий, Варшава, Забарак да Желтухин — теперь друг от друга поодаль, вразброс остались последние долгожилы: глухой, как кремень, дед Фатей со старухой, бабка Ксения, которая уже из хаты не выходила, да бабка Катя, гнутая коромыслом, но еще бегучая. У нее огород, пять куриц, кошка Маруся и невеликая собачка Черныш. От нее недалеко — полуслепой дед Савва.

Раз в неделю Иван объезжал их, привозил хлеб. Порой старики об ином просили: соль да спички, крупа да мука, таблетки от «давления» и «головы». Это Аникея наказ. «Раз в неделю, — сказал он. — Живые люди, свои. Надо помогать...»

Живые люди, но немощные. И потому оказался Иван всей округи хозяином: грибы ли, шиповник, лечебный боярышник, колючий барбарис.

Лесистое займище над водой, высокие холмы, поросшие кустами балки. Всюду тишина и покой.

В жизни еще недавней — сплошная нервотрепка, тревога: как да что... А теперь, в кои веки, покой: утром встал, загрузился, поехал, «гаишники» здороваются: «Аникею привет!» В городе сдал товар и вернулся. Потом — шиповник ли, грибы. Вечером ложишься спать безо всяких дум о дне завтрашнем. И деньги идут неплохие. И люди вокруг свои. Не надо никого опасаться: живи, работай.

Дед Атаман нахваливал своего постояльца: «Это по-умному...» Посильно помогал ему.

Схоронив жену, в одинокой своей жизни старик нудился, доживая век.

Телом тучный, большой, недавно еще могучий, а ныне — одышливый, на ноги слабый, он с трудом, но держал огород, невеликий сад, курочек водил, понемногу рыбачил, для себя, ругал городских сына да внука, хвалил Аникея, ставя его в пример.

— Вот он — хозяин... Весь природ хозяйский. А ведь тоже в городе жил. Квартира, должность на заводе. Старший мастер кузнечного цеха, — уважительно подчеркивал он. — Мои дураки жалются и жалются, уже полжизни прожалились: платят мало, работы нет, денег не хватает. Ума, говорю, вам не хватает, и работы боитесь. Поустроились охранниками, ловите мух ноздрями. На Басаку им указываю: вот так надо жить. Не слезы точить, а головой кумекать и трудиться, трудиться. Аникей, говорю, вот он, с него берите пример. Ведь наше подворье было не хуже басакинского. А какая у нас левада богатая! Всем — на завид. Бабка живая была, трудились... Теперь все — на мыльный пузырь пошло. Нет мочи...

И в продолжение:

— Басака, он тоже городской, но слезы не лил, как мои, не жалился. И с неба ему не упало. Он приехал, мать схоронил, отца определил и запрягся, как бык, тянет и тянет. Когда он и спит, не знаю. Лишь зимой, как медведь, пару месяцев. А остальное... Лето, весна ли, осень... Вечером — на воду, одни сети на постав, другие — внаплав, всю ночь — с ними. А утром, глядишь, уже поскакал на ферму, к скотине. Этим помощникам, ахарям, разве доверишь? За ними в четыре глаза глядеть. Сколь скотины, молодняк, лошади... И все — в одного, в одного. Такая ига. — Старик вздыхал, умолкая.

Он провел на хуторе всю жизнь и всю жизнь тяжело работал. Еще мальчонкою начал трудиться, в войну: на сенокосе, на бахчах, на тракторных прицепах, плугах да сеялках.

Он понимал своего молодого соседа, сочувствовал, порою завидовал ему до сердечной боли. Разве такая воля раньше была? Чего не коснись: скотину — не держи, сено не смей косить, хворостины в лесу не тронь. Рыба в Дону — не твоя. А ныне... лишь работай.

Он глядел на свои руки, большие, мослатые, костенелые, в черных веревках вен, глядел, неволею вспоминая долгие свои труды, которым пришел конец и от которых много ли проку? Одни лишь тяжкие хвори.

— Надо трудиться... Под лежащий камень ничего не притекет, — внушал он своему постояльцу, а может, далеким детям или просто заученно повторял для мира вечный закон. — Надо трудиться...

Одобрал Ивановы хлопоты и Аникей. Даже завидовал:

— Я тоже люблю за шиповником, за бояркой, за ежевикой. Такие места знаю на Клешнях. Но все некогда.

— Поехали... — звал Иван.

— Да, надо бы выскочить, развеяться... — соглашался Аникей.

— Конечно. Пока погода стоит. Хорошие здесь места, — нахваливал Иван. — Тихо, спокойно. Тополя начали опадать. Тополевка идет.

— Тополевку легко резать, — вспоминал Аникей. — Дорожки, круги... Листочки разгребашь, они стоят, красавцы крепенькие. Лисички не попадались? Люблю лисичку. Какой у них запах? — шумно тянул он воздух.

— Попадались, — сказал Иван. — Я их своим отвозил. Ребята хорошо едят. И мать любит.

— Попадутся еще, — попросил Аникей, — давай пожарим, со сметанкой. Что-то так захотелось. Давно не кушал.

На той же неделе, ему на счастье, попалась Ивану целая полянка лисичек: золотистые, с острым духом и ни одного червивого. Обрадованный Аникей их жарил сам, кухарке не доверяя, в большой черной сковороде, с лучком, на коровьем масле. Он колдовал у плиты, по невеликому дворику растекался дух приманчивый. За летним столом, под навесом сидели гости в терпеливом ожидании.

— Баловство... Раньше их у нас и не знали, и за еду не считали, — вспоминал дед Атаман. — В голод — травились. Не соображали. Хватали все подряд. Это уж ныне стали разбираться: рядовка, зеленуха, шампиньоны... Все едовое... А старые люди их в рот не брали: змеиная, говорили, еда. Не положено. Это уж мы ныне привыкли. Моя бабка, бывало, рядовку окисляла томатом. Аникей помнит.

— Помню, помню... — отозвался хозяин. — Мировая закусь. Но моя сейчас будет не хуже.

Он принес и поставил на стол горячую сковороду. И лишь теперь сдобрил шкварчащее жарено густой сметаной, остужая его.

— Тут уж сам бог велел... — наливая стаканчики, сказал Аникей, на Ивана глянув.

Тот качнул головой, отказываясь. Хозяин его одобрил:

— Это — правильно. А нам с Атаманом немного можно. Верно, дед?

— Нам можно. На хуторе нет «гаишников». А если и прибывают, то по другому делу.

Выпили, крикнули, стали закусывать. Кроме грибов было что есть: холодное мясо и рыба, горячая отварная картошка, огородная зелень.

Выпили и по второму стаканчику. Для крепких мужиков такое, что слону дробина. Когда-то пили настоящими гранеными стаканами. Была такая мода ли, дурь.

— По ободку — двести грамм, — вспоминал дед Атаман. — А доверху всклян — двести пятьдесят. Бывало, обижались, если по ободку нальют. Чего, мол, не доливаешь. Давай горкой, чтобы жизнь была полная.

Понемногу вечерело. Нежаркое уже солнце клонилось к горе. Но скотину еще с пастбы не пригнали, было тихо. И, как всегда вечерами, пробиваясь через вечный хуторской скотий дух и нынешний грибной, чуялся сладкий запах петуний, душистого табака, росших рядом. Кухарка Вера только что улила цветочные клумбы. А еще, тоже будто незаметно, от реки наползал вечерний дух пресной воды.

Особенно это чуял человек приезжий — Иван; оставив еду, он откинулся на грядущку скамейки, сказал искренне:

— Хорошо тут у вас...

— Вот и поселяйся, — предложил Володя. — Заявление пиши атаману, он у нас главный. Хату выделим. Этим не бедствуем.

Пустые, неразваленные дома на хуторе были. Последние годы Басакин их скупал по дешевке у стариков и наследников. Покупал и берег. На стенах писал крупно: «Собственность Аникея». Объяснил: «Нам чужих не надо. У нас не аул, а хутор». Это были не пустые слова.

— Атаман, как считаешь, нужны нам на хуторе казаки? — спросил он.

— Нужны, особенно с казачатами.

— Вот за это и выпьем, по последней. Бог троицу любит, — сказал Аникей, добывая на сковороде последние грибы. — Спасибо. Угодил.

Он посидел недолго расслабленно, поглядел на солнце, которое красным колом лежало на холмах. Поглядел и спросил громко:

— Сашка! Все готово?!

— Готово... — ответил за высоким забором помощник Сашка.

— Тогда заводи. Поехали.

Ему было неохота вставать. Посидел бы, погутарил. Час вечерний, день позади. В прежние времена, еще мальчонкою был, помнил, как порою вечерней, после трудов колхозных, а потом огородных, домашних, особенно в эту пору, когда откосились, отсеялись, у того ли, другого двора, в своем куту, «на колодках» — добела обтертых корягах — собирался народ, отдохнуть, посудачить. Тут же ребятня кружилась.

Работник Сашка трактор завел. На голос его Аникей поднялся.

— Сидите тут, — сказал он застолью. — Верку пригласите. Дед подишканил. Он — мастер. — И, быстро натянув рыбацкую одежду, пошел со двора.

Продолжение следует

Поздравляем Бориса Петровича ЕКИМОВА, видного донского писателя и члена редколлегии нашего журнала, с присуждением литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика»!

Освальд ПЛЕБЕЙСКИЙ (1924—1997) — замечательный русский поэт, человек нелегкой судьбы, солдат Великой Отечественной, чей ратный путь был отмечен орденом Славы, медалью «За отвагу» и тяжелейшими ранениями.

Он родился на Урале в семье офицера, в Сталинград приехал в 1957-м, когда за плечами была не только война, но и десятилетняя гулаговская неволя... Через год его стихи составили основную часть коллективного сборника «Ровесники», а вскоре вышли первые книги:

«Стальной календарь» и «Рождение солнца», последняя — целиком о строителях Сталинградской ГЭС. До восьмидесятых годов увидели свет еще пять сборников поэта. Но в полной мере свободолюбивая и мужественная муза Плебейского (Валентина Лавровича Еремина) вышла из цензурской неволи только с началом девяностых. И его творчество наконец предстало во всем своем эпическом размахе, предельной честности и завидном мастерстве.

19 октября нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения поэта. Вспомним стихи из его последней книги «Избранное» (1997).



ПОЭЗИЯ

Владимир МАВРОДИЕВ



1958 г.

Освальд ПЛЕБЕЙСКИЙ

«Я никогда свободы не отдам...»

* * *

Войска ушли в метелицу и мглу
Дорогой страшной, трудной, неизвестной.
Как дерево, сдержавшее скалу,
Мы наклонились над смертельной бездной.

Слова любви опали, как листья,
До той весны, когда уснут Карпаты,
И наведут обратные мосты
К родным полям усталые солдаты.

Положит руку вечер золотой
Влюбленным на застенчивые плечи.
И будет жизнь счастливой и простой,
Как с другом неожиданная встреча.

Так нам в далеких думалось краях,
Где нас косили пули и усталость,
Так думалось в походах и боях,
Так думалось, но так, увы, не стало.

Как видно, мы вернемся к вам не враз,
Не враз привыкнем к креслам и подушкам.
И долго, долго будет сниться глаз,
Из-за куста берущий грудь на мушку.

И ты меня, прошу я, не лови
На горьком слове, вспышке, на обиде.
Так тяжело привыкшим ненавидеть
Учиться снова азбуке любви.

* * *

Я на фашистский пулемет
Бегу. А други — около.
Тут пуля сладкая, как мед,
Под самым сердцем съёкала.

В груди — горящее тавро!
Но вас еще потешу я.
Тут пуля выбила ребро,
Как бумеранг взлетевшее.

Я засмеялся:
— Ой, добра
Я нахватался ихнего!
Тут в голове моей дыра
Трубой подзорной вспыхнула.

А пулемет свое долбит:
Мол, ваше имя-отчество!
Заткнись ты!
Знаю, что убит!
Да умирать не хочется!

* * *

Бродят бендеровцы, бродят бендеровцы,
Тени пожарищ в ночи волоча.
Нам же, веселым, в веселое верится.
Спирт. И румынки плечо у плеча.
Вина здесь кислые, хлеб кукурузный,
Спят под периной. Поспишь — угоришь!
Звонче взгреми танкошлемом, мой грустный!
Эх, мол, не зря конопат я и рыж!
Ну, а румынка — девчонка девчонкою,
Только черней, чем у наших, глаза.
Белые ножки исходят чечеткою,
В ухе сережка горит, как слеза.
Манит девчонка ключицами голыми,
В блузке за пазухой — пара котят.
Пара котят или белые голуби
Бьются, трепещут и ласки хотят.
Где-то жених ее...

В стужу февральскую
Скоро и нам уходить суждено!
Эй, конопатый, рвани-ка уральскую,
Чтобы от чувств раззвенелось окно!
Пляской румынки пляшу огорошенный,
Сладость гармошки, волос аромат.

Только в углу, под скамейку заброшенный,
Глухо подпрыгивает автомат.

* * *

Опять иду в холодные просторы,
Клонясь под тайной кладью рюкзака.
Скалистые заснеженные горы,
Как волчьи зубы, вгрызлись в облака.

Гей, вьюга! Сосны рви под самый комель,
Во льду застежек до смерти свисти!
Но сладко мне идти, грустя о доме,
Бороться с ветром, но вперед брести!

Пусть я один. От дома далеко я,
Пусть бродят волки по моим следам,
Но ни любви, ни счастьем, ни покою
Я никогда СВОБОДЫ не отдам!

* * *

Если я от тоски не в себе,
Словно шепчет мне звездный коран,
Как вернусь я в лохмотьях к тебе
И без сил упаду на диван.

Над букетом пчела зажужжит,
Сядешь в кресло, как прежде, светла,
И с колен полукругом сбежит
Шелестящего платья пола.

И, глазами в глаза погружаясь,
Бесконечно печален и тих,
Расплету я проклятую вязь
Лагерьей и этапов своих.

И усну. И тюремная кровь
Понесет меня вдаль, как траву.
И ненужная больше любовь
Будет сниться всю жизнь наяву.

* * *

Летит машина сквозь огни станиц,
И Дон горит кривой голубизною.
Шарахается тень земных ресниц
И навевает что-то неземное.

Дурман-глаза! Но не моей судьбы,
Не заблужусь я в их тумане мгlistом.
Так что же телеграфные столбы
Пронесются с таким надрывным свистом?

Зачем же льется на мое плечо
Волос девичьих золотая ива,

И так хрустят колеса горячо,
И так душа татарников пуглива?

Таинственно приборная доска
Вьет циферблаты снов и трепетанья.
И губ твоих вишневая тоска,
Дурман-тоска — вся пламя ожиданья.

И я, дрожа, беру твою ладонь
И от сиянья закрываю веки.
Как будто хлынул голубой огонь,
Переплелись ручьи мои и реки.

О Зеравшан! О Днепр! О тихий Дон!
Как много странных, непонятных линий!
И вновь уносит нас летучий дом
В тревожный сумрак — золотой и синий.

Концерт

День на стройке становился напряженнее и жарче.
Паровоз по эстакаде, как положено, сновал.
Примостившись возле тучи, верхолаз-электросварщик,
Словно дятел, арматуру носом огненным клевал.

Сквозь металл синели неба треугольники и ромбы,
Тросы выли от натуги, устанавливая статор.
Вот тогда и прогремели громы радиоутробы:
«В перерыв на Гидрострое даст концерт Большой театр».

И присели самосвалы, гукнул катер из затона.
Онемел надменных кранов лязгающий караван.
По пещерам и по ребрам неприступного бетона
Работяги, словно горцы, пробирались в котлован.

Задубелые, брезентовые, дюжие ребята!
Затоптали вмиг паркеты из следов зубчатых шин.
Облепили все опоры, все бычки и эстакаду.
Сцену сгрохали отменную из кузовов машин.

Колбасу жевали наспех, едкий дым взахлеб глотали,
Острой шуткой-прибауткой ожиданье коротали.
Наконец, автобус фыркнул, словно «здравствуйте!» сказал.
Сорок оперных артистов он доставил прямо в зал.

Их подсаживал на сцену осторожно люд рабочий.
Бурный гром аплодисментов словно души расковал.
Человек!
Он до искусства очень жадный и охочий.
Ну-ка, дай-ка, что ли, жизни, знаменитая Москва!
И Москва дала что надо! Соловьем зашлась певичка.
«Волга, Волга, мать родная!» — перекачивался бас.
Мы вытягивали шеи, запрокидывали лица,

«Я НИКОГДА СВОБОДЫ НЕ ОТДАМ...»

И забытые окурки
За руки кусали нас.

А когда нам улыбнулся человек с лицом усталым
И со сцены потянуло чем-то близким и знакомым,
«Это Лемешев!» — сказали.
Тишина кругом настала.
Он запел.
И что-то к горлу подкатило мягким комом.

Голос вился звонко, звонко,
Вольной воли не тая:
«Это русская сторонка,
Это Родина моя!»

Из-под ног по перемычке ручейки песка бежали,
В зыбком небе громоздилась отдыхающая сталь.
Словно роги изобилья, репродукторы дрожали,
Извергая вихри звуков в перекопанную даль.

То народный для народа
Пел, восторга не тая:
«Это русская природа,
Это Родина моя!»

И красивая дивчина головою в такт кивала,
И монтажник восхищался, мол, душа во мне горит.
И канатная дорога многострунно подпевала,
И поскрипывали краны, отчеканивая ритм.

И гудела твердь плотины,
Грозной силы не тая:
«Это русские картины,
Это Родина моя!»

* * *

Россия мчится, тройка-птица!
Из-под подков гремят грома.
А вскинешь невзначай ресницы —
Все та же глушь, все та ж тюрьма.
И те ж рабы, и те ж уроды
На тот же молятся мундир.
Жиреют те же патриоты —
То казнокрад, то дезертир.
И те ж доносчики и шпики,
В блевоте той же кабаки.
Лишь в тишине мычат владыки,
Как разъяренные быки.
О, сон дурной!
О, сон кровавый!
О, неразумная земля!
Но хоть над сыном новой славой
Светло пролейте, тополя.

Прощание с эпохой

Стареем мы — создатели империй,
Уходим мы — хранители империй,
Все наши битвы — старое кино.
Вокруг бушуют страсти иноверий —
За нами ж тени наших навечерий
Сливаются в кровавое пятно.

Шли корабли, наклонно филигранны,
И, прозревая острова и страны,
Христос летел перед крестами рей.
Шли по пустыням белые солдаты,
Шли по ущельям белые солдаты,
И по тайге шли белые солдаты
И убивали смуглых дикарей.

И строились железные дороги,
И строились казармы и чертоги,
Европа мир объяла, как паук.
Европа пахла порохом и властью
И утверждала с орудийной страстью
Тяжелый труд и мудрости наук.

И возникали новенькие страны,
Рождались президенты и тираны,
В народы превращались племена.
По всей планете — храмы и заводы,
По всей планете — купола и своды,
По всей планете — с белыми война.

Домой уходят танки и подлодки,
Простите, партизаны и молодки,
Что, может, здесь творилось сгоряча.
Летят года, империи сметая,
И вот моя — последняя, святая —
Коптит и догорает, как свеча.

Стареем мы — создатели империй,
Уходим мы — хранители империй,
Но верность нашей юности храним.
И, вслушиваясь в новые заботы,
Приветствуя пришествие свободы,
Мы плачем по империям своим.



НАСЛЕДИЕ

Павел ПОЛЯКОВ

Шёл девятьсот четырнадцатый...

Главы из романа «Смерть Тихого Дона»

Продолжение. Начало в № 3 за 2014 год

* * *

Вернулся с хутора отец, ездивший туда после извещения о смерти Аристарха. Привез от бабушки гостинцы, всё больше по гастрономической части, а внуку и две пары шерстяных чулок. Сама она их связала. И новенькие валенки, которые знакомый полстовал специально сваял, по мерке. Тонкие, легкие, но такие теплые, что в них при любом морозе можно целый день на Волге на коньках кататься. А коньки деревянные, самодельные, смастерил ему по дружбе баталер.

Рассказал отец, что всё по-старому на хуторе, только вот бабушка уж слишком убивается. В Разуваеве, в семье Гуровых, тоже молодого казака убили. Митрия, того, что в прошлом году у него на нашей мельнице чирики украли, так вот этого самого Митрия где-то под Карпатами пуля вражеская нашла. Там его и закопали. Командир полка письмо отцу написал, с этим письмом и пришла бабка его, Аксиной звать, к нашей бабушке, прочитать попросила. В семье у них грамоте не дюже того. Прочли они это письмо вместе, лампадку зажгли, вместе за покой души рабов Божиих, Аристарха и Митрия, помолились, посидели, помолчали, вот с тех пор и приходит по воскресеньям, чуть свет, бабка Аксины к нашей бабушке, запрягает тогда Матвей Карего, и едут они в Ольховку к обедне, а возвращаются вместе, и лишь к вечеру уходит Аксины в Разуваев. И от этого вроде легче нашей бабушке стало.

А Маруська вовсе гладкая стала, тетя Вера на ней ездит, чтобы не застоялась. Буян так шерстью оброс, что и морду сразу не сыскать. Мельник Микита во всем бабушке подмога. А тетка Агнюша говорила, что на весну трех австрийцев пленных брать придется, а то полная неуправка в хозяйстве получается. Да и нам об этом же подумать надо, человек пяток пленных взять, а то ни посеять, ни скосить некому, рабочий народ весь, как есть, на войну ушел.

Из разуваевских еще один убит. Помните того казачка на проводах, что один, как есть, с конем к Правлению шел, Песковатсков Михаил. Так того в первый же день убило. Пуля попала прямо в лоб. И не копнулся, бедняга.

Филиппа Ситкина, свиней резака и фельдшера, того осколком гранаты скобленило, два месяца в лазарете пролежал и теперь домой на отдых пришел. Герой героем, собирается опять на фронт, теперь, говорит, я стрелкам энтим должен должок мой с антиресом вярнуть. Как тольки в полк приду, враз в разведческую команду пойду, я им покажу, как в донских казаков гранатами шибать!

На хуторе все ждут, когда мы на лето приедем. Тетка наша, Мина Егоровна, будто дуб крепкий, стоит. И она с бабушкой в церковь ездит. Как увидит ее тарантас на Ольховском шляху, так и она со своего хутора выезжает на паре рыжих, тех, что дядя Андрей в прошлом году на ярмарке купил. И прямо в нашу православную церковь, несмотря что сама лютеранка. Ставит и она свечки и поминания подает: страх неумный в ней за двух других сыновей сидит. Писали они оба, что надеются после Пасхи на побывку прийти. А дядя Андрей, тот вообще почти не говорит, одно знает, что ни день, выходит с гусем своим на шук. Целыми днями дома его нет, а как вернулся, так нет во всем свете человека, который бы так ласков к жене своей был, как он. Все малейшие желания ее выполняет, в глаза ей заглядывает. Только постарел здорово, сгорбился и согнулся. И пьют они с Минушкой водку вечерами по-старому, под соленый арбуз. Кобели ихние живы еще, только так потолстели, что глядеть на них противно. А гусь, тот подбиваться стал, ходить ему тяжело, летать разучился, в сугробах вязнет, вытаскивать его надо, на льду

ШЁЛ ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ...

скользит и падает, а начнет Андрей его выручать, ругается, норовит клювом долбануть.

У тетки Веры всё будто в порядке, только смеяться разучилась. Что ни день, в Ольховку на почту на Маруське скачет. Дождь, ветер, снег, мороз — ничто ее не держит. А как получит от Воли своего письмо, так по родне — читать вместе. Она к нам на Пасху приедет, немного развлечься.

А ты, Семен, говоришь, что Савелий Степанович завтра нагрянет? Дело хорошее, пропустим по единой и к второй присмотримся, а?

* * *

Годами, весной и летом ловил баталер доски, брёвна, жерди, обаполки, целые деревья, всё, что река ни несла, и в половодье, и так, после сильных дождей или бурь, и насобирал столько добра, что хватило ему добрую хату поставить, печь в ней смазал из кирпичей, подобранных на пристани, дворик огородил, окна, двери приладил, занавески повесил, стол сделал хороший, крепкий, не качается, лавки струганные по стенкам прибил, кровать в углу поставил, сам и русскую печь сложил — хочешь флотский борщ в ней вари, хочешь — пироги пеки. Насобирал угля на пристани, того, что с баржей в город возят, теряют, всякого запаса на зиму сделал. И мяско у него есть, и рыбка, и бутылочка в заветном уголку бессменную вахту несет. В переднем углу висит у него икона Николая-Угодника — по морскому делу этот Угодник тоже неплохо понимал, его уважать можно. Генералиссимуса Суворова портрет на стенке и Медный всадник — Петро Великий, русского флота первый строитель.

Гостю радовался матрос искренне и, получив подарки — колбасу и вареники, очень растерялся:

— Скажи ты мне заради Бога, как всё это ты мне понимать прикажешь? Вот скобленили папашу твоего, нашего усмирителя, по коленке, инвалида из него сделали. И должен он всех нас смертельной ненавистью ненавидеть. Так или нет? А он, глядь, всегда норовит мне уважение сделать. А я — враг ваш с пятого года. Что это — задняя мысль какая или хорошими вас людьми почитать я должен? Или казачий это ваш обычай — лежачего не бьют? Вон из наших, из русаков, на что все в моих понятиях, а никто ко мне, наши — как жестянки: блуп-блуп — ко дну шли? Эх, будь тогда моя сила, я бы этого царя нашего вместе с его министрами и адмиралами на первой же рее повесил. И вот сейчас прислушиваюсь, приглядываюсь ко всем и одного не понимаю: а где же их, настоящих людей-то, брать? А? Где? Рази есть такая идея, изм такой особый, самоновейший, наисоциалистический, чтобы можно было прохвостов и дураков от порядочных людей отсеивать? Вон и Анания энтот с жинкой своей Сафирой, ведь тоже верующий был, к апостолам-то он по вере своей пошел, а все-таки затаил пятак какой-то, запрятал. А что апостолы за штуку с ним удрали, да за тот пятак, за грош ломаный, на тот свет его отправили. Это почему, не ради ли полной послушности, а не ради, по-нонешнему, скажем, партийной дисциплины? И вот скажи ты мне, новые апостолы наши, не зачнут и они тоже так же на тот свет отправлять таких малых, как Анания? Видал ты студента энтото: пока мы говорили, он, должно быть, два пирога хлеба да фунта два колбасы умял. И кто нам гарантирует, что таких, на чужой счет нажирающихся, в новом мире социалистическом ну никак-никак не будет? Вон — посылали цари на смерть, а наши-то, террористы, из тех, что о рае на земле проповеди нам говорят, кого они только не били: царя одного ухлопали, одного великого князя, министров, губернаторов без числа побили. Что же это, по Библии, што ли: зуб за зуб! Сколько же этих зубов нам дергать придется, чтобы остатками, как вон хохлы говорят: «Цэ дило трэба

разжуваты», да чтобы разжевали мы окончательно, в чем же секрет-то кроется? И еще ты мне скажи, ежели из царей, ученых, попов, министров, генералов, адмиралов нет ни одного у нас в России с головой, почему тогда я, простой матрос, баталер, поверить должен, что вот эти голоштанники и рвань базарная, все — как есть, ума палата и ангелы небесные? И еще скажи ты мне: из кого вышел наш Гришка Распутин? Что он — генеральский сын, а? Министер был? Да нет! Мужик сиволапый, прохвост, подлец из тех, што в старой Руси голю кабацкой звали. Так или нет? Вот те и народа крестьянского представитель, а!

Матрос почти отпрыгивает в сторону, быстро дрожащей рукой наливает еще одну рюмку водки, плещет всюду по столу и снова пьет ее одним духом. Хлопнув рюмкой об стол так, что откалывается ножка и летит на пол, не поёт, а кричит:

Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами...

Дверь тихо открывается, и, напустив в хату облако пара, входит какая-то бабья фигура, вся закутанная в платки и шали. Баталер удивленно поднимает голову, и по мере того как та фигура раскутывается, веселеет он, радостная улыбка озаряет его лицо и вскакивает он так, как когда-то на корабле по команде свистать всех наверх.

— Х-хо-о! Анне Матвеевне наше нижайшее. Мы вот тут с господином реалистом песенки поем. Скидайтя одежду, кладитя на сундучок, подходитя поближе, у нас и закуски, и водки полный камбуз припасен.

Смотрит Семен на гостью, и нравится она ему очень: этакая круглая, румяная, глаза карие, брови, как два крылышка, волосы темные, в пробор зачесаны, косы на спину закинута, статная, красивая баба... гм... а не лучше ли уйти?

Баталер сразу же согласен, что уже поздно, что одному ему ночью по берегу никак ходить не способно, того и гляди, на пьяного, а то чего хуже — на надзирателя нарвешься. И поэтому гостя своего не задерживает.

* * *

В сотый раз оглядела мама накрытый стол, справилась, не подгорели ли утки, а вот он и — Савелий Степанович!

Сразу же, за первой рюмкой, вспоминают воина Аристарха, пьют в его память, и, придя в себя от вечного смущения, единственное, что еще сохранилось от прежнего учителя, начинает он рассказывать о войне, но не то, что в газетах пишут, а то, что делают там казаки, пригнанные на страшную работу, на которой зевать никак не положено, а лишь одно помнить: не убьешь ты человека, так он тебя с коня ссадит.

— Вот это — убивать людей, понимаете, людей убивать, так, как дома мы кур и поросят резали, должны мы теперь постоянно, зная, что и для неприятеля такая же мы цель, как и он для нас... один раз, вырвавшись после атаки из этого ада, услышав отбой, слез я с коня и, ведя его в поводу, завернул за угол стодолы и наткнулся на двух казаков, сопровождавших трех военнопленных. В грязном, изорванном обмундировании, два из них с окровавленными лицами, шли пленные, растерянно оглядываясь на своих конвойных, все три без фуражек, не зная, куда им девать руки, то и дело спотыкаясь и скользя по мокрому снегу. Остановил я их и спросил, какой они части. Сразу ж они ответили, а передний улыбнулся совсем по-детски и стал, путаясь, объяснять, что вовсе они не виноваты: да будь с ними весь полк, никогда бы такого

конфуза не получилось. Один из конвойных закинул винтовку за спину и полез в карман за кисетом.

— Чавой-то он гуторить?

Перевел я, оба казака улыбнулись:

— Во-во! Сроду оно так! И у нас одного разу случилось, намяли нам немцы холку, а мы одно: «Эх, кабы весь полк, тогда бы мы им шшатинку вкрутили во как!»

Засмеялись казаки, видя что враги их веселы, немного отошли и пленные. Вынул я портсигар, протянул его австрийцам, недоверчиво взяли, оглядываясь на конвоиров, смущенно крутили в руках, не смея закурить.

— Данке шен, их бин зо фрай... Ох, филен, филен данк...

Глянул я снова на австрийцев, на казаков, и в первый раз показалось мне всё таким идиотски диким, преступным наваждением. Вот стоят они — люди эти, смотрят растерянно и неуверенно, благодарят за папиросы и огонек, кланяясь уж слишком низко, курят жадно, улыбаются робко и жалко, а все мы — христиане, люди думающие, хомо сапинс, чёрт его побери. И вот я, такой человек, думающий, размышляющий, против воли моей должен учиться делу организованного убийства. И постигаю дело это всё лучше и лучше, стал несколько не хуже моих казаков и в бою, и в разведке, и психика моя настроилась теперь так, что одного сам бояться стал: как бы посеред Камышина, на улице, не выхватить мне шашку и не рубить направо и налево...

Большими, ставшими от страха темными, глазами смотрит мама на своего гостя.

— Бог с вами, да разве же это выход?

Катая хлебный шарик, отвечает он не сразу, глядя на нее в упор немигающим взглядом:

— Иногда хочется всё сломать, всё уничтожить, чтобы преступной бойне этой конец положить. То мы за Марну сотни тысяч голов кладем, то за Верден, то у итальянцев дела кривоносые, гоним на проволоку тысячи пахарей наших, и гибнут они там, как куропатки, в снегу. И отдуваются гаврилычи наши, никогда в жизни про Марну эту и не слыжавшие. А что верхи наши делают? О Распутине, наверно, вы достаточно слышаны. Что это, бабий сумасшедший мистицизм, идиотство муженька, сидящего под пантофелем, что это такое? А ведь Гришка до того дошел, что теперь министров сменяет. И весь Петербург полон самых грязных слухов. И доходят они к нам на фронт. И как вы думаете, чем все это кончится? Ведь так, если мы еще без патронов и снарядов выдержим, Гришка у нас в министры попадет.

Отец смотрит в одну точку на скатерти.

— А что же мы, малые, делать можем?

— Вы, малые, ничего, а мы — кое-что делаем.

— Много?

— Откровенно говоря — не особенно. Казачишки — народец упорный. Воевать, так воевать. Ничем ты его не проймешь. В толки, слухи и разговорчики не верят. Ну да придет время, зальют им сала за шкуру побольше, вот тогда...

— И что тогда?

— Са ира!

— Ох, опять пятый год!

— Ну, теперь похлеще получится...

Перед уходом приносит Савелий Степанович из коридора что-то завернутое в бумагу и передает Семену, снова заикаясь:

— Это вам п-подарок с ф-фронта...

Быстро развернув, видит он совершенно новую, блестящую, с красивым эфесом, австрийскую пашку. Вот роскошь-то! Какой все-таки он, Савелий Степанович, хороший!

Войдя в свою комнату, смотрит на ковер на стене, примериваясь, куда бы повесить подарок. Сквозь щель приоткрытой двери заглядывает Мотья:

— А вы, панночку, забэрить ии на хутир. Будэтэ там з нэю цыплят ризаты! И исчезает, чертовка.

* * *

Подошел и Великий пост. На столе только рыбные блюда, даже кислого молока нельзя есть, грех. Бублики можно, чай с вареньем, постную фасоль, взвар можно, рыбу, на постном масле жаренную. Церковные службы стали длиннее, вся их семья ходит говеть в училищную церковь.

На Великий четверг удается ему донести свечу до дома горящей и сделать ею крест на притолке. Подходит время к исповеди. Отец Николай сразу же накрыл голову его епитрахилью, наклонился к нему низко и тихо сказал:

— Поди, раздумывал ты над тем, что слышал в церкви, что говорилось, читалось и пелось. Должен ты и сам хорошо знать цель поста и значение исповеди. Ни о чем допрашивать тебя я не буду. Стоишь ты теперь перед Создателем твоим с сердцем отверстым, и видит Он тебя всего, со всеми делами твоими и помышлениями. Вот и скажи ты Ему всё о себе сам, нелицемерно. А аз, недостойный иерей, властью, мне данной, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих.

Отходя от священника, чувствуя в душе приближение глубокой, великой, радостной тайны, мысленно, про себя, читает он слова молитвы: «Днесь, Сыне Божий, причастника, мя, приими, да не врагам Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда...»

И чувствует непонятную, теплую, светлую, всю душу пронизывающую радость...

* * *

По глубокому снегу пришел он сегодня в церковь. Дела много — нужно всё приготовить к заутрене. Раздуть угли для кадила, помочь отцу Николаю при облачении, привести в порядок всё, что ему для службы нужно. Отец дьякон, молодой, здоровый, краснолицый, с таким басом, что звенят окна церкви, когда взревет он многолетие директору, уже давно на месте. Не любит его Семен за легкий, животный его хохоток, когда он, отойдя после причастия в уголок алтаря, подмигнув одним глазом обоим прислужникам, крутнув в правой руке дароносицей с оставшимся в ней вином, выпивает всё из нее одним духом, глядя при этом себя по животу и урча: «Ох-хо-ххо! Во здравие и спасение!». Но проделывает это всегда с оглядкой: «Не дай Бог, увидит отец Николай». Тогда не поздоровилось бы ему. И поэтому сторонится его Семен.

Церковь наполняется медленно, нелегко это — идти зимой за город по сугробам темной ночью, в холод и ветер, держа путь меж далеко друг от друга стоящими, едва мерцающими фонарями. Сегодня улегся ветер к полуночи, выпали звезды и будто даже потеплело. Службу, как всегда, начал батюшка минута в минуту. Для крестного хода открыли и боковые двери. Входят в алтарь все те, кто понесет иконы, хоругви и кресты. Выстраиваются в строго заведенном порядке.

Быстро пройдя из алтаря в коридор за углями для кадила, путаясь в длинном стихаре, увидел Семен, что вся семья Мюллеров, протестантов, тоже пришла в их церковь. Удивился он этому, смутился и несказанно обрадовался. Но поклонился с полным достоинством, как это служителю церкви и

полагается. Тысячами огоньков ответили ему глаза Уши. Ох, и хороша же она сегодня!

Едва успел он вернуться, как открыл двери отец Николай, и дьякон, второй реалист-прислужник, за ними все несущие церковные регалии, хором молящиеся, двинулись к выходу.

Погода улучшилась, небо глубокое, синее до черноты, звезды горят и моргают, и переливаются, ну совсем так, как тогда, когда мчались они на тройке через Волгу. Ох, Господи, а не грех это сейчас такое вспоминать? Христос-то еще в гробу лежит. А где она? На повороте, когда крестный ход огибает здание церкви, оглядывается он украдкой и видит ее, такую серьезную, такую румяную, красивую, как ангел.

Перед закрытыми дверями церкви крестный ход останавливается. Но распахнулись двери храма, и радостное, торжествующее, бьющее восторгом от счастливой вести, что воскрес Христос из мертвых, несется пение к небу и хвалит Господа и Создателя, исполнившего надежды наши, давшего нам по нашей вере.

А в коридоре реального училища уже стоят рядами завернутые в белые салфетки куличи и пасхи. Скоро пойдут они их святить, и, может статься, увидит он снова Уши.

Кончилось, наконец, и освящение пасх. Быстро переодевшись, вылетает он в коридор и видит своих родителей вместе с Мюллерами, ожидающих его у выхода. Первыми христосуются с ним мама и отец, а за ними и все остальные. Когда же подошла Уши, Семен теряется, скользит и целует не в щеки, как это полагается, а три раза прямо в губы. Нисколько не смутившись, будто это так и у них, у лютеран, полагается, отходит Уши в сторону. Лишь теперь узнаёт он, что Мюллеры идут к ним на разговенье.

Уши сидит за столом рядом с ним. Обязанность его утешать ее, ухаживать за ней, занимать ее, как даму. И всё он забывает, ничего вокруг себя и никого не видит, ничьих взглядов и улыбок на свой счет не замечает, и счастлив он снова, счастлив бесконечно. Уже совсем рассвело, когда, проводив гостей, остался он стоять у подъезда, глядя вслед Мюллерам.

* * *

И снова ехали от Камышина до хутора целый день. Устав с дороги, засидевшись за ужином, уснул Семен так крепко, что совсем поздно проснулся. Вставать надо, а то и царствие небесное проспять можно. Быстро схватившись, бежит в ванную, оттуда еще в столовую и останавливается, как соляной столб: за круглым столом сидит дядя Воля. В легкой чесучовой рубаше с косым воротом, веселый и краснощекий, ставший еще крупнее и солиднее, чем раньше, с знаменитым своим чубом, как у какого-то лихого урядника. Широкоплечий, дышащий здоровьем и силой, сидит он рядом с тетей Верой, от счастья очень похорошевшей.

И у них есть для племянника подарки. Во-первых, совершенно новое венгерское седло, во-вторых, венгерский же кивер, в-третьих, доломан, потом — патронташ, тускло поблескивающая сабля и, наконец, чистенький, новенький австрийский кавалерийский карабин.

А дядя становится вдруг совсем серьезным:

— Вот, племян, видишь, как всё в мире этом по-дурному идет? Шел он на войну, лейтенант венгерский, красовался на улицах Будапешта в полной своей форме вот на этом самом седельце, с этой вот шашечкой, кричал ему народ ура и махала Илонка белым своим платочком, слезами смоченным, и плясал под ним лихой его коник, и ни он сам, ни конь ничего плохого не предчувствовали, когда выгрузились они из вагонов, и тут же, сразу, должны

были от казаков отбиваться. И скобленул его дончихой какой-то чубатый казакишка, да счастье его было, что коня его в этот момент убило, и полетел он на землю, падающему коню под ноги. Поэтому и промазал тот казакишка, удар пришелся лишь по киверу, наискосок, только ошеломил, а не срубил. Здорово, видно, Илонка та за своего лейтенанта молилась. И упал лейтенант на сыру землю и сознание потерял. А тут и насело на того чубатого казакишку двое — один улан, солдат, а другой офицер уланский. Улан всё пикой казакишку ковырнуть хотел, а офицер шашкой срубить норовил. Улан парень был здоровенный, конь под ним крепкий, выются они с офицером вокруг того казакишки, жизни ему от них никакой нету. Порвал тот солдат пикой своей тому казакишке шинель пониже левого плеча, под мышкой, а офицер под правый погон шашкой попал и рвет его прямо-таки дуром, того и гляди оторвет. А получил тот казакишка чин есаульский два дня тому назад и пришел ему вестовой новые погоны по-хозяйски, суровыми нитками, и никак тот новоиспеченный есаул вестовому своему на глаза явиться не может, ежели ему враги и супостаты погон попортят. Разве же это порядок? Ох и озлился же тот новоиспеченный есаул. Да что же вы, чёртовы венгерцы, не понимаете, что ли, что собственное казачье обмундирование никак рвать нельзя! Разве же вам не ясно, что империя Российская не имеет достаточно денег, чтобы казаков своих обусть-одеть могла? Рази же вы не знаете, что всё казачье шильце-мыльце в копеечку нам стало? Разве же вам не жалко бедных казакишек раздевать-разувать? И эх, так тогда не серчайте же, коли что вам не по нраву придется. Кинул тот казакишка шашку в левую руку, хватил наган из кобуры да тому солдату с пикой промеж бровей пулю — н-на! Носи на здоровье! Так тот с коня своего и жмякнулся. А офицер никак не отстает. Ах, думает тот казакишка, бросим мы шутки шутить. Да как кинул он шашку свою обратно в руку правую, да, привстав на стременах, саданул того толстого по правому плечу, да так и развернул его, как свиную тушу, на две части. Ух и повеселела же после того его шашечка. А тот молодой лейтенант, слава Богу, большой беды с ним не случилось, очнулся, сидит на земле, глядит вокруг себя и головой кружит, видно, зашиб его казакишка тот здорово. Подобрали его санитары, и пошел он в плен пешака, а всё снаряжение казакишке тому досталось. И решил он: повезу-ка я всё это на тихий Дон-батюшку да отдам племяннику своему, нехай он вражеское оружие оглядит и обнюхает, нехай поймет и войну, и жизнь человеческую...

А бабушка — ничего она толком не слышит из того, что самый младший сын ее рассказывает. Привыкла она к этим рассказам, пускает их мимо ушей, а лишь смотрит, не отрываясь от милого лица, слышит лишь музыку голоса да вспоминает тот день, когда голос этот в первый раз она из колыски услышала. И алмазами горят сияющие радостью и счастьем, полные слёз старые глаза ее.

— Волюшка, Воля, да ты, может быть, курятинки жареной? А? Тебе чайку али кофею налить, что боле в охотку? Да што ты, Сергей, нюни распустил, может быть, служивый наш чего другого выпить хочет. Не грех это для радости свидания.

И следит довольным взором за тем, как, съев три яйца всмятку, тянется дядя Воля к четвертому. Ну, слава Богу, значит, в добром он здоровье.

* * *

Скинув ботинки, засучив штаны, свистнув Жако, ежась от непривычки бегать босиком, вместе с неразлучным фокстерьером несется Семен в Разуваев...

Первым в Разуваеве повстречался Саша, внук дедушкиного друга Гаврил Софроныча. Вдвоем они быстро отыскивали Мишатку, Пашу, Митьку и Петь-

ку. Теперь можно отправиться на излюбленное место, там, в конце хутора, под вербами. Опустив ноги в канаву, рассаживаются все друг возле дружки, и первым начинает Митька:

— Ты, Семен, не серчай, я долго оставаться не могу, видал ты: ось я в траву кинул, мне ее деду Явланпию отнести надо. Им завтрава в луга ехать.

— А ты что, за коваля, что ли?

— Да сколько от отца научилси — делаю. Ну не всё!

Петька смотрит на дружка своего с гордостью и прибавляет:

— Не всё, а пошти што. Гярой он у нас! Кабы не он — пропал бы хутор без коваля. Есть тут два-три старика, которые вроде чавайсь-то смыслять, да поки они раз повернутся, а Минька уж готовый. Здорово он насобачилси. Отец яму с фронту писал, што гостинцев за это привезеть, когда на побывку приедить. Только вот вопрос — когда?

Соглашается и Саша:

— И ишо какой вопрос! На фронте, там не балуются. Бьют наших немцы с артиллерии, аж земля гудеть.

— А наши?

— А наши только по одному снаряду в день пушшают, говорясь, што все, как есть, снаряды царица с Распутиным в кабаке пропила.

Семен злится:

— Ну что ты за ерунду говоришь, какие глупости...

Казачата набрасываются на него всей компанией.

— А ты зря не заступайси. Нам наши всё, как есть, с фронту пишут.

— Ты думаешь, дурные мы, ничаво не знаем?

— И ишо как попропивала! Вон винтовок, и тех не хватаить. Пяхота наша с палками в атаку ходить.

— И побили их, пяхотних, видимо-невидимо. Немец, энтот всё гранатами норовить. Вон папаня мой отписывал, што немецкая интиллерия по нашим одиночкам гранаты и шрапнели пушшаить. А наши, когда пяхота на ура подымайтся, пальнуть раз-два и закусывать садятся, всё одно — стрелять нечем.

— А почему же это так?

— А што ж ня знаишь ты, што ля, што все, как есть, министры наши немецкие шпиены? Вон полковника Мясоедина возьми, так энтот все, как есть, планты наши военные немцу за деньги продал. Пымали яво в кабаке как раз в тот момент, как он от немецких гиняралов золотые получал. И тут же яво на перьвой осине повесили. Только поздно было: немцы, как только те наши планты поглядели, враз сто тыщ наших побили.

— Ну это уж слишком!

— Вот те и слишком! Кто только с фронту не пишишь, все в один голос: патронов, и тех нету. Военный министр Сухомлин сам ночью ходить, станки по заводам портить, энти, што патроны льют. Вот наши казаки и думают: загонять передпоследний патрон в ствол, ай лучше спробовать того немца шашкой достать? А как ты яво достанешь, когда он за проволокой сидит, а проволока энта в семь разов толще нашей.

— А вон дядя мой вчера с фронту пришел, иначе он рассказывает.

Захлебываясь и торопясь, передает Семен всё, что слышал утром от дяди Воли.

Глаза казачат разгораются.

— Тю, да ты не бряши!

— И всправди? Айда, рябяты, трахвеи глядеть!

Дядя Воля, соснувший после обеда на полсти под вишней, вдруг окружен гурьбой казачат. Первым осмеливается Мишатка:

— А правда ето, што вы трех австрияков зарубали?

Дядя трет глаза, просит принести ему кваску и смеется:

— Ежели правду говорить, то вовсе не трех, а с начала войны шестерых я зарубил. Скольких пулей ссадил, не знаю, думаю, что побольше будет. А что?

— Расскажитя нам всё, как есть, только чур — без бряхни!

Усевшись поудобнее на полсти и охватив руками колени, стесненный прилипшими к нему казачатами, не спускающими с него горящих от нетерпения глаз и слушающих его затаив дыхание, рассказывает дядя о том, как надо рубить баклановским ударом, с потягом, обещает прийти в Разуваев, там, в Правлении, есть штук пяток старых пик, покажет он им все приемы. Объясняет им, как это могло случиться, что казак Крючков один шестнадцать немецких улан поколол, перерубил и переранил, несмотря на то, что сам весь, как есть, исколот был, а и конь его двенадцать ран получил. Долго бы дядя Воля рассказывал, да испортила всё тетя Вера — молча увела в дом. Мишатка нахмурился и коротко резюмировал:

— А хто с бабами свяжется, плохой с того казак будить!

Размявшись от долгого сидения, отправляются все снова в Разуваев, и решает Семен зайти к тетке Анне Петровне, надо же ему ей показаться. Калитка широко открыта, собак тетка не держит, войти лучше всего через то самое крыльцо, через которое сбежал он когда-то, а сейчас, прокравшись в бывшую его комнату, испугать тетку внезапным появлением. Вот смеху-то будет!

Пробравшись в комнату, видит он сквозь неплотно прикрытую дверь слабый свет керосиновой лампы и слышит теткин голос:

— Говорю табе, и трех дней не пройдет, как заявится этот трефовый король к тебе в курень. А до этого получишь ты письмо из казенного дома, а в нем — денежный антирес. А перед трефовым королем твоим дальняя дорога ляжить и радость яму большая стоять. Вот, хучь сама в карты глянь.

Всё услышанное донельзя озадачивает Семена, да с каких же это пор тетка его бабкой-ворожкой стала?

Встает теткина собеседница, что-то они обе негромко говорят, видно, прощаются, тетка за что-то благодарит, дверь хлопает, но немного спустя снова скрипит, и какой-то мужчина, судя по голосу, совсем в летах, входит, здоровается и садится.

И снова слышен голос тетки:

— Вот табе, гляди: завтра же, на заре, ланпадку зажги, перед ней «Отчу» сзаду наперед три раза прочти и посла того, тоже задом наперед, из куреня твою выйди. Иди на баз и там стакан вот этого настою, на восток обернувшись, натошшак выпей. А как выпьешь яво, три раза на левую сторону плюнь, да никак при том круг себе не оглядывайся, а то никакого действия настоей тот не поимеет. Да гляди — на водке он, крепкий, ну да ты-то привышний...

«Ну и тетка, не только ворожея, а и бабкой-шептухой стала. Ох, Бог с ней, пойду-ка я лучше, от греха, тоже задом наперед из куреня, а то и мне она какого-нибудь зелья даст или письмо из казенного дома...»

* * *

Кухарка протащила беснующийся самовар, Мотька носилась, заставляя стол чайной посудой, банками, блюдами и блюдцами, тарелками и тарелочками, стаканами и рюмками. Пришла и бабушка. Мама села разливать чай и споласкивать чашки и стаканы, а отцу и гостям сразу же дали по полотенцу, время-то летнее, тепло, чай горячий, распаривает, солнце печет, без полотенца тут никак не обойтись.

Мельница шумит тихо, миллионы брызг, летящих из желобов и колес, приятно холодят. Какие-то насекомые непрерывно проносятся под самыми носами, пытаются засесть в блюдца с вареньем, улетают недовольные или кончают веселым самоубийством, жмякнувшись в банку с медом. Живность во дворе не кудахтает, не кукарекает, не гомонит, а либо лежит в песке и пыли, либо плавает в канаве, либо роется молча в навозе.

Мир на хуторе. Тепло, хорошо. Солнце под вишней не так одолевает, да и заходит оно уже за крышу дома, вот тогда и вовсе приятно станет.

Старший Задокин просит дать ему нюхнуть из чайника, приподнимает на мгновение крышку и от удовольствия закрывает глаза.

— А вы, Сергей Алексеевич, по старой привычке, китайским балуетесь?

— Да, цейлонский не очень я люблю. Китайский, как сами вы знаете, по сей день караванами к нам идет. Дух у него совсем иной, сами чувствуете.

— Что и говорить, такой чай за семь верст слышать.

Чайник и чашки фарфоровые, других знатокам чаепития и подавать нельзя. Внутри они белые должны быть, чтобы не только чая вкус чувствовать, но и цвету его радоваться. Лишь по ободку таких чашек допускается тонкая золотая кромка. Отец пьет из стакана с подстаканником, модно это стало, тяжелый он, серебряный, обжигает здорово. Но и это — на любителя. Братья Задоктины наливают чай из чашек в блюдца и тянут его истово, с понятием. Сахар колотый, от верхушки сахарной головы, откусишь от него кусочек, чайку потянешь, Господи, благодать-то какая! Тут если уж о чем и побеседовать, то только разве об архиереях или удивительных изобретениях, чтобы пустым разглагольствованием душевного равновесия не нарушить. Лимон — не уважают. Кислоту, верно, это дает он, но цвет чая во-зят портит. Разве же такое может человек понимающий допустить? Вот вареньица взять, это можно. Наталья Ивановна — сроду она мастерица, об ее вареньях вся губерния хорошо наслышана.

После трех самоваров и шести смененных полотенец, когда со стола давно все убрано было, а солнце уже вовсе низко к горизонту спустилось, долго еще сидели гости молча, слушали шум мельницы, замирающее чириканье воробьев и прочей летающей твари Божией. Господь-то жизнь эту на радость нам устроил или нет? Ну, то-то!

О мирских делах разговор заводится лишь после ужина, в гостиной, под лампой с зеленым абажуром, с открытыми настежь окнами с вставленными в них сетками от настырной мошкары.

— И вот, Сергей Алексеевич, приехали мы к вам по тому же самому дельцу, по которому в прошлом году заявлялись. А ты, браток, вынь-кас портфель да на стол положи, зараз мы с господином есаулом полный расчет произведем.

Старший Задокин лезет глубоко в карман, вынимает маленький ключик на цепочке, тянет к себе запертый круглым навесным замком портфель, отпирает его, почему-то дует в ключик, кладет его снова в карман и начинает вынимать из портфеля толстые пачки кредитных билетов, крепко перевязанные шпагатом. Загрузив весь стол деньгами, старший Задокин обращается к отцу:

— Дали вы нам в прошлом годе двадцать тыщ рублей, вот они, перечтите.

Быстро отсчитав двадцать пачек, придвигает их Задокин к отцу. Отец тоже считает все пачки, берет наугад одну из середины и пересчитывает сотенные билеты. Правильно, десять штук. Оба брата внимательно следят за его действиями и, когда отец складывает все пачки в кучу, наклоняются, как по команде:

— А мы вас дюже просим, ежели не все, то хучь ишо разок какую пачечку проверить. Денежки счет любят.

— А скажите вы мне, — отец говорит совершенно серьезно, — много на вас весу прибавится, ежели вы меня обсчитаете?

И так же серьезно отвечают братья Задокины:

— Премного вас за доверие благодарим, ну не того мы сорту люди, штоб жиру набирать, а совесть терять. А теперь-ка, был у нас уговор, обещались мы заработок наш наравне с вами, по совести, считать, он у нас не полтину на рупь, а рупь на рупь вышел. Вот, тетрадка у нас, возьмите, гляньтя, в ней всё, как есть, позаписано: и сколько голов скота куплено, и почем, и сколько довели и сдали, и сколько подошло, и почем мы живой вес продавали, и кому и каких барашков в бумажке давать приходилось, всё, как есть, там позаписано.

Отец взглядывает сначала на тетрадку, потом на обоих братьев поочередно и так же серьезно спрашивает:

— А был у нас такой уговор, что должен я все ваши счета проверять?

— Не было такого уговору.

— Так о чем же разговор?

Младший Задокин прячет тетрадку в портфель, а старший придвигает деньги отцу.

— Вот они, Сергей Алексеевич, десять тысяч сорок шесть рублѐв тридцать копеек, ваша часть. Заработки, как сами видите, дуром нам в карманы лезли. Время военное, наш товар люди с руками отрывают. А особенно ежели человек с интендантством в согласии хорошем. Золотое дно... только вот в народе, ох, беда...

— Что, недовольны?

Братья переглядываются, старший аккуратно приглаживает усы специальной щеточкой, прячет ее в боковой карман, вскидывает глаза на отца:

— Всё, как есть, как на духу, рассказать?

— Конечно же!

— Так вот слушайте, как дела идут: перьвое, и самое главное — пошел наш народ на войну не потому, что ему сербов тех дюже жалко было, а в привычке у него исполнять всё то, што начальство ему велит. Да, признаться, и поверили мы во всё, что нам толковали. Зайдут сперьва наши в Берлин, потом рукой там до Вены подать — и ее заберут. А как Вена сдастся, так и замирение выйдет. И сроку тому от силы шесть месяцев. Ан, когда на поверку дело: совсем всё по-иному повернулось. Куда наши ни кинутся — скрозь им морду бьют. В кровь. А ежели где и подфартит, погонят наши немца, ан опять назад уходить надо, держать нечем, оружия нет. Вот и переводят на фронте народ наш дуром. А тут еще, хошь не хошь, всех кормить надо. Вот и требуется нашему интендантству в год примером пять миллионов голов скота. А и остальное население тоже веселей мяско жрать зачало: несмотря што солдаты на войну ушли, требуется для тылу девять миллионов голов. А прирост скотиний никак у нас не увеличивается, и, выходит, как ни прикидывай, недостача у нас в скоте не меньше восьми миллионов голов в год. А што со скотинкой этой при транспорте творится, страсть и рассказывать. И куда ни сунься, все какие-то растерянные, безголовые, ни тебе организации, ни порядка. Скот в вагонах с голоду дохнет, мороженое мясо только зимой везти можем, а как потеплело, так и зарывают его в землю — попортилось. И учета всему добру этому никакого нет, и каждый на собственный страх и риск действует. И с консервными фабриками у нас беда. Решили было солониной заняться, да грузят ее в вагоны в бочках рядами, одна на одну, как этажи, складывают. А бочки, те течь дают, и пропала тогда солонина либо во-взят, либо на три четверти. А с консервами оттого ничего не вышло, что по всей России-матушке нигде жести для консервных банок нету. Вот, как сами

понимаете, и полезли цены на скотину в гору, да так, што то, што вчера рупь стоило, ноне и за трешницу не возьмешь. А дороги железные до того забиты, што лекше на трамвайный билет миллион выиграть, чем состав под груз получить. А добра у нас в Сибири сколько хотишь, да пойди, вывези его из-за Урала! Да ни в жисть! Сибирский великий путь с перевозками не справляется, и точка. И куда ни кинься, скрозь, как в сумасшедшем доме. Хозяина у нас нету. Глаза настоящего. Порядка нигде не жди. Вон и железа теперь нигде не взять, а мужику от этого — што хочь караул кричи. Ни тебе борон, ни тебе плугов, ни косилок, ни молотилок. Фабрики на войну работают, некогда им о крестьянской нужде думать. А ить надо бы было — так мы, мужики, думаем, коли уж воевать взялись, о всём наперед подумать. Как тот хороший хозяин перед севом задумывается, чего и сколько ему для дела его надо будет. Вот и подставляют теперь у нас один другому ножку, один у другого суму из рук рвёт. И уж теперича до того дошли, што посеву по России на двадцать процентов мене против прежняго, а у нас, у казаков, и вовсе, аж на половину упало. Бабы с мальчатами да старики остались, столетные старики и те понаучились теперь за быками вприпрыжку бегать! Признаться сказать, душа боле не лежит, руки опускаются, а всё боле оттого, его в народе, што ни день, то и разговору больше. А тут еще письма солдатские. Эх, зазря народ там наш гибнет. Поди и сами слышали, как у нас с вооружением дело проворонили? Срамота и говорить. А пойдешь где в городе на праздник в церкву, глянешь на начальство да на полицейских, стоять все, морды понаели, как деревянные истуканы, медалями поувешаны, будто и не касается их, што ихний же народ пропадает... Знаете вы, Сергей Алексеевич, што люди мы из простого звания, из крестьянства вышли, папаша наш в Липовке, почитай, последним мужичонкой был, ну, вырастил нас, взялись мы за дело дружно, работали не хуже казаков: казак на быка, а бык на казака, — и вышли в люди. Деньжата у нас теперь такие, што, почитай, любого помещика в уезде вместе с потрохами его купим, а вот как нагляделись всего, не лежит больше сердце наше ни к чему, и готово. Руки опускаются. И задаем мы себе вопросик: а што, да как не справится власть наша с немцем, што, ежели какая закавыка выйдет? Ить тогда не только вы — помещики-дворяне, а и мы пропадем. И нас с вами в землю затолокуть. А за что? Да за то, что те, кто у нас на верхах сидит, двум свиньям корму дать не умеют...

Да, а помните, мы, дураки, просили вас тогда золотцем нас не отягчать?

— Конечно, помню, сам всё государству отдал.

— То-то вот и оно! Теперь золотца того рад бы получить, да как раз по нас отрезало. Папаша наш, знаем мы, кубышку одну на гумне зарыл. Думает, мы не знаем... хитрый он у нас старик, далеко вперед глядит. Мы бы и вам советовали, на всякий пожарный случай, што-ништо закопать. А пришла нуждишка — ан вот оно, золотце, оно не протухнет, Сергей Алексеевич!

* * *

Послезавтра уезжает дядя опять на фронт. Никто его много не видал, всё он дома с тетей Верой отсиживался. Только раза два, захватив тетю Агнюшу с Мусей, Вaley и Шурой, все вместе заезжали за Семеном, седлал он Маруську и отправлялись они через Средний колок к дяде Андрею, потом к Петру, спускались речкой почти до Клиновки, перебрехали ее, выбивались на бугор, держали далеко выше Разуваева, делали привал в степи, под вечер сворачивали к тетке Anne, чай у нее пили, вот и всё. И сегодня — последний ужин вместе. Прошел он весело, будто никакого расставания и не предстоит, потому что мужчины объявили, что распущение нюней указом императора всероссийского строжайше запрещено. Ни вздохов, ни охов — ничего нико-

му не разрешается подобного. Сегодня и пить будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем. И кончено, баста! Хотя и цыганской это песни слова, да мудрость в них большая.

И спать расходились лишь после того, как кочета прокукарекали.

А после обеда собрались опять все в столовой, еще раз обо всем потолковать. Окна в доме широко раскрыты, видно приехавших на мельницу казачек, пшеницу молоть привезли, а вон и хохлячья подвода, тоже баба правит, а вчера из Клиновки один старый дед пшено привез, что хочь плачь с ним, хочь смейся, не только Миките пришлось самому мешки его таскать, а и того деда едва с подводы сняли. Свело ему ноги ревматизмом, выкрутило в разные стороны, едва его в помольную хату тот же Микита на руках принес. И на лавке сидеть приспособил. Стоял над ним, чесал затылок и дивовался:

— Скажи ж ты мини, возылся я з тобою з пивчаса, як я тэбэ з пидводы сывав. А як же ты на той виз твий зализ? Хиба ж тэбэ усэ сэло туды тягнуло, чи шо?

Мельница шумит спокойно, тихо плывут по небу совсем легкие облака, день безветренный, тепло. Кагакают гуси и утки, постоянно страшно чему-то удивляются и возмущаются индюки, беззаботно распевают несложные песенки свои копающиеся в навозе куры...

Долго молчавший дядя Воля взглядывает на отца:

— Видишь, Сережа, одно дело, когда идешь ты на рыбальство со всей, как есть, снастью в полном порядке, а вовсе другое, когда крючки твои из булавок, настоящей насадки нет, удилица поломаны, шнурки рвутся, штаны и сапоги драные. Вот так и на фронте у нас. Понимают всё казачишки мои, не малые детишки. Приеду я в сотню, приду в конюшни, поздороваюсь, скамандуют мне и ответят и лихо, и весело, а что они думают, как себя чувствуют, ни я их спросить не могу, ни они мне правдой не ответят. Давно уже приметил я, сдержанней они стали, вроде о всем передумали, и, к каким-то выводам прийдя, в себя замкнулись. Раньше, как только свободней немного, вот и идет кто-нибудь из сотни, то ему про кайзера расскажи, то присоветуй, продать ли ему телку, о которой жена ему пишет, то еще что-нибудь. Был я у них старший брат, в офицерских погонах лишь для того, чтобы знать, кто в бою командует и вообще в сотне за порядком следить. Вот и всё. А теперь — иначе пошло. Службу они и дальше без сучка-задоринки выполняют, что ни прикажу, всё отчетливо сделано, только какая-то невидимая стена меж нами выросла. Нет тех веселых шуточек, нет того и совместного пения, как раньше. Постепенно пропадает то, что нас от русской кавалерии отличало. Раньше были мы, офицер и рядовой казак, братья родные, офицер старший, а казак — младший. А у русских — начальство и нижний чин. Вот это теперь и у нас вырастает, не потому, что мы, офицеры, зазнались, нет, а потому, что все неудачи, все недостатки сверху идут. От тех, чьи мы, в глазах казаков, представители. И что бы ни случилось, всегда должны мы казакам пилюли золотить. Не робей, мол, погоди, вот подвезут, пришлют, выдадут, а ты одно знай — подставляй лоб свой и молчи. Вот и стали казаки наши тоже отмалчиваться, а боюсь я, что если заговорят они, вовсе всё по-новому будет. Началось всё, как сами знаете, неудачей нашей в Восточной Пруссии. Правда, выровняли мы всё немного, взяв Перемышль, а в нем сто тридцать пять тысяч пленных. И на Кавказе, у Сарыкамыша, здорово туркам наклали, вроде как компенсировали поражение Десятой армии во втором сражении в Мазурских болотах и окружение Двадцатого корпуса в Августовских лесах. А за это время израсходовали все запасы наши, и нечем стрелять нам стало. И знали это немцы прекрасно, как знали они и то, что никогда не кинутся союзнички наши спасать нас так, как мы их в четырнадцатом году выручали.

Вначале было восемьдесят процентов немецких сил боевых на Западе, а теперь сорок процентов их дивизий стоит против нас. Правда, выступила Италия, да на нее одной Австрии хватает. А как у нас дело идет, вот вам примерчик: ударил Макензен на десятый корпус Третьей армии, имея более двухсот тяжелых орудий, не считая легкой артиллерии, а у нас во всей Третьей армии на двухсотверстном фронте всего четыре пушки, причем одна из них в самом начале от изношенности лопнула. А идут немцы так: подводят войска свои к нашим окопам безнаказанно, нашим артиллеристам всё одно стрелять нечем, да и пушек у них нет. И начинают тогда немцы из тяжелой артиллерии так гвоздить, что смешают у нас всё живущее. Потом пехота ихняя занимает наши разбитые вдребезги окопы, хоронит тысячи наших убитых, укрепляет наши линии для себя, а в это время ихняя артиллерия бьет по нашим тылам, не давая нам возможности и носа высунуть. А когда окончательно закрепилась пехота немецкая на бывших наших позициях, снова тогда ихняя тяжелая артиллерия подходит поближе, и опять ураганный огонь по нашей пехоте. А наши в день максимум по пятьдесят выстрелов делаем. Снарядов нету. Так вот и прошел Макензен всю Галицию, до самого Перемышля дошел да еще на Люблин-Холм повернул. И в это же самое время перешли немцы в наступление и в Восточной Пруссии. И пошли мы отступать. Да как! Сдали крепость Новогеоргиевск, сдали Ковно, очистили Ивангород, Гродно, Брест-Литовск. И потеряли за это время не больше и не меньше, как один миллион четыреста тысяч убитыми и ранеными, то есть в месяц по двести тридцать тысяч человек. Сколько это в день-то приходится, а ну-ка, Семен, раздели.

— Семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть.

— Что? В самом деле? Постой-постой, ага, здорово, апокалиптическое число получилось! Чёрт побери. Да, действительно, кажется, подходит время, когда примчится всадник бледный, или как там в Апокалипсисе написано. Только, как я думаю, всадник-то красный появится, вот чего нам бояться надо. Ах да, а пленных за это время потеряли мы один миллион. По сто шестьдесят тысяч в месяц сдавалось пехоты нашей. Вот и задумались наши гениальные стратеги, что же им делать: оборонять Польшу и потерять всю армию, или отдать Польшу немцам, а армию сохранить? И решили идти в отступление. И кинулись драпать, всё бросая, сдавая, оставляя. И поползли слухи об измене. И растерялось наше начальство и, найдя козла отпущения, повесило полковника Мясоедова, якобы за шпионаж в пользу немцев. А был он таким немецким шпионом, как ваша стряпуха Агафья. А солдатики наши прямо заявлять стали, что нет никакого смысла драться, и домой панические письма писать стали. Фронт отступает, сдается, драпает, а в тылу — паника. В армии к офицерам недоверие, слухи один другого хлеще, подходящие подкрепления ни о чём ином не думают, лишь как бы сдаться, а немцы и дальше всё орудийным огнем перепаживают. И в войсках чуть ли не до массовых галлюцинаций доходит. Многие у нас клялись и божились, что самостоятельно видели японскую пехоту, пришедшую нам в помощь. Бред, отчаяние, паника. А чтобы делу помочь, что ты думаешь, какой вопросик рассматривает Дума наша на заседаниях своих: военного министра повесить или как? Да ничего подобного — рассуждают о том, как сообщить солдатам, чтобы никак они злым немцам в плен не сдавались, а не то здорово им попадет, когда они из плена вернутся. А новый министр на весь мир заявил, что отечество наше в опасности. Сухомлинова, знаешь сам, слава Богу, убрали. А почему же драгоценное отечество наше в опасности? Да потому, что прут немцы в трех направлениях сразу: на Петербург, на Москву и на Киев. Да слушки у нас пошли, что Николая Николаевича уберут.

— Этого еще не хватало!

Дядя Воля как-то странно взглядывает на собеседников и пожимает плечами:

— И опять легенда! Правда, в армии его боготворят, что только о нем не рассказывают. И как он в Варшаве чуть не тысячу пьянствовавших офицеров из кабаков разогнал, и как на каком-то мосту панику прекратил, и на письмо Распутина ответил, будто бы просил тот разрешения на фронт приехать: «Приезжай, повешу». И чего только не говорят. А одно точно: из Ставки шагу он никуда не делает, ни на каких фронтах не бывал, сидит и супружнице своей в Киев письма строчит. Правда — против Гришки он, но слова об этом царю сказать — не смеет. За все время только один-единственный раз покинул Ставку. Какая-то Сибирская дивизия на фронт пришла, приободрить он ее отправился, чтобы веселей сдавались. И там у него казус вышел: поцеловал он в восторге какого-то лихого барабанщика, а барабанщик тот евреем оказался. Вот теперь у царя и вовсе против него, особенно царица: гляди-ка, Ники своему скажет, великий князь, главнокомандующий, с жидками целуется! Скандал! И уверен я теперь, что уберут его обязательно. Впрочем, на деле всё равно это не отразится, суть не в нем, а в начальнике штаба. И если лихой наш Николаша, государь наш и император, сам в главнокомандующие полезет и снабжения и тыла не наладит, да будут нас немцы так же колотить, как и раньше, пропал тогда и он, и мы все с ним. Разговорчики пошли, что диктатор нам нужен, сказали это царю, а он после долгого молчания пожелание выразил, чтобы все проявили напряжение всех своих сил. И те, кто дезертирует, и те, кто сдается немцам, и Гришка Распутин в банях с дамами, фу, чёрт, противно и рассказывать. Словом, коротко говоря, хаос у нас полный.

Дядя Андрюша смотрит перед собой, будто думает совсем о чем-то постороннем.

— Что же они, мерзавцы, думают?

— Думают? Не в привычку им это. Знаешь, как говорится, попробовал один индюк думать да сдох от непривычки. Тут людей дела надо.

— А есть такие?

Дядя Андрюша вдруг выпаливает:

— Прохвосты! Дождемся мы, что они нам Гришку в министры посадят!

* * *

На мельницу пришла тёти-Агньюшина подвода, два пленных австрийца сносят мешки и тащат их наверх к ковшам. Гарцев с тетки не берут, такой уж у них родственный уговор. Один из австрийцев, длинный, с жидкими рыжими усами, в потертой, во многих местах залатанной форме пехотинца, но с лихо заброшенной на затылок кепи, худ и жилист, ни на кого не смотрит и хмурится. Видно, сердитый. Говорят, что он из какого-то Тироля, это где-то там, где Альпы начинаются, на краю света. Другой же, звать его Эммануил, или, как его все на хуторе называют, Мануил, среднего роста, краснощекий, тщательно выбритый, военной формы не носит, на нем новые брюки и русская рубаха-косоворотка, подпоясанная кожаным ремешком, волосы зачесаны аккуратно, с пробормом посередине, обувь на нем ладная, тоже вовсе не австрийская, откуда он всё это подоставал? Говорит, что чех он, из города Ихлавы, и что всем славянам надо держаться вместе. Вспоминая рассказы Ивана Прокофьевича о панславизме, присматривается Семен к Эммануилу получше и, несмотря на братскую славянскую кровь, особых симпатий к нему не чувствует. Уж какой-то слишком юркий и прилизанный, причем, нехорошо так думать, чем он виноват, что забрал его Франц-Иосиф

и погнал против казаков воевать. Пусть радуется, что не убило его, а в плен попал и, цел-невредим, работает у тети Агньюши. Рассказывал он, что служил в Праге, в каком-то страховом обществе, чиновником. Бог его знает, все они рассказывают, что были там, в Австрии, то графами, то баронами, а глянешь на руки и сразу всё видно. У всех почти — как хорошие грабли. Вон Франц — тот другое дело, сразу сказал, что крестьянствовал, и показал, что мастер он со скотиной обходиться, тетя Агньюша ему и соответствующую работу дала. Только больно уж он сердитый, всё ему фердаммит, одно знает — ругается, зато к скотине совсем по-хорошему, в этом деле замуркой ему доверять можно. Так и на мельнице о нем говорят. А как окончит свою работу, так и вытаскивает трубку, длинную, разрисованную, с вишневым мундштуком, набивает ее махоркой, выругается, что в этой фер-флюхте Русслянд приличного табаку достать нельзя, засядет после ужина где-нибудь от людей подальше, пускает, как паровоз, дым клубами, и одно знает — молчит. Пригляделись к нему на хуторе и порешили: чего его трогать, ну и пускай. Работу свою делает чисто, по-хозяйски, а что мы ему не нравимся, ну и шут с ним, то-то он нам нравится!

Вот Мануил, тот совсем другое дело. Только и знает, что песенки свои поет. По-русски уже совсем хорошо насобачился, и вообще парень смысленный, на все руки мастер, куда его ни пошли, всё спроворит, тетка Агньюша не нарадуется, что такого работника получила. И что самое главное: в лошадях он хорошо разбирается, Валя рассказывал, что он с ним каждое воскресенье верхом кататься ездит.

После обеда отправляется Семен в Разуваев, под вербами у выгона снова собирается вся его компания и ведут, не хуже дедов, разговор о войне, о конях, об урожае.

— Слышь, Семен, а сколько времени у тетки твоей австриец энтот, Мануил, работает? — неожиданно спрашивает Петька.

— Толком я не знаю, с весны, а что?

— Да то, что за пять-шесть месяцев большая яму повышения вышла.

— Какое повышение?

Ребятишки переглядываются, никто ничего не говорит, только тот же Петька заканчивает разговор решительно и безапелляционно:

— А такая повышения, што выйдет он табе в дядя.

— Что за ерунда, в какие дядя?

— А ты приглядишь получшей, вот и сам поймешь. У нас в хуторе народ по-разному говорить зачал.

— Как это — по-разному говорить? Ничего я не понимаю!

— А ты и не понимай, Мануил, энтот понял, што тетке твоей надо.

Петька поднимается, домой ему пора, в хозяйстве у них неуправка. Семен решает сходить к Мусе, может быть, она ему что объяснит.

На другой день, когда в полдень все отдыхают, отправляется он на хутор тети Агньюши и находит Мусю в беседке. Сидит она с книжкой в руках и смотрит, не сводя глаз, на амбары. Смотрит туда же и Семен, ничего особенного не видит, но вот открываются вдруг двери одного из них, и, поправляя на ходу прическу, выходит на порог тетя Агньюша, она чему-то улыбается и вдруг, подпрыгнув, бежит через двор к дому и исчезает на кухне. Муся по-прежнему не сводит глаз с амбара, смотрит и он туда же и видит Эммануила, как, одергивая рубашку и стряхивая пыль с брюк, появляется тот в дверях. Что они, когда весь хутор отдыхает, вздумали в амбаре делать? Быстро и неслышно подкравшись к Мусе, трогает он ее за плечо поднятой с земли хворостинкой.

— Фу, как напугал! Что ты тут шляешься? — сердится она.

— Вовсе я не шлюсь, я так, к тебе зашел, посмотреть...
— Что посмотреть?
— Да всех вас, где Валя и Шура?
— А я почему знаю.
— Ты что такая сердитая? — Семен нерешительно садится рядом с Мусей.
— И вовсе я не сердитая, это так...
— Только так? Ну хорошо. Слышь, Муся, я в Разуваев ходил...
— Ты туда чуть не каждый день мотаешься.
— Однако у тебя и разговор, то шлепается, то мотаешься. Где это ты научилась?
— Тут всему научишься.
Опустив голову, вертит она в руках книгу.
— Что у тебя за книга?
— Хорошая.
Семен встает. Что с этой злойкой зря время терять.
— Я пошел, а ты сиди и злись дальше.
Лицо Муси меняется. Ясно видно, что вот-вот она заплачет. Знает что-то, да сказать не хочет, не решается. Положив ей руку на плечо, спрашивает он ее совсем тихо:
— В чем дело, Муся, что с тобой?
Опустив совсем низко голову, отвечает она еще тише:
— Я из дома убегу.
— Почему? Куда убежишь?
— Куда глаза глядят.
— Да скажи же мне, что тут творится?
Муся долго молчит, тяжело дышит:
— Видел маму и этого...
— Ну видел, так что же?
— Господи, какой ты глупый! Да ведь вся наша прислуга, все рабочие об этом говорят.
— О чем говорят?
Слова Муси можно скорее угадать, чем разобрать:
— Что поженятся они, и еще всякие гадости рассказывают!
— Не надо, не надо, не плачь...
— Как ей не стыдно! Уйду я отсюда, такой мне мамы не надо. И Шура, и Валя уйдут, мы уже договорились, — опустив голову на руки, Муся судорожно плачет.
— Да куда же вы уйдете?
— А вон, в Средний колок. Построим там землянку и будем в ней жить, вот! Поможешь нам землянку строить?
— Конечно же помогу!
— Подожди-ка меня одну минутку.
Муся исчезает. Боже мой, не сошла ли тетя с ума? Зачем ей этот австриец? Они там в наших стреляют, они брата Аристарха убили, а она с ним в амбар ходит...
В беседку вбегают Муся, Шура и Валя. Быстро о всем переговорив, решают они строить землянку завтра. Семен приведет в помощь Мишку. Лопатки у них есть. И топор захватят. Когда собирается Семен уходить, Муся шепчет ему:
— Я ее ненавижу, видеть ее не могу!
Только Валя все время молчал, кивал лишь головой, когда его о чем-либо спрашивали, но, судя по выражению его лица, покинет он родительский дом свой без тени сожаления.

Место для землянки выбрали на другой день очень быстро. В самом дальнем уголку леса, почти у речки, под высокими осинами.

Дома сказали, что идут ловить рыбу. Гувернантка летом детей не мучит, лежит целыми днями где-нибудь под деревьями, ест конфеты и читает свои романы французские. Вот и чудесно.

Вечером, страшно усталые, возвращаются все по домам, а наутро собираются снова. Основная тяжесть работы падает на Мишку, он так умело орудует лопатой, что никто с ним сравняться не может. А Муся и Шура натерли такие мозоли, что сидят в траве и плачут. К вечеру второго дня землянка вырыта. Завтра — крышу делать.

На третий день рубят и таскают талы, режут камыш. Мишка притащил две деревянные для сох и начал их прилаживать. И так лишь к обеду заметили исчезновение Вали. Поискали его, покликали и собрались в землянке на военный совет.

— Эй, вы, робинзоны, а ну-ка, вылезай!

Это определенно голос отца. Как он узнал?

Отец не один — с ним Никита-мельник. Тут же пасется запряженный в дрожки Карий. Отец оглядывает землянку хозяйским глазом, обходит ее вокруг, смотрит на Микиту и кивает головой:

— Что ж, работа неплохая. А ну-ка, собирай хабур-чабур, айда домой.

Собрав лопатки и топоры, крайне смущенные, рассаживаются заговорщики на дрожках. Муся, быстро склонившись к Семену, шепчет едва слышно:

— Это Валька всех нас выдал!

На балконе стоит тетя Агнюша с красными от слёз глазами. Рядом с ней смотрящий в землю Валька-предатель. Взяв Мусю и Шуру за руки, молча уводит она их в дом. Валя на мгновение останавливается возле Семена и говорит в сторону:

— И вовсе Мануил не плохой. Я с ним всегда верхом езжу. Мне его жалко... вот...

И бежит за матерью.

Вернувшись домой, уходит Семен с Жако на речку, садится в лодку и быстро гребет. Жако, скользя лапами по мокрым доскам, стоит по привычке на носу, норовя поймать выскакивающие под килем водяные пузыри. Быстро скользя по сиденью, Семен так накреняет лодку, что летит фокстерьер в воду, вынырнув, плывет к берегу, но догоняет его хозяин и вытаскивает за шиворот в лодку.

— Пожалуйста, назад, господин утопленник.

Нисколько Жако не обижен, отряхнувшись так, что обдаёт он брызгами своего хозяина, снова становится на свою вахту. Да, всё это прекрасно, но что же с Мусей и Шурой будет?

За ужином говорят все о чём угодно, только не о землянке. С утра бежит Семен снова к тете Агнюше и появляется меж катухами как раз в тот момент, когда прискакавший верхом дядя Андрюша вызывает из сарая Эммануила. Дядя сидит в седле крепко, в правой руке плетё, в левой зажал поводья.

— Ты Эммануил Шлемер? Собирайся, сейчас со мной в Ольховку отправись, а там — в Царицын, понял?

Тут же стоит запряженная телега, правит ею старый клиновец, работающий у тетки несколько лет. Эммануил хочет что-то сказать, да дядя начинает поигрывать плеткой.

— Без разговорчиков, а то мне ноне некогда.

Сборы пленного недолги, забежав в хату для рабочих, выходит он с узлом и привязанным к нему котелком, усаживается в телегу, тупо глядя перед собой.

— Трогай, ты!

Дядя хлопает плетью по голенищу, мужик дергает вожжи, подвода выкачивается за ворота, дядя рысит вслед. Двор как вымер, ни души не видно. Семен спускается под гору и бежит на мельницу. В столярке полно народу, слышны громкий смех и обрывки фраз:

— А чаво тут толковать по-пустому. Терпела баба, терпела, сколько годов зря у ней прошло.

— Што ж он ей замок теперь навесит, што ля?

* * *

Пока суд да дело, неплохо бы было еще разок порыбачить на сазанов. Встав до восхода солнца, забрав удочки и Жако, идет Семен к еще вчера выбранному местечку. Запривадил он еще с вечера, расчистил шамару, авось сегодня что хорошее попадется. Тут, в этой колдобине, сроду он еще не рыбалил. Вчера в Разуваеве договорился он с казачатами, обещали и они прийти, зорю посидеть, должна тут рыба быть обязательно.

Усевшись поудобней, насадив червей, закидывает он удочки, и выстраиваются слева и справа четыре его поплавка, как парные его часовые. Совсем тихо, солнце не выглянуло еще из-за бугра над Рассыпной балкой, утро свежее, роса такая, что сапоги совсем промокли. Забравшись на камыш, совершенно промочив лапы, дрожит несчастный Жако и ежится от холода. Петька с Мишаткой, оба босиком, идут неслышно, только молча кивают ему и усаживаются от него в саженьях десяти, на том же, еще вчера с вечера облюбованном месте. Слышно, как шлепнули их поплавки по воде, легкая рябь пробежала по зеркальной поверхности и всё снова затихло. Теперь лишь сиди да жди, когда клев начнется. Поплавки стоят, как по команде, смирно. У Петьки с Мишаткой другое дело: уже показывают они ему хороших краснопёрок. Вдруг, круто опустившись в воду, пошел один из поплавков в сторону и исчез в глубине, как перископ подводной лодки. Что за наваждение? Что это за рыба? Сазаны так не берут, плотва клюет по-иному, это что за чудак нарвался? Осторожно, не дыша, берет Семен удилище и одним рывком засекает. Ого — что-то страшно сильное тянет так, что едва удерживается он на берегу, стараясь повернуть рыбину вдоль колдобины. Удастся это ему с огромным трудом. Круто повернув где-то там, на глубине, потянула она налево, в камыш. Стараясь никак не пустить ее в заросли, тянет Семен вправо и чувствует, что сила там, на другом конце шнура, огромная. Петька и Мишатка, увидав, что взяло у него что-то доброе, уже стоят позади Семена не дыша, следя разгоревшимися глазами за каждым его движением и за бороздящим поверхность воды, натянутым как струна шнуром. Только бы не сорвалась! Только бы шнур выдержал! А рыба, чувствуется уже это, приморилась, хоть и давит по-прежнему крепко. Мотнувшись еще несколько раз вправо и влево, идет теперь она, подтягиваемая к берегу, и все рыбаки столбенеют: огромной усатой мордой упирается сом, да-да, сом, прямо в песок берега. Страшный широкий рот судорожно хватает воду, медленно, устало движутся передние перья-плавники, а темное длинное туловище исчезает в глубине речки. Мишатка хватает сачок, заводит его поглубже, туда, где должен кончаться сомячий хвост, но спокойно стоящий, отдышавшийся и набравшийся силы сом рвет вдруг круто в глубину. Семен оступается и летит в воду, выронив из рук удочку. Как был, в рубахе и штанах, ни минуту не раздумывая, бросается Петька в воду, хватая удилище и, огребаясь лишь одной рукой, плывет назад к берегу. Вытащив Семена из воды, протягивает Мишатка руку Петьке, помогает и ему выбраться на песок и передает удилище Семену. Быстро сбегав к своему месту, возвращается он с топором, опускается на колени у самого берега и глядит на шнурок:

— Подводи, подводи, я яво уошшу!

С головы его и рубашки текут струйки воды, посинел он и вздрагивает от холода, но ничего, кроме шнура, не видит и не чувствует. И вот он снова, теперь уже окончательно выбившийся из сил, огромный сомина. С разгона чуть не выскакивает на берег и губит этим свою жизнь. Петька реагирует моментально. Как молния, взлетает топор и, разбросав сноп брызг, падает обухом на темный лоб широко открывшей рот рыбины. Будто электрический ток проходит по всему ее телу, вздрогнув, обвисает она на удочке и, задрожав всем телом, медленно переворачивается в воде серо-белым пузом вверх.

— Ох ты, какой здоровый! Да он фунтов с пятнадцать потянет! — рыбаки вне себя от восторга.

Семен не может верить своему счастью. Никогда ничего подобного не брал на удочку не только он, но и отец, и дедушка. На крючок, на жареного воробья, то другое дело, ловили они и куда побольше, а вот чтобы на удочку — Семен гордо оглядывается на своих друзей, а Петька уже вырезал крепкий кукан, лезет к рыбине, для верности хлопает ее еще раз обухом по черепу и сажает на кукан.

— Вот это да! У нас в Разуваеве таких сомов на удочку ишшо никто не брал!

Петро и Семен раздеваются, лезут в речку застирывать рубахи и брюки от песка и ила и ложатся на солнце греться. Брюки и рубахи развешены на кустах, удочки смотаны, рыбалить дальше нет никакого смысла, рыбу они возней с сомом все равно распугали. А пока сохнет их одежонка, и позубоскалить можно.

Петька жует травинку, глядит в небо, щурится на солнце и потягивается.

— Слышь, Мишатка, Расскажи-кась ишо раз присказку твою, а то ее Семен ня знать!

— А коль ня знать, нхай слухаить, только присказку ету, окромя казаков, никому я не рассказываю, потому казаком быть — честь это большая, так мне и отец, и дед говорили, так и атаман наш гуторить. Ну, слухай мою прибаутку...

Было ето всё тогда, когда мой отец ишо не родилси, а мы с дедом на охоту ходили. Були у нас ружья лубяные, а замки полстяные. Идем это мы, подходим к озеру, уток на нем сидить — глазом не окинешь. Вот табе дед мой — громых-громых, да семерых, а я — бух, да двух. Четыре улетели, пять мы не нашли, собрали остальных да и пошли. А жили мы с дедом богато: из рога того — вилы да грабли, а из поездки — тачка с одним колесом. Был у нас и кот без ушей, ловил он здорово мышей. А и хлеба у нас много было, на брусу два стога пшаницы сложено. Вот однова мышь в пшенице заворошилась, как кинулси кот наш на тот брус, так оба стога в лохань с водой и повалял. Ну што ж, надо хлеб сушить, а посушив — молотить...

Мишка поднимается на одном локте и смотрит на шлях, ведущий из Ольховки в Разуваев.

— Штой-то вроде хтой-то намётом бягить.

И действительно, из-за деревьев несется на хутор какой-то всадник. Ребята следят, как, миновав школу, подскакивает он к Правлению. Мишатка ложится на спину:

— Обратно приказы какие-нибудь привез. Мало им тех, што по перьвой набилизации ушли, ишо они тридцать тысяч наших казаков забрали. Сам атаман сказывал. И когда они ету волынку коньчут, нашим казакам вроде и надоедать она стала.

Мишатка замолкает. Рубахи и брюхи высохли, можно и одеваться, и присказку до конца дослушать.

— Ну, а как же дальше дело-то было? Посушили, говоришь...

— Да, посушили, молотить! Молотили мы ту пшаницу промеж ногтей, страсть как много намолотили, ссыпали зерно на печь, ишо чудок подсушили, надо молоть, а мельницы-то близко и нету. Дед мне и говорить: «Бяры лопату, лезь на печь». Залез я на печь, а он положил бороду на задоргу, открыл рот: «Сыпь, говорить, ту пшаницу мне в рот лопатой...». Сыплю я яму пшаницу в рот, дед жует, мельница идет, мука лятить: в одну парчину — первый сорт, в другую — второй сорт, а в прорешку — отруби так и выскакивают...

Петька поднялся, сел, смотрит на Разуваева и показывает пальцем в поле:

— А ить никак Сашка это к нам сыпить! Э-эй, суды заворачивай!

Полный и красный от бега, задышавшийся, не в силах выговорить ни слова, валится Саша на траву и хватает себя за горло:

— О-ох, Гос-споди, ти-л-ляграм пришел. Гришатку на фронте убило. Гришатку, Астаховой сына, энтой, што у нее бабушка ваша корову купила...

* * *

Будто своего, оплакивала бабушка Гришатку. Целыми днями никуда не показывалась и сидела одна в своей комнате, жгла лампадки и свечи, читала Евангелие и молилась. И только уже перед самым отъездом в Камышин зазвала внука к себе, посадила на ту же низенькую табуреточку, на которой мотал он с ней раньше шерсть, достала откуда-то особенно вкусных сухих слив, протянула ему и спросила:

— А што, Семушка, слышал ты казачью легенду про Матерь Божью?

— Нет, не приходилось.

— Так вот, слухай: давно это случилось, когда, как и сейчас, бились казаки и в степях, и в море синем, а души ихние, тех, што в боях пали, реяли в туманах над речными мелями, над лиманами и поймами, а причитания плачущих казачек неслись с каждого хутора, как шум воды на перекатах.

И сошла однажды на землю Мать Пречистая Богородица, а вместе с ней и Николай-Угодник. А одела Она самую лучшую свою жемчужную корону. И так обходила Она Казачий Край, плач казачек слухала. А когда наступил знойный день, пересохла уста Ее от жалости, и не было чем Ей их освежить. Никто в хуторах на стук не откликнулся, никто к дверям не подходил и не открывал их, а только еще громче раздавались за ними горькие рыдания. И подошла Она к глубокой реке. И только наклонилась к ее струям, чтобы водицы испить, как упала та Её корона с головы и скрылась глубоко под водой. «Ах, — сказала Она, — пропали мои жемчуга. Никогда больше не будет у меня таких красивых».

Но когда возвернулась Она в Дом свой небесный, то увидела Она на золотом троне своем такие же сияющие зёрна драгоценного жемчуга.

— Как это попали они сюда? Ить Я их потеряла. Это, должно быть, нашли их казачки и передали для меня.

— Нет, Матушка, — сказал Ей Сын Её, — не жемчуга это, а слезы казачьих матерей. Собрали их ангелы и принесли к Твоему Престолу...

Замолкла бабушка, глядит на огонек лампадки и плачет, сама слёз своих не замечая. Семен сидит и шелохнуться не смеет. Будто от внутреннего толчка, ее разбудившего, вздрагивает она и пробует улыбнуться:

— Ну иди, иди, глупая я, только тоску на тебя навожу. Казак ты, тебе сам Бог горевать не велел. А уж мы, казачки, другое это дело, бабье... ступай, ступай, с Жако твоим в луга пробегги, миру Божьему еще трошки порадуйся... а жемчуга, нет, не любят казачки, слёзы и горе они приносят.

ШЁЛ ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ...



* * *

Взрослые были заняты разговором с мичманом, а Семен предавался горестным размышлениям: «Господи, да разве же это возможно? Как же это и произойти-то могло? Почему? Неужели же это так всегда в жизни бывает, что вот та, которую так страшно видеть хотелось, не только не пришла, но и надежды никакой нет вообще ее когда-нибудь увидеть. За что?»

В полутемном своем углу, в гостиной, глубоко усевшись в широкое кресло, смотрит он остановившимся взором в одну и ту же точку на ковре, в мозгу молотками бьются услышанные им слова: «Уши наша уехала в Аскания-Нова. К Фальцфейну. Там и учиться она будет, там и останется в его имении возле Крыма, там ее счастье. И ми вообще толшен Пога плаходарил, што такой польшой шеловек наша Уши к сопе взял...». Весело рассказывает фрау Мюллер о том, что получит Уши у Фальцфейна самое лучшее образование, и сможет там, на месте, заняться как раз тем, что она особенно любит — животными. У него ведь в колоссальном имении собственный зверинец, в степи искусственное орошение, огромный парк, такие деревья растут и такие фрукты вызревают, каких даже у Батума на Кавказе нет. И пальмы, и чай, и тростник-бамбук, и мандарины. Рай да и только...

А ведь все летние каникулы, изо дня в день, с утра до вечера, только и думал Семен о том, как, вернувшись в Камышин, первым делом отправится он к Мюллерам.

А Мюллерша рассказывает, как выехали они на пароходе «Самолет», как доехали до Царицына, а оттуда поездом на Ростов, потом в Севастополь, а там, на балу у моряков, познакомились с Фальцфейном, понравилась ему Уши огромным интересом ее к зверям и растениям, после вальсов и ужина пригласил он ее к себе. И отправились потом в Мариуполь, а оттуда, ох, можете себе представить — автомобилем, его собственным, огромным, с шофером в имение поехали... Уши в восторге была...

Уши была в восторге... да-да, за автомобиль с шофером и за бамбук с мандаринами кого угодно променять можно... — глубоко съехав в своем кресле, превратился Семен в комочек горя. Сидит и не движется, смотрит не моргая всё на тот же противный квадратик на том же дурацком ковре... Уши была в восторге... А тут еще и сын Мюллеров, мичман Черноморского флота, служит на миноносце «Боевой», ростом высок, строен, красив, с такими же синими, как у матери и Уши, глазами. И все: и мама, и отец, и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, смотрят на него так, будто он уж что-то совсем особенное. Свалился с неба профессор флотских кислых шей! Скажите, пожалуйста, такой же немец, как и те, кто Аристарха убили. А они и глаз с него не сводят!

А ничего не подозревающий мичман, даже ни разу не глянув в угол с креслом, продолжает беседу:

— ...Простите, господин есаул, великолепно я ваши мысли понимаю, всё мне, как божий день, ясно, но тут мы главное учитывать должны, то, о чем казаки никогда не подумали. О самой простой вещи: что территорией вашей стоите вы на пути развития Российской Империи. И что терпеть вас будет она только до тех пор, пока вы ей нужны или ей не мешаете. А если мешаете, о, тогда всё будет очень просто. И первый вам урок дал царь Петр Великий. Понял он еще тогда всё значение для России не только Черного моря, но и Босфора и Дарданелл. Пусть говорят что хотят, но знаменитое завещание его — должно быть, лучшее подтверждение этому, находим мы в письмах Вольтера царице Екатерине. Там об этом завещании прямо говорится, как и о том, что будущее России на Проливах, в Константинополе, а это значит, и — в Средиземном море! Вы же сами прекрасно понимаете, что Балтийское море для России недостаточно и злыми соседями опасно. Захотят немцы, захотят

шведы, захотят англичане, и заперли они нас в этом море, как в мешке. Об Архангельске и говорить не приходится, шесть месяцев в году подо льдом порт заморожен. Особенно не расплаваясь. О Владивостоке, о Великом Сибирском пути лучше и не упоминайте. Триста шестьдесят пар паровозов нам надо, чтобы одну пару встречных поездов через весь этот путь протолкнуть... И вот эта война показала нам, что единственный для нас выход — Константинополь. Поэтому-то и перебил так зверски Петр Великий казаков в Булавинском восстании — могли они ему жизненно важнейшую для империи его дорогу перегородить. Поэтому при помощи тех же самых казаков, им покоренных, взял он у турок Азов, поэтому-то и царица Екатерина, говорите о ней как о женщине что хотите, а царица она была, безусловно, великая да еще дочь чья — самого Фридриха Великого, а это, что ни толкуйте, тоже что-нибудь да значит, кровь и раса! Вот поэтому-то и она, согласно завещанию Петра, провидца путей имперских, ту же самую цель, как и он, преследовала. И ее взоры постоянно были на Константинополь устремлены. У императора Павла родилось два сына, один Александр, позднее царствовавший в России Александр Благословенный, и Константин, чье имя было заранее с особенным значением выбрано. Его Екатерина иначе как Звезда Востока не величала. И вот этого-то Константина, внука Петра, и крестили по восточно-греческому обряду, нянчили его няньки-гречанки, и в три года говорил он по-гречески лучше, чем по-русски.

Тарас Терентьевич громко смеется:

— Вот это — здорово! Тут тебе и щит на вратах Цареграда, тут тебе и крест на Айя-Софии... Батюшки, и во сне мне этого не снилось!

— И не только вам, но и очень, очень многим. Вот поэтому и собираем мы теперь десант против Константинополя, хотим его русским городом сделать. И давно уже приготовления ведутся. И всё потому, что с первых же месяцев войны стало нам ясно, что без открытого прохода в Средиземное море лезем мы в драку со связанными руками. Еще и Петр вел переговоры через Шереметьева с Иоаннитами, а с Мальтийским орденом о Мальте, хотел Мальту русским опорным пунктом в Средиземном море сделать. Да Венеция тогда всему помешала. А царица Екатерина, еще в первую войну с Турцией, в переговорах с Гроссмейстером Мальтийского ордена Эммануэлем Пинто тоже пробовала из Мальты русскую территорию сделать, жителям Мальты давала русское подданство, предлагала им признать русское господство, а орден изгнать. Год спустя послала она маркиза Кавалькабо с заданием, кого нужно купить, кого добром добыть, а при случае и военной силой действовать. Пытался он Мальту захватить, но в последнюю минуту были мы отбиты. Пробовал и Павел действовать, объявил себя защитником Мальтийского ордена, было это в 1797 году, начал тайные переговоры, но узнала о них Франция, и под самым нашим носом удалось Наполеону Первому Мальту попросту купить. И отошла она 12 июня 1798 года, согласно заключенному трактату, к Франции.

— Значит — сорвалось?

— Да, неудача!

— Но ведь флотоводцы наши били турок, как хотели, возьмите хотя Алексея Орлова!

— Орлова! Да Бог с вами! Когда он, будучи в Венеции, узнал, что назначили его командовать русским флотом, в ужас пришел, за голову хватался. «Там, — кричал, — в Петербурге, все с ума посходили!» А в битвах при Чесме и в Неаполитанском заливе разбит был турецкий флот вовсе не Орловым, а стоявшими на российской службе английскими адмиралами Эльфингстоном, Грейгом и Дугдалем. Орлов же в морском деле вообще ничего не смыслил.

Отец задумчиво качает головой:

— Да-да, Дугдаль, Грейг, Эльфингстон, а вон теперь — фон Ессен. Здорово это — сами же западные народы Российской Империю против себя строят!

Мичман подбирает губы:

— Западные народы тут ни при чем! Все мы, Россию полюбившие, ей служащие, строим ее как верные ее подданные, без того, чтобы думать, откуда корни наши. Разве Екатерина не немка была? А что она из России сделала... да и вообще теперешний Дом Романовых, как вы думаете, сколько в нем русской крови? А все мы, государству Российскому служащие, должны с малых чинов понимать те задачи, которые стоят перед нашей новой великой родиной, помня хотя бы то, как, приехав в 1787 году в Херсон, повелела она соорудить триумфальную арку с надписью: «Отсюда ведет дорога в Константинополь!»

— Что ж, значит, остались мы на этой дорожке!

— И еще как! Только, к глубокому сожалению, не все в России понимают ее значение. Нужно отдать справедливость его императорскому величеству, ныне царствующему государю-императору Николаю Второму, идет он стопами Петра Великого. — Отец как-то подозрительно кашляет, но мичмана это не смущает. — И еще как идет! Во флоте у нас дела совсем иные, чем в армии. У нас всё есть! И новые корабли постоянно мы строим, запасов у нас в изобилии, дух моряков прекрасен, урок Цусимы не только даром не прошел, но послужил к полному оздоровлению флота. Несмотря на то, что в Балтийском море против наших двух броненосцев двадцать штук. И в Черном море неплохо мы держались, пока «Гебен» и «Бреслау» не пришли. Тут хотели мы сразу же в Босфор прорваться, да союзнички наши согласия на это не дали. И не только союзники нам мешают, но и в Ставке Главнокомандующего есть влиятельные лица, которые утверждают, что ключ к Проливам лежит в Берлине. Чепуха это.

Тарас Терентьевич зашевелился:

— Послушайте, мичман, а как же вообще получиться могло, что «Гебен» и «Бреслау» в Турцию попали?

— О-о! Это весьма интересно. Английский флот открыл их сразу же, как только они Гибралтар прошли. И всё время, в несколько раз превосходя их силами, висел у них на хвосте, сопровождал их через все Средиземное море, но не нападал. А когда адмирал английский, удостоверившись, что идут они в Константинополь, послал об этом телеграмму в Лондон, то получил приказ преследование прекратить.

— То есть как это так — преследование прекратить? Почему?

— А значит, так англичанам нужно было.

— Ни черта не понимаю, да как же это так, не уничтожить вражеских кораблей, когда они против их же союзника идут?

— А разве забыли вы роль Англии, уже не говоря о Венском конгрессе, но в 1854—1856 году, и в 1877—1878 годах. Всё она делала, чтобы мы в Средиземное море не попали. И вот перед ней и теперь та же проблема стоит. Союзники мы, это верно, поэтому позволяет она нам пехоту нашу сотнями тысяч гнать на немецкую артиллерию и проволоку для спасения Вердена, для устройства чуда на Марне, чтобы Италию спасти. Это пожалуйста, с нашим удовольствием, но перспектива видеть нас в Средиземном море никак ей не нравится, не по шерсти.

Отец и Тарас Терентьевич переглядываются.

— Да неужели же способна она на такую подлость?

— Простите, что значит ваша подлость в высокой государственной политике? Есть одно — государственные интересы. А сколько казачьих городков пожег Петр Великий, сколько казаков перевешал и казнил? И с кем потом, позднее, вместе Азов брал? Как могли тогда казаки ваши вместе с ним идти, ведь раны их тогда еще не зажили!

Отец будто о казаках и не слышит.

— Значит, сознательно англичане и «Гебена» и «Бреслау» пропустили. Зато получили же они по морде в Дарданелльской операции. Поделом вору и мука!

— Да, оборвалось это у них здорово. И вся ведь цель их была попасть в Константинополь раньше нас, своих союзников.

— Так им и надо!

— Конечно же, так и надо! Вот когда узнали наши о всём, то и приказано было приготовить десантный отряд из трех отборных дивизий Кавказской армии, опять же, думаю, казаков-кубанцев, ан, когда хватились, а десантных средств у нас и нет. Одну бы только бригаду посадить могли! А пока мы считали да прикидывали, немцы на Западном фронте в наступление перешли, видно, о всём унюхали, и потопали дивизии наши константинопольские посуху на Румынию.

Тарас Терентьевич трет ладонью затылок.

— Значит, слишком большого-то чуда во флоте вашем тоже вы не сделали...

Семен встает, осторожно обходя сидящих, выходит в коридор, одевается и незаметно выходит на улицу. На дворе давным-давно стемнело. Моросит холодный мелкий дождь. Облака идут так низко, что того и гляди зацепят за колокольню церкви св. Николая. Засунув руки в карманы, сгорбившись, пересекает он городской парк, идет вдруг быстрыми шагами к кино «Аполло», там есть лестница, уступчатая спускающаяся к Волге. Вчера видел он — стоит там старая баржа. Забраться на нее, по правому борту ее течение должно быть совсем быстрым, вода коловёртью крутит. Нырнуть только — и готово. Ишь ты — в восторг пришла от бамбука с мандаринами и шофера с автомобилем!

По узкой качающейся доске быстро пробирается наверх и оказывается перед дверью в кубрик. От удара этой двери прямо ему в лоб чуть не падает навзничь — нужно же было как раз в этот момент выйти никому иному, как баталеру, приглашенному собственником баржи, старым его приятелем, на рюмочку к разговору.

— Семен, это ты? Здорово я тебя долбанул? Ничего, пока жениться — всё загорится. Да как же это ты узнал, што я тут? Вот это здорово, настоящий ты дружок, а ну залазь, залазь вниз, я зараз!

Обалдело потирая лоб, ничего не соображая, совершенно сбитый с панталыку, спускается Семен в темноту кубрика и пробирается к тусклому свету из полуоткрытой двери. Под иллюминатором стоит маленький столик, на нем несколько бутылок, полных и порожних, нарезанная кусками тарань, яйца и солонина. Только теперь замечает Семен, что выпил баталер здорово, того и гляди повалится.

— Эт-то х-хор-рошо, што старого друга разыскал. Эх, моя-то серчать будет, очень даже просто, крен у меня шестьдесят градусов. А ну-ка хватим по единой, задля радостной встречи!

Налив две высокие грязные рюмки до краев, чокается баталер с гостем, и тот, ни слова не говоря, тоже выпивает свою порцию залпом.

— З-здор-рово! Подрос, малец, правильно, по-нашему, по-матросски, водку глушишь. А ну еще по одной, во имя Отца и Сына!..

...Сквозь настежь открытую дверь кубрика пробивается тусклый свет дождливого утра. Косые капли дождя пролетают вниз, падают на нос, на лоб,

на щеки. Совершенно смущенный баталер, подняв гостя своего на ноги, старается стрясти с его форменного пальто соломинки, шелуху от яиц и воблы.

— Их ты, как всё по-дурному получилось. Знаешь ли ты, какой теперь аврал у тебя дома? А? И в моей хате не лучше! Нам с тобой теперь хоть и домой не ходи. У них там всех паника теперь, как от минной атаки. Я тебе говорю. А ну-ка, брат, полезем наверх, до городского сада я тебя доведу, а там бери курс на святого Николая. Сам. Я к твоим зараз и на сто кабельтовых не подойду. Сам отбрехивайся. Объясни им, што в хорошей компании никому никогда выпить не грех. Пошли тихим ходом, свистни марш «На сопках Маньчжурии», курс норд-ост!

* * *

Что за болезнь у него была, толком доктора сказать не могли. Пролежал он добрых три месяца, как все говорили — в горячке. Чуть Богу душу не отдал. Жако, когда окончательно спала температура у Семена, поднялся вдруг сам с кровати хозяина и убежал во двор. А до этого, не смыкая глаз, три дня и три ночи ничего не ел и не пил, лежал у его ног и дрожал мелкой дрожью, глядя на метавшегося в горячке хозяина.

И лишь к Рождеству выздоровел Семен окончательно. Где пил он и сколько, узнали от баталера, приходившего проводить больного и неизменно справлявшегося о его здоровье.

Теперь, медленно поправляясь, обнимая крепко спавшего с ним Жако, отлеживался Семен, читая «Мир приключений», и твердо решил: глупостей больше не делать, учиться и учиться.

Захаживал баталер навестить своего собутыльника, вел себя ангелом Божиим, рассказывал новости с пристаней, вспоминал японскую кампанию и утверждал, что Микадо соглашался царю войны не объявлять в том случае, если найдут во всей России одного еврея небитого, одного мужика сытого, двух чинов, никаких взяток не берущих, и двух попов, водку не пьющих. И как ни искал царь русский по всей России, так и не нашел таких людей. Вот и пришлось нам с Японией драться.

И уходил домой после чая с возлияниями. Но — не любила его мама.

* * *

Давно прошла Масленица, третья неделя Великого поста зашла, совсем потеплело в воздухе, пока то да сё, глядь, а вот она и Пасха.

И снова гости у них собрались. Тут и еврей-аптекарь, тут и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, всё еще в Камышине гостящая. Снова собрались все они в гостиной, и особенно почему-то приятно было Семену увидеть у них в костюме сестры милосердия ту самую курсистку, которая у Ивана Прокофьевича так здорово о французских либертэ и эгалитэ кричала. Возмужала она, но выглядела бледной и нездоровой, странно пополневшей. Это она привезла вчера новое письмо от отца Тимофея, осталась у них на ужин, ночевать будет, а завтра ее Тарас Терентьевич, пока на Волге лед еще крепкий, на ту сторону отвезет, а там она на какие-то хутора к родителям своим поедет. Слыхал Семен, как шептались мама с тетей Верой, как договаривались завтра же, рано с утра, по магазинам побегать, пеленок закупить, чепчиков, распашонок, еще какой-то ерунды.

Тарас Терентьевич, с видом человека, дело свое досконально понимающего, внимательно оглядывает стол, горестно вздыхает, выбирает закуску, накладывает ее себе в тарелочку с крайне сокрушенным видом, сам наливает себе рюмку водки, медленно подносит ее к губам, осторожно, не дай Бог,

ШЁЛ ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ...

чтобы разлить драгоценную влагу, пробегает глазами по лицам сидящих за столом, и вдруг, одним рывком запрокинув голову, опоражнивает рюмку, крикает, вынув из кармана брюк огромный красный платок, вытирает мгновенно заслезившиеся глаза, покаянно крутит головой, но постепенно озаряется ясной улыбкой.

— Ну вот то, истинный Бог, настоящая закуска! Вы, Наталья Петровна, вижу я, хоть из Белоруссии к казакам перекинулись, хоть и к нам на Волгу вроде как дорогой гостией пожаловали, а жизнь нашу, нутро наше, волжан настоящих, досконально уразумели. Под вашу закусочку и помирать не страшно.

Мама вспыхивает от удовольствия, что такому знатоку угодила.

— А вы вот еще этих грибков попробуйте. Сама, по бабушкиному рецепту, мариновала.

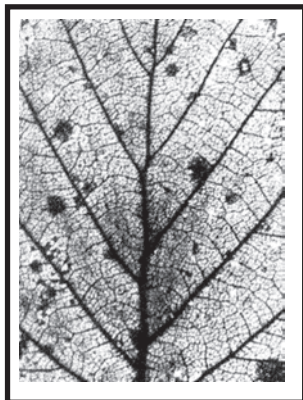
— Попробую, обязательно попробую, только вот ко второй приложить-ся разрешите. Да что же это вы, Сергей Алексеевич, мучить нас вздумали. А где ж оно, письмецо обещанное? А ну-ка! После второй рюмки слушать куда способней.

Окончание следует



Александр ЦУКАНОВ — писателю, журналисту, издателю, лауреату Государственной премии Волгоградской области — исполнилось шестьдесят. Родившийся в Магаданской области, прошедший суровую жизненную и крепкую рабочую школу, он в своих книгах — повести «Тризна по неудачнику», романе «Раб», сборниках рассказов — принципиально публицистичен, максимально открыт социально-нравственным проблемам. Уже четверть века его острые статьи на темы экологии, воспитания юношества и сельского хозяйствования печатаются в региональных и центральных СМИ, в частности, в «Литературной газете».

Поздравляя Александра Николаевича с юбилеем и желая нашему автору творческих успехов, «Отчий край» печатает его невыдуманные рассказы разных лет.



НЕВЫДУМАННОЕ

Александр ЦУКАНОВ

Дороги, дороги...

Страной «рулят» энергетики и банкиры. Увещевания президента, премьера и российских подданных, создающих прибавочную стоимость, до недавнего времени их мало заботили.

Александр Засовин глава крестьянского хозяйства. Пятидесятилетний, крепкий по виду и духу мужик. Где силы берет — не знаю. Сидит он привычно за ужином, а в программе «Время» президент на очередном высоком совещании предлагает упростить процедуру подключения к электросетям. Все кивают, как кивали и пять, и десять лет назад. А Засовин-то знает, что в январе подал в Волгоградэнергозаявление, заключил договор, всё заранее оплатил, а подключения к сетям как не было, так и нет. А у него договора по закупке племенного молодняка. У него скважина пробурена, у него кредиты... И не просто кредиты, а займы на развитие производства аж под 17 процентов. Он заложил землю и всю свою недвижимость. Он поверил в очередной раз. Он построил цех по переработке томатов, купил оборудование, чтобы организовать здесь, в Верхнем Балыклее, где нет никакого производства, около сотни рабочих мест. Он здоровый мужик, как и его младшие братья, готов работать по двадцать часов в сутки...

Все хлопают по плечу: «Молодец, Засовин!» Все готовы ему помогать. Но электроэнергия по шесть рублей, а солярка по тридцать. А у него только одна установка для пастеризации томатного сока тянет на полста киловатт в час.

Смотреть на то, как свежий красный сок стекает в канализацию, даже мне тяжело. По тысяче литров в сутки! А Засовин машет рукой и отворачивается...

Закупил семена томатов волгоградской селекции, потому что это помидор настоящий, а не декоративный голландский. Пусть не такой лежкий, зато диковато-вкусный и аж искрится на разломе. Весны не было, была затяжная холодная зима, мученья с рассадой... А в мае, когда высадили это богатство на сотнях гектаров, вдруг враз наступило «лето», навалилась жарища. Окучивание, прополка, борьба с болезнями, где «столбор», как приговор суда... Тяжкий труд на солнцепеке, на ветру. А для получения кредита требуют всё

ДОРОГИ, ДОРОГИ...

новые и новые справки, документы, поручительства, обязательства. И только в середине октября позвонили из банка: «Приезжайте оформлять...»

А томатный сок течет и течет в канализацию. Вода испарилась, и в котловане томатная паста лежит пластом в рост человека. Но разве тепло или холодно из-за этого руководящим энергетикам или тому же управляющему банком? Им «комфортно». У них аховые зарплаты и доходы. Они — как перелетные птицы. Похолодает в России — улетят на Кипр, Майорку...

Заволжье... Степь на сотни верст, перемежаемая редкими лесопосадками, которые давно никто и никак не обихаживает. Новоникольское, Луговая Пролейка, Горный Балыклей — названия сёл, словно песня. Здесь всегда кусок хлеба доставался непросто. Но была Волга с обильным рыбным промыслом, ширилась знаменитая арбузами и дынями богара, а в советские времена — овощные поливные плантации. Теперь везде и всюду звучит слово «было». Новоникольское рыбопромысловое хозяйство торгует копченой камбалой, мойвой, а вяленые мелкие окуни — это последний вид промысловой волжской рыбы. И в Волге местные давно не купаются: с июля зеленые водоросли панцирем покрывают прибрежную воду и сам берег. Освежиться можно только в затонах, хотя и они густо заросли камышом.

В атласе, выпущенном областным управлением автомобильного транспорта — в шикарном твердом переплете за сотни тысяч бюджетных рублей, — значится асфальт от Верхнего Балыклея на Солдатско-Степное. Постоял на разбитой грунтовке. Повернул обратно. Спрашиваю местных мужиков, торгующих арбузами, показываю атлас. Они посмеиваются: «Да не было никогда здесь асфальта. Езжай через Катричев, иначе убьешь машину».

Все волжские села сегодня, считай, на одно лицо. На въезде — полуразрушенные остовы ферм, корпусов давних МТС. Хорошо, что уцелел сельский Дом культуры, о чем глава администрации говорит как о большом достижении. Немалая редкость — водопровод. А в селе Дубовском на сходе решили его отключить. Глава этого поселения поясняет: «Энергетики выставили такой счет, что мама не горюй...» Мы стоим на центральной площади когда-то знатного колхоза «Красное знамя», где возвышается памятник погибшим воинам, зеленеют рукотворные аллеи по периметру. «Какое к чертям производство!» Он снисходительно смотрит на меня, затем наклоняется и выковыривает прямо из под ног тополевую рядовку — один гриб, следом другой, по-мальчишески радуясь находке. А я уже в машине, еду по селу.

Если бы не линии электропередачи, то картина из позапрошлого века: в луже посреди улицы купаются утки и гуси. Мычит одинокий телок. Покосившиеся заборы, пустующие, через два на третье, подворья. Соломенные крыши в нашем веке, конечно, редкость, но и они здесь встречаются. Поистине редкостью стало только развитое производство...

Помнится, как поразил меня хутор Деминский, что в Новоаннинском районе. Не был здесь лет пятнадцать. При развитом социализме это был колхоз-миллионер, председатель — дважды Герой Соцтруда Гвоздков. А при недоразвитом капитализме — как-то изможденно глядит на тебя обшарпанный фасад огромного ДК со спортивным залом. Оконные проемы забиты досками. Рядом, в зарослях разросшихся деревьев, странный памятник... Есть улица имени Гвоздкова, встретились и развалины двухэтажного здания, где когда-то находился служебный кабинет знатного на всю страну хлебороба. А вместо площади, где школьники семидесятых годов по утрам проводили торжественные линейки, поднимая в небо алый флаг, — серый пустырь и остатки могучего постамента.

Вдоль по улице вышагивают девушки-подростки. Окликнул, спросил: «Подскажите, кому здесь был памятник?»

— Да, кажись, Сталину.

— Че буровите! — встречает в разговор мужчина, вышедший из дома, что напротив. — Ленину памятник здесь стоял.

Что, может быть, и неважно теперь. Важно, что к бывшему колхозу-миллионеру и подъехать скоро будет нельзя: асфальт разбит, двадцать километров бесконечных колдобин.

Постоял возле заросшей камышом речки Паники. Вспомнил, как задушевно писал о ней в молодости поэт Василий Макеев, живший в этих местах:

Через палых листьев плесы
Сквозь прозрачный сирий вечер
Я пришел проститься, осень,
До грядущей доброй встречи.

Вспомнил и прошел к недалекому полю. Поднял ком земли — черной, как антрацит. Про такую говорят: земля что масло. Предзакатное солнце, розовеющий пруд, свежие зелены. Красивая пастораль. Но грустно до боли сердечной...

Если в Деминском есть производство, есть КФХ «Единство» с хоть какими-то остатками миллионного колхозного достоинства, живет какая-никакая молодежь, то на родине знаменитого полного Георгиевского кавалера и Героя СССР Константина Недорубова пустынно... Хутор Ловягин. Даже днем редко встретишь мужчин и на хуторе, и в окрестностях. В магазине продавщица поясняет грубовато: «Работы никакой. А уехал хозяин на заработки, считай, пропал... Живут, через одну, вдовы-не вдовы, а так, незнамо что...». Наболело.

...Из Солдатско-Степного взял курс на Красноселец строго по атласу, где обозначен грейдер. Но грейдера нет. Есть паутина грунтовок — выбирай любую. Знаменитый быковский арбуз, выросший обильно, лежит неубранный грядами в полях. Потому что арбуза сполна и в Воронежской, и в Саратовской областях, а дальнотойщикам всё равно какой сорт — Холодок ли, Крымская роза или ещё чего, включая американский гибрид. Солярка на вес доллара, вот забота и расчет. Крюк в пятьсот верст водителям, понятно, против шерсти. Поэтому берут, где ближе. Оттого и лежит огромными буртами перец — почти даром, пятерка за кило. Но и даром не нужен. Изысканный городской покупатель берет глянцевого и красивый, китайский да голландский. Впрочем, народ попроще и поосведомленнее предпочитает на городских осенних ярмарках наш, местный. Но его туда еще довезти надо...

Александр Засовин — он вдобавок депутат районной Думы. Собрал он как-то руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, предложил построить сообща цех по глубокой заморозке овощей. Проект на шесть миллионов. Выгода очевидная. Скинуться надо было по несколько сотен тысяч рублей. Деньги такие у людей есть, но разошлись после собрания — дагестанцы, чеченцы, русские — с привычным: «Мы подумаем...» Не поверили. Нет, не Засовину. Его здесь уважают, потому что он из той весьма редкой ныне категории людей, которые от трудностей руки не опускают. Как в присказке: нас бьют, а мы крепчаем... На всякий случай не поверили государству, которое, в лице энергетиков, вдруг возьмет да и повысит тариф до восьми, а то и десяти рублей за киловатт. Или внезапно налог новый введет.

В итоге к октябрю только пятеро из двадцати с прибылью. Остальные едва сводят дебет с кредитом. Но выходцам из Закавказья, а таких здесь уже

немало, проще. Станет неумогу, соберутся и уедут. А Засовиным, Сидоровым и иже с ними, которые в минувшем году на зерне не окупил даже солярку, уехать можно только к детям. В город. Но и без того две трети проживающих в этом вполне благополучном по меркам Волгоградской области селе — уроженцы пятидесятых.

Вот и развевается неопределенность, словно флаг на ветру...

Энергетики да банкиры дерут шкуру с производителей, практически ничего не давая взамен. В итоге может стать, лет через десять, когда добьют последние дороги, построенные при социализме, — вовсе настанет конец этим селам. Только ветер и перекасти-поле... А ведь даже в голодном 1946 году сажали здесь лесополосы, строили дороги, поднимали урожайность зерновых с шести до двадцати центнеров, что было по тем тяжким временам великим достижением. Что обновляло эти деревни и села... А теперь хоть по сорок центнеров! Прилетит волшебник в голубом вертолете, похлопает по плечу, допустим, фермера Мелихова, снисходительно похвалит. И снова ты один на один с энергетиками, банкирами, налоговиками...

Еду полями, а вокруг ни души. Уперся в мелиоративный канал. Прошелся, огляделся. Сорвал пару толстостенных красных перцев — настоящие, такие не «потекут», долго хранятся. Поехал по солнцу вдоль канала. За очередной грунтовкой пастух на добром коне. Улыбается: «Что, заблудился?.. Давай-ка за мной». Пускает коня рысью, въезжая на взгорок, откуда видна шоссейная дорога. Показывает кнутовищем направление и снова неизвестно чему улыбается. То ли славной октябрьской погоде, погожему дню, то ли от того, что помог человеку, пусть в такой малости, но помог. Как привык крестьянин помогать всем и вся.

Хлеб наш...

Племянник вернулся из пригородной деревни, где когда-то жили наши предки, где он не был лет тридцать. Юматово разрослось, появился асфальт, новые коттеджи... Но огорчило, что не стало пекарни. Побывавший во многих богатых и привлекательных странах, посещавший там фешенебельные магазины и рестораны, он по старой памяти хотел купить здесь простую буханку горячего хлеба. Того самого, настоящего, который подавали в брезентовых рукавицах через окно и говорили: «Не обожгись, пацан». А он радостно обжигался и ломал хрусткую корочку. Он всегда помнил этот вкус, запах...

Такого хлеба ныне и в Питере с Москвой не найти. И в Волгограде, понятно, тоже. С настоящим хлебом во всей России всё хуже и хуже. Однажды в поселке Линево, что в Жирновском районе, я купил (последние, с витрины) лишь две заветные буханки. А так бы и десять взял, чтобы дарить друзьям и знакомым, чтоб они радовались вместе со мной хлебу, который и без масла враз съедается.

Иногда я делаю крюк, чтоб заехать в Новый Рогачик и купить теплого хлеба, почти настоящего. Это немного, что осталось от знаменитого совхоза «Советская Россия». Да людская память о его директоре Викторе Матвеевиче Кусакине.

В начале восьмидесятых я опубликовал в газете материал об овощеводах нашей области. А через день-два в редакцию позвонил Кусакин, что было неожиданно. Попросил приехать в Новый Рогачик.

Ехал я опасливо, ждал разнosa, нравoучений типа «что ты там, пацан, навыводывал», как это нередко случалось. Но со мной в кусакинском хозяйстве

разговаривали уважительно, на равных. Показывали птицефабрику, возили в бригады. Кусакин выдавал подробности о себестоимости, кормах, но больше всего говорил о людях. Чувствовалось, что о них он заботится без усталости, искренне, дотошно, даже въедливо. Тогда подобное удивляло, а должное понимание пришло только теперь, спустя, увы, тридцать лет.

Тогда я «летал по верхам». Торопливо записывал что-то в блокнот, явно не успевая за собеседником. Диктофон в ту пору для журналиста «районки» был роскошью, точнее, недостижимой мечтой. Об этом ныне можно только пожалеть, ведь все размышления и предложения Кусакина, в частности, о равнодушном, бережном, наконец научном отношении к земле и прогрессивных технологиях, актуальны и сегодня. Само слово «земля» он произносил протяжно, веско, после чего сложные вопросы оценки земли в баллах становились простыми, как и агрономическое труднопроизносимое — «бонитет почв».

— В Киквидзенском районе, к примеру, почва чуть больше восьмидесяти баллов, у нас сорок семь. А плановое задание одинаковое. И ведь расценки одинаковые? — как бы задаёт он мне вопрос.

— Так надо всё поменять, — отвечаю ему на полном серьёзе.

Мне тогда казалось, что проще простого использовать ценность земли в виде переводного коэффициента, создавая преференции, определяя планы, устанавливая дотации, поощрения, вручая награды. В ту пору я наивно верил, что если правильно и толково об этом написать в газете, то всё может измениться к лучшему. И вместе с другими журналистами шумел со страниц газет, с экранов ТВ (к телевидению тогда допускали не только депутатов и шоуменов) о дифференцировании земли по качеству, об этой значимой истине. Увы, это так и остаётся неискоренным тормозом сельского хозяйства и по сей день.

Разговоры разговорами, а обед по расписанию в совхозной столовой. Здесь поверх всего — запах свежее испеченного хлеба. В восьмидесятых годах его пекли во многих хозяйствах, но у Кусакина он заметно отличался пышностью, той самой хрустящей корочкой, несколько дней лежал не черствея.

Помню, главный агроном совхоза Яхимович поначалу показался мне слишком пожилым и скучноватым. Как-то не верилось, что урожайность на этих землях возросла почти втрое во многом благодаря именно ему, заслуженному агроному РСФСР. А Иосиф Леонтьевич продолжал увлеченно рассказывать мне, и чем дальше, тем интереснее, про механизированную подкормку овощных культур непосредственно во время полива, про широкозахватные машины, которые в овощеводстве они стали применять одними из первых... И конечно же, как его «нагибают конторы», диктуя — когда, где и что сеять, о чём я слышал десятки раз и давно перестал этому удивляться.

Раньше конторы и управления, теперь отделы и департаменты — извечные препятствия инициативам и здравому смыслу. Без них вроде как ничего нельзя вырастить на нашей благословенной земле. Городищенский район, например, был образован ещё в 1935-м, но впоследствии не однажды, а десятки раз менял границы своих поселений, преобразовывал сельсоветы и поссоветы, наконец и вовсе влился в территории других районов. В 1977 году вновь возродился из фрагментов соседних районов, опять передвигал границы и прочая, прочая... Просто пир для чиновников, когда снимают-вешают вывески, меняют печати, кучи бланков, утверждают десятки подзаконных бумаг и т. д. и т. п. Когда можно важно ответить по телефону: «Вы что, не знаете? У нас реорганизация!...» Когда просьбы-заявления механизаторов, водителей, доярок или того же совхозного агронома можно положить в долгий ящик, а то и в корзину выбросить.

Перемещусь ненадолго в столицу региона. Как-то зашел в бывший областной комитет по печати и информации, что на Рабоче-Крестьянской. В кабинете, где некогда работали знакомые журналисты, а позже «комитетчики», теперь сидела симпатичная женщина лет тридцати. Её отчасти прикрывал «тыл» монитора.

— Не подскажите, где теперь находится издательство? — побеспокоил я даму.

— Здесь теперь министерство печати. Я не вахтер, ничего определенно-го сказать не могу, к тому же я очень занята.

Да она действительно занималась желанным делом. Но, ссылаясь на занятость, не учла, что позади стоял шкаф со стеклянными дверцами, где четко отражался монитор компьютера с пёстрой раскладкой карточного пасьянса...

...Кусакин работал в привычном ритме, отвечал на звонки, расталкивал документы, давал пояснения и совсем не тяготился моим присутствием.

Зашел мужчина лет пятидесяти, с заявлением на увольнение. Было видно, говорили они с Кусякиным на эту нелегкую тему не в первый раз.

— Раз уж решил... назад сдавать не буду... Обидно, что на том же комбикормовом или на станции механизаторы получают не меньше нас. Так они ж восемь часов отработали и до свиданья. А мы как чертоломим!.. И без выходов порой. Вы-то, Виктор Матвеевич, знаете, как оно, зерно, достается!

Кусакин всё ж пытается удержать опытного механизатора, но... Позже объясняет мне, что десятка два уволилось за последнее время. И ведь не рвачи какие-нибудь, а мастера-хлеборобы, классные овощеводы.

Когда послеобеденная суэта улеглась, Кусакин, вроде переводя разговор на другую тему, обыденно поведал о том, как, возвращаясь недавно из города, подвез по пути дотоле незнакомую женщину.

— Разговорились. И вдруг она возмущенно выдает: «У вас в совхозе сестра моя работает. Всё ей удивляюсь — это ж просто адский труд!» Но ведь и зарплата высокая, сто пятьдесят в месяц, — возражаю ей. А она прямо с усмешечкой: «Я вот на переезде дежурной работаю. Так у меня с премиальными побольше выходит».

У меня чуть руль из рук не выскочил. Неужели поднимать и опускать шлагбаум труднее, чем жариться в поле по десять часов? Да еще добиваться высоких, а то и рекордных урожаев. У нас в совхозе плановая урожайность вдвое превышает среднюю по области и даже достигла требований ВДНХ. Но вот парадокс. Объемы растут, а зарплата падает.

— А что же вы молчите об этом? — по-мальчишески дерзко укорил я Виктора Матвеевича.

Он оглядел меня как бы заново и подтянул к себе стопку бумаг. Протянул мне рукописный листок с заголовком «Первому секретарю Городищенского райкома КПСС...».

— Почитай-ка хоть это, посвежее...

В ту пору критические послания в адрес главного в районе партийного босса являлись, мягко говоря, редкостью. Общий смысл кусякинского письма был прост: планы завышенные, влекущие снижение зарплат работников совхоза, но при этом «не построено и не ожидается ввода новых орошаемых площадей. Не освоено и не намечается ни рубля капиталовложений по сельскохозяйственному, но согласно постановлению райкома и райисполкома необходимо планировать среднюю урожайность овощных культур в 430 центнеров с гектара. А ведь и без того плановая урожайность в совхозе более чем вдвое выше, чем в других хозяйствах. Дирекция и рабочком просят сообщить для разъяснения коллективу, чем руководствовались бюро райкома и райсовет, утверждая такие плановые задания?»

За подобные письма и не любили в больших кабинетах, увешанных грамотами и знаменами, Виктора Матвеевича Кусакина — мол, дерзок и «череочур умный»...

...Сначала заглянул, оценивая ситуацию, а затем вошел конторский служащий с вопросами о предстоящем волейбольном турнире, о деньгах на призы. Видя моё недоумение, Кусакин пояснил, что эти соревнования проводятся в совхозе ежегодно. Что, грешен, согрело мое юношеско-спортивное сердце побольше, чем холодноватые рассуждения о семенном фонде. Я даже вызвался принять в них участие и, может, впрямь принял, если бы вскорости не уехал в Москву. Представьте, что волейбольный турнир имени Виктора Матвеевича Кусакина до сих пор проводится в Новом Рогачике ежегодно в феврале. Это удивительно, если учесть общий упадок любительского сельского волейбола в нашей области...

С Кусакиным в последний раз я встретился на областной партконференции, куда меня направили за материалом для газеты. Обычное по тем временам убаюкивающее действие с президиумом и докладами по бумажке. Можно было вполне пару раз вздремнуть под бубнящий говор соседей. Но неожиданно разногласия стихла. На трибуне стоял Кусакин и без всяких «тезисов» отчетливо говорил о наболевшем и потому понятном каждому хозяйственнику. Про пресловутые сто пятьдесят рублей в месяц для овощеводов, особенно женщин, вкалывающих от темна до темна, выращивающих сотни тонн необходимой для всех и каждого продукции. Директор наглядно доказывал, что они могли бы получать в полтора-два раза больше, если бы не срезали расценки.

Он говорил не о достижениях совхоза, хотя они были всегда, а о простых работах. О хлебобобах, которые не на черноземах, а на скудных светлокаштановых почвах с невысоким «бонитетом» сумели поднять урожайность выше двадцати центнеров, а теперь увольняются.

По первым рядам, помнится, пошел ропот и поглядки в президиум: почему, мол, не остановите вольнодумца. Не остановили. Потому что Кусакин говорил о выстраданном, говорил с точными выкладками и расчетами.

Совхоз «Советская Россия», колхоз «Знамя коммунизма»... Кому-то эти названия кажутся ныне излишне возвышенными, лозунговыми. Но за ними, при всех сложностях, определенный романтизм тех незабываемых лет. Искренность. Вера в близкое хорошее. В отличие от многих других хозяйств с громкими именами, кусакинский совхоз оправдывал свое название. Достаточно сказать, что четверть объема продукции всего района давал ежегодно этот совхоз. А по четыре сотни центнеров овощей с этих скудных земель? Это вообще фантастика. Но так было — благодаря Кусакину, Яхимовичу и многим-многим другим профессионалам сельского хозяйства тех лет.

И хлеб наш был настоящим.

Четверть века привлекают и волнуют
зрителя спектакли волгоградского
Нового Экспериментального театра.
Все эти годы его возглавляет народный
артист России, художественный
руководитель,
главный режиссёр и директор
Отар Джангишерашвили, чей юбилей
практически совпал с 25-летием
самого театра.



TEATP



Будет новый ласковый дождь

Для того чтобы случилось чудо, надо просто верить в чудеса. А сорок шесть долларов и плюс еще пятнадцать центов — это вовсе не плата за волшебство, обещанное продавцом дождя Биллом Старбаком. Это тот кусочек необходимой реальности, без которого невозможно заставить людей, измотанных проблемами и привыкших к цифрам и формулам, поднять глаза к небу.

Спектаклем по знаменитой пьесе Ричарда Нэша волгоградский Новый Экспериментальный театр завершил свой юбилейный сезон. Конечно, речь не о том, чтобы подводить какую-либо жирную черту, однако 25 лет — это серьезно, это четверть века. «Продавец дождя», с одной стороны, — бесприкрытый билет для любого театра. Это

столь удачная лирическая комедия, что ее обкатывают на мировых подмостках уже четыре десятилетия. С другой стороны, НЭТ сумел использовать эту незамысловатую бродвейскую притчу как некую заметную веху на своем творческом пути, то есть продекларировал этим спектаклем своё жизненное кредо. По большому счету, 25 лет борется театр с засухой в человеческих душах, проливая спасительный дождь от премьеры к премьере, от сезона к сезону. Но эта веха — не для того, чтобы останавливаться на долгий расслабляющий привал. Напротив, для того, чтобы идти дальше, оглянувшись, быть может, лишь однажды.

За свою историю волгоградский театр приобрел новый статус. НЭТ следует называть авторским театром, история которого теснейшим образом связана с личностью его основателя — Отара Джангшерашвили. Благодаря ему НЭТ делает все, чтобы заставить людей оторвать взор от цифр, статистики и сводов правил. Театр помогает людям пройти через тот освежающий душу дождь, который дороже, чем рубли и центы. И сегодня за этим «дождем» приходят в театр повзрослевшие дети тех зрителей, что рукоплескали на первой премьере, не обращая внимания на брызги настоящего фонтана, в струях которого поднимались к небу вечно живые Ромео и Джульетта.

Театр Отара Джангшерашвили (а его правильно именно так и называть) — это воплощенная мечта амбициозного и когда-то плохо говорившего по-русски абитуриента из Гори. А ещё — зеркало новейшей истории России. Театр, родившийся на заре пресловутой перестройки в конце 80-х годов прошлого века, прокладывал дорогу по всем ухабам смены эпох. И если рыночные реформы давались стране с трудом, то изменения людского сознания происходили с пугающей быстротой.

В Волгоград Отар Иванович приехал именитым режиссером и заслуженным артистом Карельской АССР. Ученик мэтров, народных артистов СССР Михаила Туманшвили и Додо Алексидзе, он не только успел поскитаться по театрам Москвы, Ульяновска, Одессы, но и оставил очень заметный след в этих городах. Вырос грузинский мальчик, когда-то игравший царя Ираклия в ватной бороде на школьной сцене. Повзрослел абитуриент ВГИКа, видевший себя модным кинорежиссером, обидевшийся на предложение председателя приёмной комиссии Тамары Макаровой, уже тогда народной артистки СССР, «подучить русский язык». Покинул златоглавую Москву юный «тусовщик», читавший Брехта и под портвейн слушавший стихи модных поэтов под ногами бронзового Пушкина. Юрфак в Институте имени Герцена, сессии и походы по столичным театрам, срочная служба в танковых войсках Советской Армии, учеба в Тбилисском театральном институте — все это осталось в воспоминаниях. Твердо был выучен один из главных уроков: для творческого человека страшны не «огонь и вода», а «медные трубы».

Этот урок преподавал старшекурснику Отару его учитель Дмитрий Алексидзе.

Тогда Джангшерашвили с друзьями-студентами поставил «Гамлета». Шекспировская пьеса была изрядно «подправлена». Спектакль состоялся и получил, как говорится, немалый общественный резонанс. Недоучившийся молодой режиссер раздавал интервью и купался в лучах славы.

— Я купил себе шляпу, сунул в рот сигару и в таком виде явился в институт. Первым, кого я здесь встретил, был мой наставник, — вспоминает сегодня Отар Иванович. — В его руках я заметил газету с заголовком «Мой Гамлет». Я приготовился выслушать похвалу в свой адрес, но вместо этого получил ушат ледяной воды. Дмитрий Александрович был в бешенстве. Он разорвал газету на клочки и кричал на меня такими словами, что при всем торжестве гласности я не берусь и сегодня дословно их цитировать. Зато я навсегда усвоил: «Запомни, если начнёшь козырять своими успехами, тебе как художнику конец».

К приезду в Волгоград за плечами режиссера были годы работы в Петрозаводске и Горьком. В Карелии он ставил спектакли, которые уже стали ассоциироваться у зрителей с его именем. «Дни нашей жизни» по Андрееву, чеховский «Дядя Ваня», «Цемент»



по Гладкову, «Закон вечности» Думбадзе, «Иркутская история» Арбузова — каждая из премьер становилась событием. Олег Ефремов возил из столицы молодых актеров «Современника» в Петрозаводск — показать, «как можно и как надо». Здесь начал выкристаллизовываться костяк труппы, впоследствии ставшей коллективом НЭТ. Когда, вопреки его желанию, но по сложившимся обстоятельствам Оtar Джангшерашвили был вынужден покинуть петрозаводский театр, за ним последовали Александр Таза, Лидия Матасова. Их путь пролегал в красивый, старинный волжский город Горький. Уверенно, размахисто взялся Джангшерашвили за работу. Местный драмтеатр в предперестроечные восьмидесятые блистал и «звездился» — одних народных артистов в труппе было больше десяти. Не всем по нраву пришлись амбиции и строгость «пришлого» режиссера, «посмеявшего» перечить «маститым» и предпочитавшего все больше смотреть в сторону молодых актеров. Публика выстраивалась за билетами на его спектакли с раннего утра, а ему приходилось тратить время на всевозможные собрания и «разборки» с директором. Казалось, близка мечта «создать свой театр!». Но он уже понял и обратную сторону парадной медали. Знал, как губят творческую жизнь закулисные склоки, как гаснет живая искра искренности в казенных кабинетах.

— К моменту, когда градус интриг и дрызг в горьковском театре стал «зашкаливать», — говорит Оtar Иванович, — я принял для себя решение: ухожу. Вообще ухожу из театра. В кинематограф.

Он покидал горьковский театр с тяжёлым сердцем — слишком много уже было отдано ему. Он успел закончить высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе под руководством народного артиста СССР А. Гончарова.

Но как раз в это время пал, как чеховский «Вишневый сад» под топорами новой формации, Волгоградский драматический театр им. М. Горького. Перед карт-бланшем Джангшерашвили не устоял: в Волгограде ему предложили то, чего он ждал так долго — создать «свой театр». И он его создал — первый в России театральный коллектив, работающий на контрактной основе. Впервые один человек в своем лице объединил полномочия главрежа и директора. Если угодно, то и «парторга» тоже.

Здесь новым и непривычным было абсолютно все: от номерков в гардеробе до трактовки событий в средневековой Вероне. Волгоградские девочки начали влюбляться в молодых актеров театра, приглашенных Отаром Ивановичем из разных городов России. Волгоградские мальчики приглашали своих пассий на «Бабочку», «Самоубийцу» и «Маскарад». Зарубежные гастроли НЭТовцев стали предметом зависти. Первый международный театральный фестиваль, организованный НЭТом, заставил заговорить местную прессу, а в баре «Ромео» вовсю обсуждались новейшие тенденции в театральном искусстве. Вместе с тем на «варяга» с кавказским акцентом волгоградские театралы смотрели косо: не могли простить ему мифической вины в смерти волгоградской драмы — театра с богатой историей, вписавшего свою яркую страницу в летопись города. Старожилы Сталинграда—Волгограда привыкали к новому, да ещё экспериментальному, театру мучительно.

НЭТ же обрушил на волгоградцев тот самый освежающий дождь и, пожалуй, даже с грозой. На первых своих афишах он изображал золотую гранату-лимонку «Ф-1», отличающуюся, как известно, большим радиусом поражения. Театр существует для публики, а не для режиссера, всегда был убежден Джангишерашвили, и по сей день НЭТ верен этому принципу. Жизнь не стоит на месте, и театр не может не меняться вместе с ней.

Сегодня можно услышать, что НЭТ «уже не тот». Злоязыкие утверждают, что с помощью бродвейских «ненапряжных» вещей хитрый менеджер от искусства Отар Джангишерашвили делает сборы. И разве можно всерьез воспринимать такие упрёки в адрес человека, на чьем счету «Женитьба Фигаро» Бомарше и «Бешеные деньги» Островского, «Дядя Ваня» и «Чайка» Чехова, «Власть тьмы» Льва Толстого и «Женитьба» Гоголя, «Старший сын» Вампилова, «Цареубийцы» Алексея Толстого, «Метеор» и «Великий Ромул» Фридриха Дюрренматта и «Отель двух миров» Шмитта? Да разве это всё! Народный артист Российской Федерации, кавалер российского ордена Почета и грузинского Чести, лауреат Государственных премий РФ им. К. Станиславского и Ф. Волкова, академик Международной академии театра, Отар Джангишерашвили прекрасно понимает, что культура в современной России задвинута на задворки. И не оттого ли он все никак не успокоится, все бьется за проведение в Волгограде театральных фестивалей, открытие Дома актера, за зарплаты действующим актерам и достойные пенсии ветеранам сцены. Зачем главе НЭТа с 2006 года ежегодно проводить конкурс-фестиваль молодых театральных коллективов, отдавая сцену школьникам, «замахивающимся», слава богу, на Чехова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Островского?

Не «менеджер» Джангишерашвили с его железной хваткой «родил» идею смотраконкурса «Сталинград — город героев», а народный артист. Прошедшие школу НЭТа актеры сегодня играют в Государственном академическом Малом театре, МХАТе, театре имени М. Ермоловой, Театре Луны. Отар Джангишерашвили — профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры Волгоградского государственного института искусств и культуры, председатель общественного совета министерства культуры Волгоградской области, председатель Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

По его глубокому убеждению именно состояние местной культуры создаёт престиж региона: «Культура всегда была центром философии, психологии, всего социума во все времена и у всех народов, оздоровить бюджет за счет сокращения затрат на культуру и искусство невозможно. Известно, проходили уже, в таком случае не будет вообще ничего — ни культуры, ни бюджета». Вспоминается ещё одно замечательное высказывание. Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты Александр Калягин говорит так: «Сэкономив сегодня на финансировании театра, музея, библиотеки, мы завтра потратим втрое больше на строительство новых тюрем. И это «завтра» обязательно наступит, и уже «завтра» менять политику будет поздно».

Что томит душу режиссера, нетрудно понять, внимательно наблюдая, как разбухает театральный репертуарный «портфель». Два года назад спектакль «Цареубийцы» по пьесе «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого прозвучал подобно залпу тяжелой гаубицы под командованием опытного бомбардира. Произведение, впервые увидевшее свет рампы в конце XIX века, прозвучало в 2011 году в волгоградском Новом Экспериментальном театре столь своевременно-современно, словно написано было расторопным хроникером-аналитиком.

Когда шабаш становится повседневностью, когда тесно нежити на горе Брокен, приходит беда, а на подмостки НЭТа возвращается некогда пребывавшая в подполье андеграунда «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикта Ерофеева. Шокирующая, ханжам на радость, матерщиной и несравнимыми ни с чем ароматами психиатрической лечебницы.

«Нас волнует состояние общества, идущего по пути отрицания духовности, вседозволенности, разрушения, — не устает повторять Отар Джангшерашвили. — Общая задача — остановить инерцию злобы, вседозволенности, желания хаоса и потери моральных и нравственных ориентиров. Необходим откровенный разговор о проявлениях распада, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И театр начинает этот диалог и раз, и два, и сколько потребуется. Наша задача — подставить то зеркало, о котором говорил Гоголь».

Два года назад по приглашению театра Руставели НЭТ отыграл два спектакля в Тбилиси — драму ««Цареубийцы» по пьесе А. Толстого и комедию «Примадонны» современного драматурга Кена Людвиг. Накануне своего юбилея театр позволил себе устроить гастрольную поездку, которую вполне можно рассматривать как своего рода экзамен. Ведь игра на «чужом поле», перед непредвзятой публикой гарантирует объективную оценку.

— Мы поехали в Тбилиси не только потому, что я сам представитель грузинского народа. В столице Грузии несколько десятков театров, у нее прочная слава театральной Мекки. Там и сейчас проходит по несколько крупных международных фестивалей в год, — говорит Отар Иванович, — попробовать свои силы перед столь искушенной публикой было большим соблазном.

И что же? В первый день публика не отпускала артистов со сцены после спектакля 20 минут, после просмотра «Цареубийц» — плакала. Во второй день на улице выходящих из театра актеров окружала толпа зрителей. Столько автографов НЭТовцы не раздавали никогда.

Поездка в Грузию еще больше укрепила Отара Ивановича в стремлении сделать из Волгограда фестивальный город. Его кипучей энергии Волгоград обязан проведением «Театральных диалогов» — встреча волгоградских театров с маститыми столичными критиками состоялась в прошлом году. А началось всё еще в 1991-м, когда был реализован первый масштабный проект НЭТа — Международный театральный фестиваль с участием коллективов из Италии, Германии, Англии, Америки, Египта. Традиция родилась и развивается. Вот и на предстоящий 26-й театральный сезон НЭТ уже заявил о проведении в Волгограде театрального фестиваля. Значит, будет новый ласковый дождь для наших черствеющих в суеде и неустроенности сердец.

Александр РУВИНСКИЙ
Фото автора

Нынешней осенью отметил юбилей наш коллега, волгоградский писатель Алексей КУЧКО. Член Союза писателей России, он является автором книг «За хозяина», «Филиал», «Приметы», «Золото высшей пробы» и других. Его творчество отмечено Всероссийской литературной премией «Сталинград» и Государственной премией Волгоградской области. В «Отчем крае» Алексей Кучко несколько лет трудится редактором отдела очерка и публицистики. Сотрудники и читатели журнала сердечно поздравляют Алексея Ивановича с семидесятилетием.



ЖИВА РОССИЯ!



Феномен Парчака

Резкий разворот от личного кабинета второго секретаря райкома партии, от властных полномочий, льгот и авторитетного окружения в сторону воплощения сомнительной идеи стать механизатором широкого профиля, причём добровольно — такой поступок был непонятен многим, его называли, мягко говоря, странным. Но все сомнения, колебания, тревожные раздумья уже были позади, и Виктор Парчак еще с пятью товарищами твердо настроился брать землю. В ту пору, а на дворе стоял 1990-й, у них не только не было техники и денег — никто из новоявленных земледельцев практически не сидел за рулем трактора, а уж комбайна тем более.

Виктор Андреевич видел, чувствовал, что некогда монолитная, всемогущая и всеохватная партийная структура долго не удержится в государстве Российском, уже замаячила тень смутного времени. Но, с другой стороны, и руки никто не вязал: выбирай, берись за любое дело и, если горазд, разворачивайся, впрягайся. Достигнешь успеха — как говорится, с богом, твоя заслуга! Правда, очень немногим это удавалось.

У него подрастали три сына, нужно было ставить их на ноги, давать образование, выводить в люди. Вместе с тем была и надежда, что сыновья смогут проникнуться его делом, продолжить его. Да, жаль, конечно, что нет практических навыков работы с землей, техникой, сельхозорудиями. Но зато было многое другое: твёрдый характер, неустанность, воля, крепкие руки, голова на плечах и главное — тяга к земле, живой, чуткой, благодарной к тем, кто отдает ей всего себя. К слову сказать, многие партийные функционеры тогда завладели приличными полями, но мало кто из них стал служить земле верой и правдой, за них это делали другие.

Виктор Парчак свою землю внаем отдавать не собирался. Как чувствовал, что преданность ей непременно будет вознаграждена. Конечно, и он сам, и вся его артель понимали, что на первых порах будет трудно. Но насколько трудно, этого никто не мог даже предполагать! Временами наступала полная безысходность — казалось, всё, крах неминуем и придется мыкать горе. Но в очередной раз спасала прошлая закалка, которая, к счастью, была.

Прежде чем вспомнить, как это было, попробуем представить Виктора Андреевича, как говорится, в полный рост. Мужик он действительно рослый, видный и сильный. Родился в Подмоскowie, в семье украинца Андрея Парчака и уроженки наших краёв Кати Сапожниковой. Вскоре после его рождения молодая семья переехала на родину жены в Быково, где и прошли детство и юность Виктора. Самой большой отлучкой из родных мест была служба в Закавказье, а вскоре и переход на комсомольскую работу.

Так бы и быть ему пожизненным партийным функционером. Правда, без соответствующего образования большую карьеру не сделаешь, и он поступает... не в Высшую партийную школу, куда его прямо-таки толкали, а в Волгоградский сельскохозяйственный институт, заочно, который и оканчивает по специальности «зооинженер». А будучи уже фермером, получает еще и диплом Саратовского института социальных проблем и управления. Так что мужик он грамотный, образованный, подкованный. Конечно, не агроном. Ну и что? Сколько их, агрономов по образованию, не в силах справиться с агротехникой, приводят хозяйства к полному развалу и запустению! И в то же время есть примеры, когда люди с учительским дипломом, но любящие землю творили чудеса, поднимали хозяйства, вели их к процветанию. Вот и получается, что человеку, решившему работать на земле, нужны, прежде всего, природная сметливость, чувство хозяина и широта взглядов. А уж этого Виктору Парчаку было не занимать.

Помогало и то, что район он знал, как свои пять пальцев. Со многими специалистами, руководителями был в тесных деловых отношениях, имел настоящий, заслуженный авторитет. И не потому что был при партийном чине, а потому что, имея этот самый чин, тратил силы и энергию в интересах дела и во благо людей. Вот один штрих. В свое время Виктор Андреевич в совхозе «Новоникольский» работал освобожденным секретарем парторганизации. В то время в хозяйстве произошёл ну совершенный упадок показателей по животноводству. Парчак взялся за дело основательно и принципиально, и через некоторое время удалось добиться наращивания объемов продукции настолько, что хозяйство вышло на первое место в районе. Так что некоторый опыт был, что давало силы и надежду на успех в новом деле.

Получить землю не составило труда, и артель сколотил он быстро. Люди попались заинтересованные, работающие, на пятерых приходилась тысяча гектаров. Ровно по двести на каждую крестьянскую душу. И место подобрали удачное — в двенадцати километрах от Быково, в сторону Александровки. Асфальтовая дорога почти до места, недалеко линия электропередачи. Но вот само поле, бескрайнее, неоглядное, наводи-

ло смертную тоску. Земля была практически бросовой, худой и заросшей непроходимым бурьяном. Здесь водились косули, кормились, спасались в чертополохе. Когда весной артель приступила к вспашке, кое-где приходилось орудовать и топором — осот, татарник стояли стеной. Но запущенное, заброшенное поле, голое, необжитое — это были, как говорится, цветочки. «Ягодки» начались потом.

Кроме решимости и желания, у них не было ничего. Слава богу, тогда к новоявленным фермерам власть все-таки благоволила и льготный кредит заполучить удалось. И вот на их счёте аж двести тридцать тысяч рублей. Невиданные деньги, но и груз ответственности неимоверный. Закупается техника, два трактора «Алтаец», два Т-150, два комбайна «Енисей», необходимые сельхозорудия, оснащаются, обустраивается стан, на котором они потом будут дневать и ночевать, валясь от усталости. Иногда приходилось не спать по трое суток. А нужно было осваивать управление техникой, уметь пользоваться плугом, боронами, устранять поломки. Ещё больше беспокоило главное: на дворе май, а поле не только не засеяно, но и наполовину не вспахано. Чем расплачиваться, как рассчитываться за кредиты? Решили засеять это поле просом. Он вспоминает, как в один день торопил своих товарищей, убеждал, что в ночь пойдет дождь, нужно успеть... Почему, кто и как его надоумил, но уверенность в дожде была полной, и это их спасло. Дождь действительно полил и шёл двое суток, хорошо промочив подгнившее поле. И просо было посеяно в благодатную почву. В этом же году они намолотили его по двадцать пять центнеров с гектара. Полный и несомненный успех!

Правда, радость омрачалась все более обострившимися трениями между собой. Это тяжёлое, изнурительное лето оказалось не всем по силам. Артель распалась. С того момента и по сей день работает с Парчаком самый стойкий из всех Петр Смутнев — ближайший родственник, муж сестры. Пожалуй, это тот случай, когда ни у кого не повернется язык сказать о семейственности с осуждением. Такая связка только способствует делу — они ведь не бюджетный пирог делят, а работают до седьмого пота, добиваясь отличных результатов и прироста продукции. К тому же понимают друг друга, нет выматывающих душу свар и попреков, а есть вера в успех несмотря ни на что.

Работа у них ладится. Направление главного агроудара — Быковский район, благословенный арбузный край. И кто бы осудил Виктора Андреевича, если бы он со своим компаньоном-родственником, как большинство из тысячи фермеров, занялся бахчой. Действительно, в районе зона полупустыни, бедные, худые, светло-каштановые почвы перемежаются с солонцами и супесчаными, подходящими, пожалуй, только для арбузов и дынь. И фермеры, кстати, не чураются бахчевых, каждый год отводят под них до тридцати гектаров.

Правда, в иные годы до сбора и реализации арбузов у них просто не доходили руки. Нужно было успеть управиться с просом и озимой пшеницей. Эти культуры для Виктора Парчака куда важнее и ценнее. К тому же бахчевые стали пользоваться повышенным спросом только в последние годы, да и реализация их — дело непростое. И все же ставка была сделана на эти культуры. Конечно, Виктор Андреевич не обольщался насчет погоды и природы. Летнее пекло, сушь в наших краях — явление привычное, обыденное. С самого начала он не стал надеяться на дождевую милость и идти на бессмысленный риск, применяя на своем поле традиционную агротехнологию. Ведь он вкладывал не обезличенную, а свою кровную копейку, и вложения эти в землю должны были не просто окупаться, а приносить прибыль. Иначе зачем заниматься выделкой, коли овчинка того не стоит?

Выход был один-разъединый: сеять только по парам, качественным, ухоженным, с достаточным запасом влаги. Поэтому с первого года крестьянствования Виктор Парчак без колебаний отвел половину пашни под пары. И парам все эти годы уделялось самое пристальное внимание. Представьте, первое паровое поле он обрабатывал одиннадцать раз! Не надо только хвататься за голову, представляя понесенные хозяйном траты. Во-первых, это было на заре его земледельческого века, во-вторых, нуж-

но помнить, в каком состоянии были поля, и в-третьих, тогда все-таки горячее не так дорого стоило. Зато теперь Виктору Андреевичу любо-дорого иметь дело с парами. В 99-м, злополучном для большинства земледельцев году на его паровом поле было сделано всего... две культивации. Это какая же экономия средств, материальных ресурсов, трудовых и прочих затрат! И какая отдача! Другие в благоприятное по погодным условиям лето озимой пшеницы столько не намолачивают. А тут тридцать четыре центнера с гектара бесценной яровой пшеницы!

Кстати, дети, на которых возлагались надежды, не подвели: и первенец Виктора Андреевича Андрей, и племянник Роман Смутнев прониклись интересом к семейному делу — ещё в школьные годы на каникулах, бывало, мастерски обрабатывали паровое поле, без понуканий, посулов и какого-то особого вознаграждения. Охотно, с удовольствием подростки целое лето пропадали на отцовских полях и в своем трудовом рвении нисколько не уступали родителям. Потом любо-дорого было смотреть на ровное как стол поле, с отлично обработанной поверхностью и, насколько видит глаз, без единого сорняка.

Благодарная земля исподволь, но верно набирала силу для очередного, но не последнего урожая. В наше несуразное время трудно что-либо предугадать, спрогнозировать. Как говорится, знал бы, так подстелил соломки туда, куда должен упасть. Дикий, необузданный рынок с криминальным душком засосал в свой круговорот если не всех, то многих. Не обошли стороной трудности и фермера Парчака. Нет, что зависело лично от него, он маху не дал. За все эти годы практически не было ни одного, скажем так, агрономического прокола. Поле его буквально в течение 2-3 лет стало иметь вполне благообразное аграрное лицо, пары сразу и навсегда были поставлены в красный земледельческий угол. И потому естественно и закономерно пошли высокие урожаи. Так, в 93-м году озимая пшеница уродилась по 42 центнера с гектара, чуть меньше намолотили проса — 40 центнеров, были урожаи пшеницы и по 54 центнера, и даже на отдельных участках по 80.

А в среднем за эти годы вышло более 40 центнеров с гектара — фантастика! Ведь мы ведем речь о Заволжье. С такими урожаями, естественно, жить уже можно. Пришел заслуженный достаток, заработанный собственным горбом, руками, светлой головой и безошибочной интуицией. Душа земледельца и сокровенная тайна земли, ее щедрость, отдача, ей-богу, очень тесно связаны. Стоило Виктору Андреевичу не побыть на поле несколько дней, как при встрече с ним ему казалось, что растения вроде бы привяли, поникли, переживают его отсутствие. А как объяснить такой его феномен, как видение невидимого? Идет сев пшеницы у соседей. Виктор Андреевич смотрит вслед сеялке и видит-чувствует, что некоторые сошники работают плохо, то ли забились, то ли какая другая поломка, но семена в почву не попадают. Потом, после всходов, все эти огрехи видны как на ладони. И потому неудивительно, что соседский урожай бывает в два-три раза меньше, чем его.

Будь у нас убедительная государственная аграрная политика, твердые, незыблемые и обязательные для всех «правила игры», Парчаку было бы грех жаловаться. Все, что требуется от него, земледельца, он делает безупречно, виртуозно, с завидной отдачей. Такой же обязательности хочет и требует от других. Но положенные в 95-м году в Агропромбанк деньги «накрылись». Виктор Андреевич, как и тысячи других вкладчиков, остался, как говорится, с носом. А ведь дел еще невпроворот, позарез нужны оборотные средства. Пришлось тогда ему худо, был на грани полного разорения. Но опять же благодаря характеру, упорству и упрямству пережил и это «ограбление».

Сейчас на его полевом стане почти идеальные условия. Асфальтовая дорога, проложенная своими силами, идёт до самой конторы-вагончика. Построена и подстанция, поставлены столбы, протянуты провода, и теперь полевой стан полностью электрифицирован. Закончено строительство ангара, где хранится зерно. А ведь начинал лишь с маленькой асфальтированной площадки, потом ставил над ней крышу и, наконец,

возвел стены. А с 1999 года хозяйство заимело и статус семеноводческого. Так что дела мало-помалу поправились.

И жить бы ему поживать и дальше, но впереди поджидала еще одна проблема. Как и куда девать выращенное на полях добро? Особенно остро этот вопрос встал еще в конце прошлого века, когда озимой пшеницы, к сожалению, фуражной, уродилось столько, что она сбывалась за бесценок. И вот тогда фермер в очередной раз крепко призадумался. Спрашивается, кому нужны такие урожаи, если на них нет спроса, нет настоящей рыночной инфраструктуры по сбыту и реализации? Зачем самому себя подкашивать и вгонять в убытки? Опять же вывод напрашивался очевидный: нужно выращивать то, что в любой год будет востребовано, пойдет нарасхват.

По нашим стандартам одним из главных показателей качества пшеницы является клейковина: чем выше она, тем лучше зерно. Но сколько ни бился Виктор Парчак, вырастить зерно с содержанием этой самой клейковины более 16 процентов не получалось. А вот яровая дает клейковину в 34 процента! Как говорится, почувствуйте разницу и представьте, какой хлеб будет из такой «золотой» пшенички. Но одно дело — просто решиться, рискнуть, а другое — получать урожай, дающий существенную прибыль. Сейчас Виктор Андреевич с этой задачей справляется блестяще. Конечно, не надо забывать, что место действия — Заволжье, самая что ни на есть зона полупустыни. Она может сыграть злую шутку даже тогда, когда от природы не ждешь никакого подвоха. Вот, к примеру, представим, как может повредить благодатный, обильный весенний дождь сразу после сева яровой пшеницы? Оказывается, может. Причём не меньше самой злющей засухи. А вышло вот что. На второй день после этого злополучного дождя зарядило такое пекло, что земля враз покрылась коркой, и такой, что асфальт мягче. А всходов еще не было. Срочно пришлось рушить ее, чтобы дать возможность росткам пробиться к свету. И все равно всхожесть в некоторых местах не превышала шестидесяти процентов. Обидно до слез. Такой желанный, такой долгожданный дождик оказался злейшим, лютым врагом. Вот она, зона рискованного земледелия! Думал центнеров пятьдесят получить с гектара, а намолачивал только по тридцать пять...

Наконец, хочется высказать еще одно соображение. Своеобразный феномен Виктора Парчака, его удивительные, невероятные результаты долгие годы местную власть не интересовали. Достаточно сказать, что на его поля тогда ни разу не наведалься никто из глав администраций. В районе неурожай, повальное списание посевов, а рядом, на полях Парчака — тучные хлеба, земледельческий оазис. Да разве можно было равнодушно проходить мимо такого уникального явления, разве можно было все это замалчивать?

С тех пор не один год на землях Заволжья хозяйничает засуха. Но только не на полях фермера Виктора Парчака. Сейчас у него на складе десятки тысяч тонн превосходящих семян яровой пшеницы, у других, как и в прошлые годы, — шаром покати. Радоваться бы золотому хозяину, но и он не находит себе места. Спрос на семена есть, а вот вырученных средств кот наплакал. О каком благоденствии тут говорить!

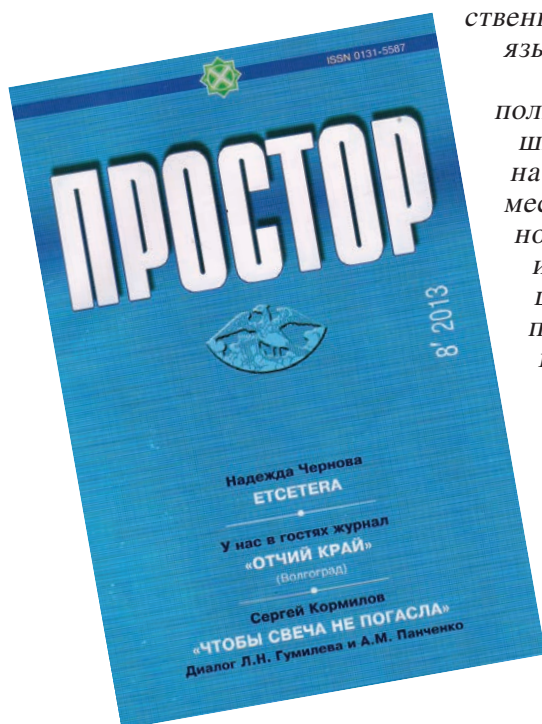
Выход из такого тупикового положения один: ответственным лицам от власти вернуться лицом к своим крестьянам, а крестьянам учиться у таких, как Виктор Андреевич Парчак. Трудностей, конечно, не избежать, но с хлебом будешь.

Алексей КУЧКО



КОНТАКТЫ

Русское слово Казахстана



«Простор» — литературно-художественный журнал Казахстана на русском языке, первый номер которого вышел более семидесяти лет назад. Его с полным правом можно назвать старейшим форпостом русской литературы на евразийском пространстве. В ежемесячно выходящем издании постоянно печатаются русскоязычные прозаики, поэты, литературоведы, публицисты. Здесь регулярно появляются произведения авторов в переводах с казахского, уйгурского, корейского и других языков населения республики, что позволяет более полно представлять читателю все ветви казахстанской литературы.

Ещё одна добрая традиция «Простора» — творческие отношения с литераторами дальнего и ближнего зарубежья, где писатели регионов и республик России занимают ведущее место. Один из недавних отрядных примеров таких связей — публикация в журнале произведений десяти волгоградских писателей и журналистов, авторов «Отчего края». А сегодня у нас в гостях коллеги и собратья по перу из добрососедского Казахстана.

Валерий МИХАЙЛОВ родился в Караганде в 1946 году. Поэт, прозаик, критик, переводчик, публицист. Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института. Более сорока лет работает в печати Казахстана. Автор двадцати книг стихов и прозы. Его произведения публиковались во многих литературных изданиях Казахстана и России, переводились на английский, немецкий, казахский, белорусский, корейский и другие языки. Лауреат нескольких литературных премий, в частности, международной литературной премии «Алаш». Главный редактор журнала «Простор», секретарь правления Союза писателей Казахстана. Документальная проза Валерия Михайлова издавалась в России, Германии, Великобритании. Книга о Лермонтове в 2012 году издана в серии «Жизнь замечательных людей». Стихи включены в ряд антологий, среди которых «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов», «Современное русское зарубежье».



ПОЭЗИЯ

Валерий МИХАЙЛОВ

«Касаясь неба и земли...»

* * *

Душа! Как безумная молния ты шаровая.
Куда ты летишь? Что в миру неприкаянно рыщешь?
А то вдруг застынешь пред чем, трепеща и пылая,
Как будто б нашла, что всю жизнь безнадежную ищешь.

А соприкоснёшься — так взрыв и удушье пожара,
Разрядка... разруха... и мрак преисподней всё ближе —
И тлеешь в бессилье нутром обесточенным шара,
Моля о глоточке огня как спасении свыше.

— Я клетку твою золотую когда-нибудь брошу,
Лишь только избудешь ты бремя пощады и рока,
Насквозь я прожгу задубевшую нежную кожу
И скроюсь навек во мгновенье последнее ока.

Не здесь я сгорю до конца — а в прибежище Света,
Где пламенем горним живёт и сияет округа.
Там лето Господне цветёт, бесконечное лето,
И души становятся снова частицами Духа.

* * *

Дорога уходит в забытое поле,
Где рожь под луной серебром колосится
И в отсвете этом разлито такое,
Как будто б ничто никогда не случится.

Не здесь ли допрежь, до сознания, до жизни
Ты брёл босиком, чуя свежие росы,

И смертной тоскою болел по отчизне,
Сминая травы неприметные слёзы...

Уплыли в моря тихоструйные реки,
Ведь велено водам по миру скитаться,
Но с чем ты, казалось, расстался навеки,
С тем больше тебе никогда не расстаться.

Дорога уходит не в поле, а в небо...
Пусть поле себе на земле остаётся...
И эхо несётся над волнами хлеба:
— Душа не прервётся! Душа не прервётся!..

* * *

На закате снега розовеют, как будто стыдясь,
Что они так белы, непорочны и так одиноки.
Вот слетели с небес и лицом не ударили в грязь —
Но раздалось пространство сиянием чистым, высоким.
И поля, и холмы вознесло, занесло, замело...
Валуны лишь упрямо темнеют, сжимаясь от стужи...
Что черно — то черно, но зато что бело — то бело,
Всё так просто на свете, и это почуяли души...

* * *

Касаясь неба и земли,
Не зная смысла речи,
Цветы недолгие цвели
На поле долгой сечи.

Я в них уснул, и снились мне
Нелепые виденья:
Немые рты в слепом огне
Мученья и забвенья.

Но сквозь клубящуюся муть,
Себя не называя,
Лилась незримой тайны суть,
Прозрачная, живая.

Она была как сон во сне,
Но не могла сказаться.
И не хотелось больше мне
Вовеки просыпаться.

* * *

От забвенья до забвенья
Только морок, только дым,
Сучьев треск, огня шипенье,
Листьев головокруженье
Над потоком мировым.
Как не помнится рожденье,
Так забудется и смерть,

Крови глупое кипенье,
То ли хрипы, то ли пенье,
Дней слепая круговерть.

И душа летит незримо,
Пронизая, как звезда,
Насквозь, неостановимо
Облак морока и дыма,
Ниоткуда в никуда.

* * *

Дремучее угрюмое полено,
Одно в сухом костре ты не горишь,
На золотой огонь шипишь надменно
И как чужое празднику чадишь.

Вокруг тебя трещит и вьётся пламень,
Он щедр на искры и живёт летя,
А ты в себя ушло, как чёрствый камень,
И не глядишь на резвое дитя.

Но вот костёр весёлый догорает,
И стывая его сжимает тьма,
И в серый пепел сучья опадают
Без силы, без надежды, без ума.

И только ты, забытое полено,
Вдруг вырываешь пламень из нутра
И, запоздалый, длишь самозабвенно
Огонь свой синеватый до утра.

Мы все уходим в небо постепенно...
Что наше пламя? — Лишь тоска о нём.
И хворост, и могучее полено —
Гори всё синим ласковым огнём!

Лишь небо бесконечное нетленно,
Что в искрах звёзд надмирно возлежит.
Оно однажды вспыхнет, как полено,
И всё собой опять преобразит.

Дукенбай ДОСЖАН родился в 1942 году в ауле Куланшы Кызылординской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Лауреат Государственной премии, Национальной премии имени М. Ауэзова. Награжден орденами «Парасат» и «Курмет». Главный редактор журнала «Культурное наследие» при Президентском центре культуры. Автор романов, повестей, рассказов, включённых в собрание сочинений в тринадцати томах. Его книга «Трудный шаг» удостоена премии издательства «Молодая гвардия» за лучший современный роман.



ПРОЗА

Дукенбай ДОСЖАН

Кумыс

— Далабай... дорогой мой... — тихо сказал дядя.

Последние два месяца он не вставал с постели. Руки его высохли, почернели. Голубоватая жилка у запястья билась еле заметно. Глаза у моего приемного отца глубоко запали, но сейчас были чисты и странно блестели. Я обрадовался: наверно, дяде стало лучше.

— Поезжай к Актате... кумысу привези.

Я задумался. У изголовья стояла полная, нетронутая чаша кумыса, а дядя посылал меня на расстояние дневного пути, к устью Куланшы, в урочище Каратау, за кумысом из аула табунщиков. Конечно, я знал, что есть разница между кумысом пригородным и степным. Кто из казахов этого не знает?! Дядя пожелал настоящего — добрый знак. Может, и в самом деле степной кумыс ему поможет?

— Хорошо, — сказал я.

...Жеребец шел крупной рысью по неглубокой ложине, уже чувствовалось прохладное дыхание близких гор.

Не только я соскучился по раздолью летовки. Конь пофыркивал от удовольствия, рвал поводья. Тропинка уносила нас все выше и выше. Песок скрипел, потрескивал под копытами. Надвигались сумерки, но на гребне увала я еще застал заходящее солнце. Шея Актанкера взмокла, и я откинул гриву на другую сторону. Вскоре сбоку поднялся молодой месяц, похожий на серебряную подкову. Он слабо освещал рыжеватую тропинку, камчой обвивавшую крутые склоны. А потом стало темно, скалы обступили с обеих сторон. Вдали гром прогремел, и уже на перевале я увидел несколько далеких белых молний. Тропинка пошла вниз, а справа была пропасть. Конь упирался передними ногами, седло скользило вперед, к шее, а я откидывался назад, помогая Актанкеру. Снизу из мрака доносилось слабое журчание воды. Там бежит в скалистых берегах родная речушка Куланшы. Здесь, в старом зимовье у реки, я родился, в этом ущелье прошло мое детство. Каждый камень этих мест мне дорог. Гром еще поворчал, немного покашлял мне вдогонку. Я все же обрадовался, что ушел от ночной грозы.

Помню, как здесь, в верховье, проходил однажды кокпар. Дядя тогда заведовал конной фермой. Волчком крутились в узком ущелье разгоряченные всадники. Моему дяде никак не удавалось дотянуться до тушки козла. Возбужденные борьбой и араком долинные джигиты, надрывая глотки, ловко перекидывали друг другу тушку и все глубже удалялись в степь. Горцы растерялись. В степи джигитов-степняков уже не настигнешь. Только накроют удушливым облаком пыли. Ох и разъярился, рассказывают, тогда мой дядя! Пустил коня во весь опор, опрокинул двоих, безумным рывком выхватил тушку и тут же понесся вниз, наискосок по страшной крутизне... Джигиты ахнули, осадили коней. А дядя домчался по крутому склону до подошвы горы и оттуда напрямик к юрте молодой тогда Актате. Вскоре по окольной дороге и остальные подскакали. Актате приветили удалых кокпарщиков и получила благословение. Джигиты низовья спешили, правильно рассудив, что лучше пить кумыс, чем мотаться по горам, где немудрено и шею свернуть.

И всю ночь, рассказывают, степные удалцы наслаждались хмельным кумысом...

А потом поползли по аулам разные слухи. Про моего женатого уже дядю и про Актате. Нас, мальчишек, это не интересовало. А был этот кокпар лет, наверно, через пять после конца войны.

В аул табунщиков я приехал на рассвете. Казалось, все еще спали. Даже дойных кобылиц еще не пригнали с выпаса. Трава была вытоптана, земля разворочена, пахло кизяком. Черный волкодав с треском разгрызал большущую кость. Увидев меня, хрипло взлаял. Тут же, откинув полог юрты, вышла Актате. Вот уж кого верно назвали. Актате! Белая тетушка! Светлолицая, все еще стройная, статная, хоть на исходе пятый десяток, в белом опрятном жаулыке. Казахи говорят: красивая чаша может потускнеть, но прелесть своей не теряет. Это о таких, как Актате, сказано. Она приставила ладонь ко лбу, прищурилась и сразу же меня узнала.

— О аллах! Ведь это мой братишка-грамотей!

Она обняла меня, а я почтительно поцеловал краешек ее жаулыка.

Зашли в юрту. Актате расстелила для меня стеганое одеяльце, дала и подушку.

— Отдыхай, отдыхай, — то и дело приговаривала она. — Ласковый ты мой... милый... Тетушку свою проведать приехал. Хозяин-то у меня сейчас на озере. Да лучше бы, если б ты его и не видел. Отдыхай пока.

Я знал, слышал, что Актате не повезло с мужем. Говорили, что этот человек мог, по пословице, сузить до мерлушки весь огромный мир.

Актате открыла тундук, подвязала к притолоке полог, и в юрте стало совсем светло.

Табунщики живут на летовке скромно, налегке. Так что кровать — чуть ли не единственная мебель в юрте. С кереге свисали, туго выпячивая бока, два вместительных саба — кожаных мешка: один из шкурки жеребенка, второй из шкуры лошади-трехлетки. Снаружи мешки лоснились, блестели, точно выдра осенью. Такие мешки шьют только мастера из Туркестана. Свежую шкуру сначала высушивают в тени, в прохладе, потом вымачивают полторы недели в старом, прокишем и прогорклом кумысе, затем скребком тщательно счищают мездру, долго мнут податливую зеленоватую шкуру и лишь после этого принимаются шить из нее саба. Потом разводят нежаркий костер из веток таволги, копят изнутри саба на густом едком дыму. Прокоптив, наполняют свежим кумысом, долго полощут, мешают и сливают. Потом опять копят и опять полощут, отмывают кобыльим молоком. Вот так рождаются вместительные крепкие мешки — саба, в которых подолгу хранят медовый кумыс.

Рядом и чуть пониже висел турсук. Этот мешок тоже шьют из лошадиной шкуры, но только из шейной ее части. Турсук готовят таким же примерно способом, что и саба. Костер, однако, разводят не из таволги, а из ветвей урючины и горной ветлы. В турсуке кумыс три недели не портится. Батыры, отправляясь в дальнюю дорогу или опасный поход, неизменно брали с собой турсук кумыса.

Ближе к выходу на доске я увидел круглый золотистый, с постепенно сужающейся горловиной кавак — высокую тыкву, что выращивают присырдарьинские дехкане. Они высушивают эти тыквы на солнце до звона и еще слегка прокаливают на горячей золе. И крышку для этого сосуда вырезают из кавака.

— Слышала, что дядя твой болен, а вот никак не могу проведать. Ты чуть свет нагрнул, ласковый мой. Это к счастью. Теперь-то вместе и поедем...

— Меня дядя и прислал. Просил привезти турсук кумыса.

От этих слов вздрогнула Актате, выронила деревянный половник и поспешно вытерла уголок жаулыка нахлынувшие слезы. И тогда стала заметней на ее круглом полном лице мелкая сетка морщин. У меня сжалось сердце. Да, постарела моя белая тетушка. Ни прежнего звонкого смеха, ни доброй шутки, ни насмешливого, шаловливого взгляда.

Вдали послышались голоса. Наверное, подходили табунщики. Актате подала мне кумыс в небольшой деревянной чаше, отделанной по краям блестящим рогом.

— Как жалко! — заговорила она. — Сейчас ведь месяц только родился, в эту пору кобылье молоко жидковато. Вот в полнолуние кобылицы широко разбредаются по выпасу, выбирают самые сочные травы и цветы, поэтому и молоко густое. К концу месяца молоко опять похуже, а кумыс из него хмельной, как арак.

Так говорил, бывало, мой отец...

Я выцедил мягкий сладковатый кумыс и почувствовал, как мгновенно прошибла меня испарина. Между тем все звуки вокруг перекрыл чей-то визгливый голос:

— У, язви твою!.. Вяжи! Держи! Вали, мать его!.. Кумыс лакать все охотники, а строптивую заарканить ни одной собаки не найдешь! И выгонять, и пригонять, и привязать, и доить только я! Один я! Везде я! Паразиты! Дармодеды! Эй, гони паскуду сюда!..

Тут я понял, что это голос хозяина, и сказал:

— Не беспокойтесь, Актате. Даже свежее кобылье молоко из ваших рук услада!

— Что ты, ласковый! Оно ведь слабит, его только недругам и дают. Или ты не знаешь?

Я смутился. И зачем только я сказал о саумале — свежем кобыльем молоке?

— Еще налить, ласковый?

Я понял, она спросила только из приличия, а сама даже руки не протянула к моей чаше. Я прикрыл ее ладонью, вежливо поблагодарил. Лишнее не в пользу. Кумыс нужно пить в меру.

Актате внимательно посмотрела на меня, улыбнулась, потом поправила жаулык, поднялась устало.

— Ну и крикун! На весь аул разорался. У соседей молодая невестка, у нас гость — по твоему коню мог понять, — а вот ни стыда, ни совести. Матерщинник старый!.. И когда только образумится?! Ладно, пойду.

Она вышла из юрты. А я все вертел в руках свою чашу, светло-коричневую, выточенную из урючины... В те годы, когда я ездил на стригунке в шко-

лу, я каждый раз на обратном пути останавливался у Актате, чья юрта стояла тогда неподалеку отсюда. Она и тогда готовила кумыс землепашцам. Облизывая пересохшие губы, я робко поглядывал в угол, где стояла посуда, и терпеливо ждал, когда же тетя возьмется обеими руками за кавак. Мне подавала она кумыс всегда в простой кесушке.

Отдуваясь, вошел хозяин, сутулый длиннорукий старик, лицо в оспинах. Я поздоровался, протянул ему обе руки, он вяло подал кончики пальцев. Прошел в глубину юрты, стянул там сапоги и улегся на кошме. Спросил неприязненно:

— Ну что? Какие новости в низовье?

— Ничего особого нет, — тихо сказал я.

— Да ну! Газеты читаете, кино смотрите, а говоришь, новостей нет. Как же так?! Вот мы — другое дело. Живем как кроты. Ничего не видим, ничего не слышим. Растащат по камням гору Каратау, и то ничего знать не будем.

— Вам же газеты доставляют.

— Э, сказал! Мы, кроме районной газеты, ничего не читаем. А если читаем, не понимаем. Да вот давно собираюсь спросить у такого грамотея, как ты. Сколько у нас этих газет, журналов, книжек разных: радио орет с утра до ночи. Скажи, откуда столько слов берут? Разве не кончатся они когда-нибудь, а?

— Пожалуй, не кончатся!

Хозяин махнул рукой, промычал что-то, отвернулся от меня и вскоре захрапел.

Пришла Актате. Я успел убрать дастархан, вымыл и поставил на место свою чашу. Актате это заметила и рассмеялась тихонько. Потом взяла подойник, и я, догадавшись, что она идет доить кобылиц, вышел вслед за ней. Коня моего не было видно, значит, о нем позаботились.

Актате долго скоблила и мыла подойник, который и без того, по-моему, был чистый. Потом, еще раз ополоснув, поставила на солнце сушить. Пояснила:

— От одной капли воды кумыс уже не тот становится. Доить надо только в сухой подойник.

Смотрю, Актате доит не всех кобылиц подряд. Старых она пропускает, все больше подсаживается к молодым, норовистым. Строптивные кобылицы никак не могут устоять на месте. Надо помочь, думаю я, но Актате не подпускает меня близко.

— От чужого духа они и вовсе ошалеют.

Повесив подойник на левую руку, она ласково цокает языком, подогнув колени, пристраивается к брюху кобылицы, успокаивающе похлопывает по крупу, по ляжке, потом осторожно тянет за нежные сосцы. Тонкая белая струйка цвиркает о край подойника. Молодой кобылице щекотно, она вздрагивает, круто поворачивается. Актате ловко отступает на шаг и вновь подходит, вновь цокает, опять приседает, пристраивается, успокаивает кобылицу, гладит ее, уговаривает, за сосцы тянет. Та опять шарахается. И так снова и снова... Долго это было. Я понял, что она старается ради моего дяди. А то ведь можно было позвать табунщика-соседа, заставить держать кобылиц, чтоб они и шелохнуться не посмели, и доить спокойно.

— Что ты, ласковый, — возражает Актате. — Когда кобылу держат, она боится, у нее от страха и молоко другое бывает. Для хорошего кумыса надо, чтоб она молоко по своей воле давала.

— А почему вы не доили смирных, старых кобылиц?

— У старых молоко закисает скорее, и вся сила у него наверху, вроде бы в сливках. А кумыс из молока молодых кобылиц получает настоящий вкус и силу только на третьи сутки. Он и есть самый целебный. Какая кобылица — такой и кумыс. Если от молодой кобылицы — человек словно молодеет...

Приехал на телеге с озера повар косарей, вошел в юрту. Актате налила ему из турсука в черную деревянную чашу. Повар выпил, и глаза его сразу повлажнели, усы встопорщились. Он закурил и долго молчал, клубы табачного дыма уплывали наверх, в открытый тендык.

Между тем проснулся хозяин, протер глаза и сразу набросился на повара:

— Ты что, на поминках сидишь?! Расселся тут... Вчера только три саба кумыса увез, а сегодня опять приперся. Или вы кумысом деревья поливаете? Или рыбешек в озере травите? А? Что молчишь?!

Повар тяжело поднялся и вышел. Не по себе мне стало...

Оставшийся в турсуке кумыс Актате вылила в кавак, заметив при этом:

— Теперь, мой ласковый, буду готовить кумыс для твоего дяди...

Сказала она это нарочно громко, чтоб услышал хозяин, и тот в самом деле услышал, еще больше ссутулился, но промолчал.

Актате вылила кумыс из турсука, но, оказывается, не весь, оставила немного... Понятно, остаток послужит хорошей закваской. Потом, встав на одно колено, она левой рукой расширила горловину турсука, а правой перелила в него молоко из подойника. Крепко-накрепко завязав турсук сыромятным ремешком, она положила его себе на колени и начала легонько покачивать, будто убаюкивала малыша. Тихо стало в юрте. Даже молоко в турсуке не булькало. Она качала турсук на коленях так долго, что, я видел, начала уже задремывать. Потом, очнувшись, приподняла угол текемета — кошмы с узорами, положила турсук на сырую землю, на пожелтевшую редкую траву и тщательно укрыла сверху. Кумыс так и должен был выдерживаться — согреваться сверху и охлаждаться земляной сыростью снизу.

Молодой сосед-табунщик внес кипящий самовар, свободно расположился у дастархана. Видно, две семьи столовались вместе, а когда приезжал гость, и вовсе все становилось общим. Табунщик принялся разливать чай. Актате достала из ларя и выложила на дастархан курт — сушеный творог, сыр, связки сушеной дыни, урюк, масло.

Хозяин съязвил:

— Не приехал бы племянничек баскармы*, жевали бы один хлеб.

И сосед-табунщик ухмыльнулся:

— В ларе Актате только птичьего молока нет.

Я смотрел на эти вкусные вещи, но есть вроде и не хотелось, я сыт был от недавно выпитого кумыса. Осилил пиалушку чая и отодвинулся от дастархана, Актате удивленно глянула на меня и начала ворковать-приговаривать:

— Почему не ешь, ласковый? Масло свежее. Курт из неснятого молока. С медом. Потом еще сварю огузок жеребенка. С зимы храню в муке. Ешь, ласковый! Еще проголодаешься, пока мясо сварится. Уважь! Давно ведь не потчевала тебя...

Я начал благодарить Актате, но опять выступил хозяин:

— Чихать он хотел на твое угощение. Ему арак подавай, водку, да побольше! Вот что ему по душе! Знаю я их, молодых! И огузка ему не надо. Ему бы эти городские... ну, как их... длинные, мокрые...

Сосед-табунщик подсказал:

— Да, да... они самые... сосиски свинячьи. Народ нынче ученый пошел. Он сосиску жует, а от копченого-вяленого морду воротит.

Всем стало неловко. Актате выручила, обратилась ко мне:

— Ласковый, сделай милость, проверни турсук.

Я откинул край кошмы, перекатил турсук на другой бок, но, должно быть, что-то не так сделал, подошла Актате и очень осторожно — даже всплеска

* Председателя (разг.).

не слышалось — покачала турсук. И так же аккуратно прикрыла его теке-метом. Потом принялась закладывать мясо в казан.

Наступило время дойки. Не глядя на меня, хозяин схватил ведро и вышел. За ним последовал сосед-табунщик. Он засучил рукава, будто готовился к драке. Колхозных кобылиц доили обычно четыре раза в день, но сегодня не управились. Под длинным куруком* молодого табунщика кобылицы испуганно храпели, дрожали, тяжело поводили боками. Хозяин погромыхивал ведром, отчего жеребята-сосунки на привязи от страха кидались в дыбки.

Получив наконец свободу, весь косяк трусцой подался в степь на выпас. Сзади на тонких точеных ножках, развевая хвосты и гривы, мчались, точно игрушечные, жеребята.

Уже садилось солнце, когда я принялся за огузок, заботливо сохраненный Актате с зимы в муке. Хорошо просоленный, ровно проявленный, сочный кусок золотился в закатных лучах.

В юрту робко заглянула жена табунщика, совсем юная женщина.

— Я учу сношеньку разливать кумыс, — заметила Актате. — Дай срок, из ее рук будут пить кумыс почтенные люди. Вот увидишь, большой мастерицей станет.

Приятно было наблюдать за легкими, ловкими движениями молодежи. Начала она с того, что перетерла сухим чистым полотенцем всю посуду на полке. Актате между тем говорила неспешно:

— Уж так издавна повелось, что разным людям подают кумыс в разной посуде. Простому человеку — в кесе. Случайным гостям, путникам — тоже. Обжорам и торгашам наливают в большую деревянную чашу — тостак. Ведь для них главное — залить толстое брюхо. А вот дорогим друзьям подают в расписанных, средней величины чашах — зеренах. Правда, и зерены бываю-ют разные. Вот этот выточил из урючины и расписал золотом знаменитый мастер Акадиль. Влюбленным предлагают кумыс в изящном козе — маленьком узкогорлом сосуде с золотыми каемками. Из серебром отделанных козе пили акыны — певцы, тонколицые щеголи — серэ. Батырам и борцам-пала-ванам обычно подносили кумыс в высоких кувшинах.

После ужина жена табунщика принялась разливать хмельной успокоитель-ный кумыс. Сначала она слегка взболтала его мутовкой в каваке. Потом пере-лила в деревянный тазик, придвинула на край дастархана. Взяла в левую руку раскрашенную чашу — зерен, правой рукой приподняла черпак, осторожно, по стенке чаши, беззвучно наполнила ее, при этом не до самого верха.

Принимая чашу, я заметил, как чуть дрогнула рука молодки. Она смуща-лась, робела под внимательным взглядом.

Я с наслаждением пил бархатный кумыс. Хмель забирал мягко.

Постелили мне на дворе. Я долго не мог уснуть. Внизу, в долине, бормо-тала речушка. Струились запахи природниковых цветов и трав.

Прохладный ветерок оведал лицо, норовил юркнуть под одеяло. Подо мной чуть покачивалась, убаюкивая, земля.

Под утро приснилось, будто меня дядя зовет. Я спешу на тревожный зов, бегу, но голос все тише, тише...

В ужасе я проснулся, вскочил с постели, Актате с арканом стояла возле юрты. Я подбежал к ней.

— О аллах, что с тобой, ласковый?! На тебе лица нет!

— Дядя болеет, а я...

— Сейчас и поедем, сейчас. Чаю только попьем.

* Длинный шест с петлей на конце — приспособление для ловли лошадей.

Она повела меня в юрту. В той же красивой чаше подала кумыс. Но я пить не мог. И к чаю не притронулся. От хозяина я узнал, что Актате ночью без конца вставала и переворачивала турсук. Теперь он лежал на деревянной решетке. Актате развязала сыромятный ремешок, приоткрыла горловину, дала кумысу глотнуть прохладного утреннего воздуха. Потом, снова завязав, обернула турсук влажным полотенцем и положила в корджун — переметную суму.

— Еще бы одну ночку, и славный получился бы кумыс, — заметила Актате. — Да вот заспешил ты.

— Ничего! Пока доедем, пробултыхается, в самый раз будет, — пытался я ее успокоить.

— Что ты, ласковый! — возразила тетушка. — От долгой качки кумыс норовистый становится, злой. А тот, что закисает в тишине, спокоен, покладист.

Актате вытащила из ларца небольшой узкогорлый кувшинчик. Он был выточен из цельного бруска красной джиды. Ни единой щербинки по краям. Привлекал внимание плотный выпуклый сучок, нарочно оставленный мастером. Через этот блестящий глазок словно выглянула наружу душа дерева.

Я вспомнил: в ауле поговаривали, что Актате хранит кувшинчик, из которого когда-то пил кумыс прославленный акын Нартай. Наверное, я видел сейчас этот драгоценный сосуд. Однако спросить не решился. Актате бережно завернула его в полотенце и тоже положила в корджун...

Солнце едва поднялось из-за гор, когда мы выехали из аула табунщиков. Отпустили поводья, и кони зарысили ровно по знакомой дороге. В пути Актате все время старалась держать турсук на теневой стороне. К обеду мы добрались до Архарова родника. Спешились. Актате опустила турсук в холодную воду, потом еще раз дала кумысу подышать воздухом, а перед тем как завязать горловину, сказала:

— Понюхай, ласковый. Запах-то какой!

Я наклонился к горловине турсука, и острый запах пронзил меня всего, даже слезы хлынули из глаз. Густой аромат, чем-то схожий с запахом зрелой дыни, будоражил, возбуждал. «Такой кумыс и мертвого поднимет», — подумал я. Актате заметила сдержанно:

— С восходом Венеры я налила в турсук немного гусяного жира...

Она намочила полотенце, обернула турсук и вновь положила его в переметную суму. Мы поехали дальше.

Вечерело. С выпаса возвращался скот. На центральной усадьбе колхоза было шумно, многолюдно. В воздухе висела густая пыль. Лошади начали пофыркивать. Босоногий малец ворвался в отару и отогнал десяток овец и коз. Послышалось жалобное блеяние ягненка-сироты. Измученные духотой и пылью овцы мелко-мелко перебирали копытцами и спешили к колодцам и по домам, в прохладный привычный хлев.

Впереди, понукая пятками толстобрюхого осла, ехал пастух. Увидев нас, он вместо приветствия снял войлочную шляпу, потом стянул прилипшую к черепу засаленную тубетейку. От бритой головы шел пар. А где-то все блеял тоскливо, надрывая душу, ягненок-сирота. Мы приближались к высокому с огромными воротами дому дяди. Возле дома толпился народ. Я тихо вскрикнул и сполз с лошади.

Ягненком-сиротой оказался я...

...Актате, рыдая, вылила кумыс на свежую могилу дяди.

Прошли годы. Я часто тоскую по Актате и ее кумысу. А драгоценный сосуд стоит у меня на столе — маленький кувшинчик из красной джиды...

Поэт, переводчик, сценарист Кайрат БАКБЕРГЕНОВ родился в 1953 году в Алма-Ате. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького по специальности «переводчик художественной литературы». Член Союза писателей, председатель Ассоциации литературных переводчиков Республики Казахстан. Редактор отдела прозы литературно-художественного журнала «Простор». Автор сборников стихов «Пойманный ветер» и «Возвращение», книг переводов «Отраженные пространства» и «Междуречье», сборника казахского фольклора для детей «Веретелка». Стихи и переводы публиковались в журналах «Смена», «Дружба народов», «Аманат», «Простор», альманахе «Дом Ростовых».



ПОЭЗИЯ

Кайрат БАКБЕРГЕНОВ Междуречье

Кочевье

Вновь на месте не сидится,
вновь родня меня клянет,
мол, порхаю будто птица,
и куда меня несет?

Только жизнь моя — качели.
По всему во мне, видать,
пробуждается кочевье —
плыть, лететь или бежать.

И как перекасти-поле
я у мира на краю
вновь ищу чужие боли,
схоронив печаль свою.

Я не знал по вам печали,
степи голые пески.
Но качели укачали
до пронзительной тоски.

Я, как видно, из породы
тех, кому в любом раю,
в зеркалах чужой природы
суждено искать свою.

Старый рыбак на берегу моря

1.
Руки как лодки...
Две старые лодки,
пересыпая в ладонях песок,

век доживают покойно и кротко;
цепи, как кровь, ударяют в висок.
Руки как лодки...

2.

Лодки как рыбы,
хлебнувшие горя,
их засыпает забвенья песком,
брошены на берег яростным морем,
бьют деревянным своим плавником.
Лодки как рыбы...

3.

Рыбы как мысли,
в пучине плутают —
холод смертельный, бездонная мгла.
Моря тяжелые сети латая,
рыба по морю снует, как игла.
Рыбы как мысли...

Руки... и лодки... и рыбы... и мысли...

Возвращение

Самая простая из историй...
О причал волна морская бьет.
Женщина бежит,
бежит вдоль моря.
Лодочник
вдоль берега гребет.

Он не обещает возвратиться,
он спиною отплывает вдаль...
К будущему страшно обратиться?
От былого отказаться жаль?

Как пылинка, с берега слетает
и парит над берегом рука...
Слишком быстро море нарастает
и отодвигает берега.

Самая простая из историй —
Женщина, смотрящая вперед...
Он спиною отплывает в море —
он спиною в дом родной войдет...

Колыбельная

Укачай меня, мать,
в колыбели степной.
Укачай меня, конь,
в колыбели седла.
Укачай меня, степь,

на качелях забытых кочевий.
Укачай меня, жизнь.
Укачай...
укачай...
укачай...

Из переводов казахских поэтов

Ильяс ЖАНГУСУРОВ

Письмо

Я писал тебе
в отчаянье,
ожидал ответов скорых.
Ты ж опять хранишь молчанье,
все нарушив уговоры.

Эти письма без ответа
на душе моей, как раны.
Размышляю до рассвета
о своей болезни странной.
По одной простой причине
душу мне обида точит.
В сердце, что неизлечимо,
кровь безумная клокочет.
Я испил твоей любви
и не знаю слаще боли.

Я души в тебе не чаю,
без тебя по жизни маюсь,
думаю — заболеваю,
вижу — снова поправляюсь.

Чем лечить мне эти муки
одиначества, разлуки?
Я лекарств иных не знаю —
песни грустные слагаю.
Дни проходят... Незаметно
грусть-тоска меня изложет...
От любви безответной
вряд ли что тебе поможет!

В пути

Мы с тобою снова рядом
и, в глаза друг другу глядя,
все читаем по глазам,
по открытым ясным взорам —
и иного разговора,
слов иных не надо нам...

Видение

Не гляди, твой кроткий взгляд
душу мне воспламеняет,
и желанный сладкий яд
сердце болью наполняет.

Мне его не обуздать —
все старания напрасны —
неустанно будет ждать
тень твою в ночи безгласной.

Это явь иль сонный бред:
ускользает как заклятый
твой неясный силуэт
от порывистых объятий.

И рдеющая мгла
душу полнит мне сомненьем:
я боюсь, что ты была
тенью, призраком, виденьем...



Доктор филологических наук, литературный критик, профессор Ольга АБИШЕВА окончила филологический факультет КазГУ имени С. М. Кирова. В МГУ защитила докторскую диссертацию по теме «Неореализм в русской литературе 1900—1910-х годов». Круг её научных интересов: русская литература «серебряного века», современная литература Казахстана. Исследования посвящены творчеству писателей русского зарубежья — И. Бунина, Б. Зайцева, Е. Замятина и других. Редактор отдела критики журнала «Простор».



КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

«Мёртвый город из белых юрт»

Новейшая проза в современной литературе Казахстана имеет, несомненно, очень яркие достижения. К ним можно отнести «Хронику великого джута» В. Михайлова, вышедшую в Казахстане в 1990 году. История нашей страны становится такой же насущной, актуальной темой. В настоящее время сложилась большая научная литература о событиях советской истории. Созрела и ждала своего воплощения и тема джута в степи. Книга могла появиться во времена, когда многое в нашей истории мы начали видеть под новым углом зрения. Именно во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов явственно наметилась тенденция к созданию таких произведений, в которых преобладает документальное начало. В этот период выходят в свет вещи, имеющие подзаголовки «документальная повесть», «документальный роман», «роман-исследование». Конечно, очень важным фактором, определяющим выбор писателей, является само время, отмеченное недоверием к официальной историографии. Интенсивное развитие документальная тенденция получила еще и потому, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов общество заново, уже на уровне осознания пережило травму сталинизма и связанный с нею ценностный кризис. В это время появились такие произведения, как «Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича, продолжателем традиции выступила С. Алексиевич с романом «Цинковые мальчики», посвященным афганской теме, и «Чернобыльская молитва». События минувшего XX века таковы, что всякий вымысел бледнеет перед ними. Каждое произведение из перечисленных есть не что иное, как своеобразное запечатление эпохи, где в центре история народа и людские судьбы, показанные полно и всесторонне.

Повесть Валерия Михайлова является одним из отчетливых свидетельств этого процесса. Сегодня это во многом дополненная, переработанная новая книга. Время, прошедшее с первого издания, автор использовал для дальнейшей доработки текста. «Хроника великого джута» помогает узнать историю нашего народа в самый, может быть, трагический ее период. В ней воскресает конкретная эпоха — история Казахстана 1930-х годов, массовый голод, катастрофа, начало репрессий.

В центре исторической хроники — события 1932—1933 годов, повлекшие за собой серьезные последствия. «Когда я начал собирать материалы к своей книге, то выяснилась странная картина: практически ничего не было на эту тему. О самой страшной трагедии казахов, о гибели почти 40 процентов населения от голода — никаких свидетельств. Лишь крохотные, разрозненные данные, косвенные намеки на беду <...> 60 лет власть запрещала даже говорить на эту тему. Но люди, спасшиеся в голоде, разве могли об этом забыть! И только дома, в кругу семьи, они могли иногда рассказывать об этом, да и то очень тихо и осторожно», — пишет о своем замысле автор.

В. Михайловым проделана огромная работа. В основу книги лег разнообразный материал, собранный автором по крупицам. Книга основана на многочисленных опубликованных и архивных документах, газетных и журнальных статьях, выступлениях партийных руководителей 1920—1930-х годов. Основываясь на большом фактическом материале, автор рассказывает о периоде нашей истории, до предела насыщенном драматизмом.

Михайлов рассказывает о времени, во многом переломном в жизни степи. Известно, что после Октябрьского переворота большевики приложили максимум усилий для быстрой ликвидации баев и родоплеменных связей в казахской степи. В феврале 1930 года была создана особая комиссия для проведения работ по ликвидации баев как класса. Начавшиеся поспешно раскулачивание и коллективизация в крае совпали с засухой и неурожаем 1930 года и тяжелой зимой бескормицей в зиму 1932/33 года.

Стратегия, избранная руководством республики для решения данной проблемы, объявленная бескомпромиссная борьба были облечены иезуитским тезисом — цель оправдывает средства.

Книга «Хроника великого джута» совершенно особая по жанру. Это и документальное исследование, и мемуарная проза, и историческая хроника, и роман-свидетельство. Эти качества сближают ее с «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына, «Блокадной книгой» Д. Гранина и О. Адамовича, романами «Цинковые мальчики» «Чернобыльская молитва» С. Алексиевич. Известно, что Д. Гранин и А. Адамович все время искали точную формулировку жанра своей «Блокадной книги», называя его по-разному — «сборный роман», «роман-оратория», «роман-свидетельство», «народ, сам о себе повествующий», «эпически-хоровая проза» и т. п. Этот жанр можно назвать жанром человеческих голосов, исповедей, свидетельств.

В повести В. Михайлова, как и в названных выше произведениях, складывается новая жанровая форма, синтез родовых форм. Это художественная летопись великого голода, сопряженная с исследованием собственно исторического процесса. Историзм и документализм в ней смыкаются с распространенной в новейшей прозе тенденцией фиксирования живого слова. Еще одна общая черта, которая роднит «Хронику великого джута» с названными выше произведениями, — это широкое включение в повествование устных источников. Все они близки друг другу по авторской задаче, по стремлению максимально уйти от художественного вымысла, приблизиться к документальности, исследовать действительность не на условных коллизиях, а на самых реальных. И жанровые особенности хроники в наибольшей степени отвечают поставленной автором задаче.

Историко-архивные и публицистические страницы раздвигают жанровые рамки произведения. Они придают объемность и глубину тем картинам жизни, что встают со страниц произведений. Автор пользуется правом обращаться к документу времени, смело вводит их в свое произведение. Исследователь обращается к письмам, публицистике тех лет, выпискам из газет 1930-х годов, докладом партийных руководителей страны.

Одним из главных персонажей хроники является Филипп Исаевич Голощекин. Описывая биографию соратника Ленина, В. Михайлов убедительно показывает, что большевистские замыслы относительно переустройства общества заключали в себе

смесь коммунистической утопии и традиции государственного насилия. Голощекин был практиком с богатым опытом различных ликвидаций, который имел в 1930-х годах в республике несомненное значение. Глубокое знание предмета этот «теоретик» широко использовал, борясь за установление советской власти на Урале и в Сибири, проводя курс на коллективизацию.

Рожденный революцией Голощекин — человек, судьба которого весьма показательна для духовной атмосферы того времени. Автор показывает, что крупному партийному деятелю потребовался опыт двух эмиграций, расстрела царской семьи, чтобы возглавить Казахскую республику. Сама его личность и судьба характерны для того периода. Он последовательный и убежденный большевик. Высшие должностные лица того времени вообще не выбирали средств, из политической целесообразности могли пожертвовать самыми близкими. Автор приводит слова Н. Бухарина, написавшего в письме: «... для меня революция — все, и потребуй она от меня жизни любимой жены, я спокойно ее утоплю в умывальном ведре — медленно и мучительно». К этому же племени относился Голощекин, отличавшийся еще большим цинизмом. Важнейшие этапы жизненного пути Филиппа Исаевича освещаются живо и интересно. В повести-хронике предстает нравственный облик антигероя, его античеловеческая суть. В переписке Свердлова с родными автор находит наиболее точную его характеристику: «Он (Голощекин) стал форменным неврастеником и становится мизантропом (человеконенавистником). При хорошем отношении к людям вообще, к абстрактным людям, он безобразно придирчив к конкретному человеку, с которым ему приходится соприкасаться. В результате — контры со всеми».

Автор повести отмечает, как фиксируется в историческом источнике нравственный облик партийного деятеля. Например, приводится высказывание Ф. Голощекина на партактиве 1 октября 1930 года, свидетельствующее о неприкрытом его цинизме: «Тактической задачей партийных органов в отношении алаш-ординцев было использовать национальную интеллигенцию. Приблизить ее к себе для овладения аульной массой, а на этой основе построить Советы». И далее слова, которые, как говорится, не выкинешь из песни: «<...> это дало возможность подойти к такому периоду, когда мы создали свои кадры, когда мы можем отбросить этих временных союзников». Читателю сообщаются подчас весьма интересные, малоизвестные, а то и новые подробности, характеризующие этого партийного деятеля. Они позволяют отчетливо понять суть Голощекина, особенности его политической эволюции, а также всю безнравственность эпохи.

Так, автор рассказывает о том, что партийный функционер поставил задачу расслоить аул, вызвать в нем классовую борьбу, усилить наступление на класс эксплуататоров — баев и биев. Политика государства в казахских аулах не знала ни моральных, ни нравственных запретов. Массовый отъем личного скота и ссылка «баев-миroeдов» производились с 1929 по 1931 год. При этом в большинстве случаев конфисковывалось имущество, что автоматически вело к разорению, чтобы единственным выходом для аульного жителя оставалось вступление в колхоз. Во многих районах ретивые уполномоченные, увлеченные перспективой моментального внедрения социализма в ауле, при помощи партийных инструкций и нагана добивались передачи в общественное пользование кур, гусей, уток, коз, даже деревьев в хозяйстве, не говоря уж о том, что обобществлению подлежал крупный и мелкий скот. «В Талды-Кургане додумались до обобществления пирамидальных тополей, растущих возле хат. И кое-где повырубили. Пришла одна красноармейка и заявила, что половину тополей у нее повырубили».

Особенно цинично проводилась политика строительства новой жизни в голодные 1932—1933 годы. Результатом ее был огромный людской поток, внезапно заполнивший пути сообщения и пересыльные пункты в городах Казахстана. Не имея средств, люди уходили из аулов в города. Михайлов показывает картины их мученической смерти, разбросанные по всему пути трупы, являющиеся свидетельствами поразитель-

ного социального эксперимента, проведенного большевистской властью. Даже отрывочные сведения из неофициальных источников заставляют предполагать, что уровень смертности в эти годы достигал невероятных размеров.

С. И. Кормилов, характеризуя «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, отмечает, что в нем «функции образа автора необыкновенно вырастают: он и комментатор событий, и автор, выносящий свою оценку происшедшему, и аналитик, выступающий с позиций ученого-историка, социолога; и политика, осмысляющего историю страны. В книге автору доступно свободное передвижение во времени». Это наблюдение справедливо и по отношению к автору «Хроники великого джута». В. Михайлов — автор, внимательно исследующий факты. Он цитирует документы, публицистические тексты или речи политических деятелей, всегда стараясь, чтобы все его оценки и высказывания опирались на точный фундамент из фактов и их трезвой интерпретации. Но в то же время это страстный и живой голос человека, не чуждого эмоциям и нравственным оценкам.

Из высказываний персонажей исторической трагедии видно, какую циничную позицию занимал, например, тот же Голощекин по отношению к казахской интеллигенции. В. Михайлов дает выписки из выступлений партийных деятелей республики о том, как привлекалась на первых порах к новому строительству казахская интеллигенция, духовные вожаки и учителя казахского народа, резюмируя: «Это была с его стороны тактическая уловка: на время, только лишь на время он соглашался терпеть «националистов», а потом они подлежали, конечно же, устранению, ликвидации».

Валерий Михайлов не просто комментирует документы истории, конкретный факт в книге уступает место впечатлению автора от событий, его оценке, переживанию. Ретроспективность обеспечивает как бы двойное зрение автора на события прошлого, когда современный взгляд наслаивается оценку событий, о которых рассказывается в хронике. Исследуя деятельность Ф. Голощекина, он проводит параллель с одним из самых жестоких участников Французской революции, комиссаром Конвента Жаном-Батистом Каррье, обвинявшим коллег в умеренности и требовавшим более жестоких репрессий. «Каррье и Голощекин были отнюдь не простыми исполнителями директив, поступавших сверху, — они оба считали себя вершителями народных судеб, каждый на своем «участке». И если один устраивал малую французскую революцию в Нанте, то второй совершал свой малый Октябрь в Казахстане...»

Широкий взгляд на историю 1930-х годов позволил В. Михайлову обосновать фантастичность масштабов катастрофы. Рассказывая языком документа, свидетельства очевидцев трагедии о трагическом пике сталинской эпохи, — Михайлов убедительно показывает, как целые поколения сошли в могилу, «загнанные к счастью». В 1930-е годы подверглись насилию жизни и судьбы многих и многих людей. В числе их оказались и большевики, и служители религиозного культа, и интеллигенция, и рядовые беспартийные труженики.

Естественной, причина трагедии — неурожай, последовавший за ними голод, но в подпочве этих событий, как показывает автор, — политика большевизма, которая привела к массовой гибели населения. Угроза голодной смерти, преследовавшая каждую семью, не остановила административного нажима. Беженцы из районов голода, большей частью превратившиеся в нищих и бездомных бродяг, разных национальностей, верующие и неверующие, умирали от истощения, холода и болезней.

Несомненно, удаchi чаще встречаются на стыке жанров. В своей попытке осмыслить прошлое В. Михайлов использовал кинетическую энергию смежного жанра. Тенденция к синтезу в «Хронике великого джута» выступила в необычной контаминации, когда собственно документальная фабула перебивается воспоминаниями о голоде. Из воспоминаний, из философского осмысления трагического испытания народа и рождается такое своеобразие — жанровое и нравственно-эмоциональное.

Воспоминания пронизывают всю повесть. Все факты взяты из жизни. Пестрый жизненный материал, который поступает в распоряжение автора, организован в форме устного рассказа-монолога. В. Михайлов воспроизводит факты трагических событий казахской истории, которые долгое время замалчивали. Пройдя через сознание, факт жизни превращается в факт искусства. В книге важно личное восприятие происходящего, то, что своими суждениями и эмоциями делятся люди, прошедшие через ад джута. Так вырастает «Хроника великого джута» из исторического опыта народа.

Белорусский писатель С. Алексиевич, автор двух поразительных книг о Чернобыле и афганской войне, вспоминает: «Я долго искала жанр, который бы отвечал тому, как я вижу мир. И выбрала жанр человеческих голосов.<...> В них реальные люди рассказывают о главных событиях своего времени — война, развал социалистической империи, Чернобыль. <...> Но я не пишу сухую, голую историю факта, события, я пишу историю чувств».

Повесть В. Михайлова также поражает историей чувств. Эмоции, которые вызывает прочтение этой повести, — потрясение, горечь, трагедия — все сливается воедино. Параллельно с документальной частью книги, столь густой, обстоятельной в исторических материалах, звучат голоса людей. Здесь тот же драматизм, но драматизм иного порядка, нежели в фактографической части, где идейно-психологической осью послужили исторические документы.

Это трагические истории, рассказанные с душевной болью, которые не могут оставить никого равнодушным. Это уникальные свидетельства разных людей. Тех, кто видел все это своими глазами. Ценность книги в том, что впервые были записаны воспоминания поколения, которое не косвенно, а напрямую испытало на себе бремя джута.

Обе части произведения определяют целостность идейно-художественной концепции повести-хроники. Они художественно равнозначны.

Неумолимое время оставляет в живых все меньше и меньше людей старшего поколения. Автор в своей книге приводит рассказы о том, чего никто не говорил с официальных трибун. Это свидетельства разных людей — писателей Альжапарра Абишева, Гафу Каирбекова, Галыма Ахмедова, Калмухана Исабаева, Мухтара Магауина, профессора Мекемтаса Мырзахметова, академика Жабаги Такибаева, простого аульного жителя слушателя школы трактористов Сагидоллы Ахметова, девятнадцатилетней в то время девушки Татьяны Невадовской, которая жила вместе с ссыльным отцом-профессором в ауле Чимдаулет в предгорьях Заилийского Алатау. Стихия воспоминаний проникает в документальный объективный эпос.

Вот рассказ, записанный со слов Даны-бике Байкадамовой:

«...Политотделом МТС — редкое явление! — командовала женщина-казашка довольно молодых лет. Она ходила перепоясанная кожаным ремнем с кобурой на боку, где лежал револьвер. У них с мужем был трехлетний мальчик, с началом голодовки тяжело болевший. Как его только не выхаживали родители!.. Но от смерти все равно не упасли... Поочередно, день и ночь, просиживали у кровати ослабевшего мальчика. Однажды, намаявшись, оба уснули. А поутру мать увидела, что мальчик мертв. Живот его был вспорот, сердце вынуто... Была зима, по белому снегу тянулись от порога капли свежей крови. Выхватив револьвер, мать бросилась по следу. Он привел в дом, стоявший на соседней улице. Там обитал одинокий мужчина, жена и двое детей которого, по слухам, недавно пропали. Женщина распахнула незапертую дверь и увидела, что человек сидит на полу у печи и жарит в ковшу сердце ее сына.

«Я тебя застрелю!» — крикнула она.

«Стреляй. Ничего не боюсь», — равнодушно ответил он.

И, неожиданно согнувшись, полез рукою за печь, швырнул что-то оттуда к ее ногам. То были три человеческие головы: одна — его пропавшей жены и две — малолетних детей.

Женщина, как стояла с револьвером в вытянутой дрожащей руке, так и рухнула без памяти на пол. Так и не выстрелила...»

Все эти отдельные рассказы постепенно разворачиваются в широкое полотно. Содержащаяся в них оценка минувшей истории образует дополнительный, почти равнозначный эпическому план повествования. В рассказах обнажена душа народа, звучит его боль. Ценность книги в том, что в ней запечатлен подлинный голос эпохи, содержащий потрясающие детали. Личное имеет здесь свой глубинный трагический смысл. Подчеркнуто документальные главы окрашены интонацией воспоминаний очевидца, рассказывающего о пережитом. Как, например, в рассказе известного филолога, профессора Мекемтаса Мырзахметова:

«В детстве, когда, бывало, я вовсю начинал шалить и проказничать, мать все время произносила в сердцах одни и те же загадочные слова: «Ох, уж лучше бы я тогда оставила — тебя...» И так странно она выговаривала это, что я невольно притихал. Ничего не мог понять: где она меня должна была оставить, почему именно меня? А спросить отчего-то не решался...

Потом, когда я подрос и мне исполнилось лет пятнадцать, я однажды все-таки спросил маму, почему она произносит всегда эту непонятную фразу. Мать задумчиво поглядела на меня, отерла слезы и рассказала такую историю.

...Была ранняя весна 1933 года. Самая ужасная пора, когда голод выкосил почти весь наш аул (жили мы в Тюлькубасском районе Южного Казахстана). Спасаясь от верной смерти, мать решила уйти в соседнее село к родственникам. Мою маленькую сестренку она несла на руках, а я — мне тогда было года два с половиной — шагал рядом, держась за подол.

Вышли мы под вечер. За околицей аула начиналась колхозная бахча. Только мы ступили на тропу, как навстречу вышла стая волков. К тому времени домашней скотины давным-давно уже не осталось на сотню верст в округе, и голодные звери сбивались в стаи и повсюду нападали на людей, чего раньше и в помине не было.

Мама закричала, стала звать на помощь, но поблизости никого не было. Волки окружили нас. Стоят, воют и землю рвут когтями. Мать оказалась перед ужасным выбором — либо нас всех растерзают, либо она оставит кого-нибудь из детей, а сама с другим ребенком попробует убежать.

Конечно, в казахском сознании исстари заложено: спасешь мальчика — и весь род сохранится. Мама решила так. Она положила на землю завернутую в пеленки девочку, а меня, от истощения еле-еле бредущего, подхватила на руки. И побежала вперед.

Потом, когда она вернулась с людьми, — кто ружьем вооружился, кто дубинкой, — там никого уже не было. Только тряпица валялась, вся в крови.

Ей, моей младшей сестре, я обязан жизнью.

...Я спросил тогда маму — многого еще не понимал! — почему же она не оставила меня. Она сказала: «Сын был нужнее...» Невыносимо представить, что она перечувствовала, что думала про себя всю жизнь...

От слез мать тогда совсем иссохла...

В рассказах, услышанных от людей, приводятся страшные факты о случаях каннибализма, о том, как насилие меняло жизни и судьбы многих и многих людей. Перед глазами читателя — картины живой, реальной действительности. Это голоса людей, рассказывающих о массовой гибели целых аулов, о том, как обессиленные от голода люди тянулись по всем дорогам из района в город, как погибали в пути. Рассказы очевидцев — это «необработанная», «живая речь», которая усиливает документальное начало прозы. В ней — выразительность неотшлифованного устного рассказа. Многие из свидетелей трагедии делились тяжелыми воспоминаниями, которыми не с каждым поделишься. Они воскрешают ужасы, порожденные голодом, казалось бы, сконцентрированные на страницах книги. Чувства, разбуженные этой повестью, нельзя определить одним словом. Повесть дает ощущение огромности горя, огромности человеческой беды, что вобрала в себя миллионы судеб. В ней с забытой силой звучит слово о трагедии народной жизни. Книга в свободном повествовании соединила множество

судеб, событий, фактов. Она показала, как сложен и труден был путь наших людей к сегодняшнему дню.

Весьма показательны история рода Байкадамовых, записанная со слов старшей из детей Даны-бике Байкадамовой, семьи Джабаги Такибаева, свидетельства Габита Мусрепова, Зейтина Акишева, Галыма Ахмедова и др.

В повести-хронике звучат живые голоса. В. Михайлов собирает воедино на первый взгляд разрозненные события, разобщенные факты, частные истории и создает портрет трагического времени. «Жизненный» материал передает масштабы трагедии, вносит в повествование высокую психологическую напряженность. Двигаясь от судьбы к судьбе, автор создает протяженный сюжет.

Нужно было записать эти факты, потому что воспоминания людей требовали слова о себе, чтобы не забылся горестный опыт XX века, невыносимые его беды и лишения. Автор показал, из каких глубоких кругов преисподней террора и голода вышел наш народ и что он вынес. Показал во всей сложности и драматизме историю страшного джута, его причины.

Эпический размах событий смыкается с глубоко личными переживаниями героев. Автор переосмысливает трагические страницы истории казахской степи. В книге показано драматическое скрещение частной и народной судеб, в ней гармонично вырастает образ времени. Это в подлинном смысле хроника, определившая масштаб и значение трагедии в жизни народа и страны. Джут закономерно осознается как порождение политики большевизма. Автор включает трагическую историю голода в широкую историческую перспективу истории Казахстана советского периода.

«Хроника великого джута» — плод многолетнего, напряженного и основательно-го труда, результат серьезного и талантлив-ого проникновения в тему. В произведении этом не видно конъюнктурной суетливости. Автор смог преодолеть соблазны узко понимаемой актуальности и войти глубоко в исследование трагической темы.

Своеобразие повести «Хроника великого джута» заключается в сплаве историзма и документализма. Думается, только атмосфера 1990-х годов, новый общественный климат дали возможность издания такой книги. Написать ее было актом мужества, питаемого глубочайшей любовью к Отечеству, состраданием и любовью к народу. Это нужно было сделать во имя свободы, избавления от страха, который поселился в нашем человеке на генном уровне. Лучший генофонд народа был уничтожен, а в выживших остались страх и рабство, которые не просто вытравить. Слова, завершающие горькое повествование, В. Михайлов нашел совершенно точно: «Чтобы узнать правду, надо перебороть страх перед страданием. Пусть это будет больно. Но без правды нельзя».

Ольга АБИШЕВА

В этом году русскому поэту Лидии СТЕПАНОВОЙ исполнилось бы 65 лет. Она родилась в России, в небольшом городке Луга. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Судьба привела её в Казахстан, где и вышли её поэтические книги «Слушая сказку», «Земное лоно», «Вначале было...», «В каком-то из этих миров...» и другие. Видный казахский писатель Куандык Шангитбаев говорил о ней: «Её стихам свойственна особенная грация, в них непринуждённо сливается непосредственность и открытость с глубокой сдержанностью. Самый сильный порыв признания умеряется, как бы прячется в наивную и вместе с тем затейливую метафору, а готовая лечь на бумагу любая глубокомысленность почти всегда приглушается иронической интонацией».



ПОЭЗИЯ

Лидия СТЕПАНОВА

«Звезда горит во мне...»

Творчество

В тот самый час,
 когда вино хмельное
 иссякло,
 и окончился хаос,
 и голубь голубой к ковчегу Ноя
 оливковую веточку принёс,
 тогда Творец откинулся устало,
 измученный потоками дождя,
 и с облака сошёл, как с пьедестала,
 и трубку закурил,
 а погода
 он пальцами, на солнце золотыми,
 делил все эти воды, как ничьи,
 небрежно,
 словно строчку запятыми,
 на реки,
 на озёра,
 на ручьи.

Наедине с собой кто не искал,
 как выхода из замкнутого круга,
 в серебряной поверхности зеркал
 себе и собеседника, и друга?
 Не с зеркалом беседуя, не с ним —

с самим собой всё глубже, всё неспешней,
покуда самый взгляд не стал двойным:
одновременно внутренним и внешним...
Ну что ж, сам-друг, не опуская век,
продолжим поединок наш упорный.
Ты, слава богу, светлый человек:
в том смысле, что не страшный и не чёрный.
Я тростью на есенинский манер
не запущу в тебя и для потехи.

А всё же отчего ослеп Гомер,
когда смотрел на медные доспехи?

Магалина

Как трудно и страшно сгибаться коленям,
когда, поднимаясь по скользким ступеням,
идёшь, как на суд, в это зарево дня —
оттуда, из самого грешного ада,
где пела полночная дура цикада,
кощунственным пенем рассудок пьяня.

Душа уж готова сама устремиться
к орудиям пыток, в костры инквизиций,
и горек миндаль в запоздалом цвету,
и жаждешь ты казни египетской, лютой,
один на один с этой страшной минутой,
когда милосердие неумоготу.

* * *

Ну, что случилось? Что такое?
Под вечер заберусь под кров,
но мне и там не даст покоя
боязнь каких-то катастроф.
Встают виденья, от которых
вконец кружится голова,
и я в окно смотрю на горы,
как на живые существа.
Да разве б я так духом пала,
прикрыв ладонями зрачки!
Да что мне смерти и обвалы
и что подземные толчки!
Спокойно б от земли-старушки
ждала любых её затей,
когда б не эти
на подушке
головки русые детей.

Цифро

Ещё совсем по-птичьи даль дремала,
головушку засунув под крыло,

ещё гадал в ночи Иван Купала,
какое бремя на душу легло.

Отсвечивая сталью воронёной,
ещё речной дымился пережат...
А я уже нашла тот потаённый,
лежащий до востребованья клад.

И было всё: река, и лес, и утро —
как в памятном родительском доме
умельцами расписанная утварь —
всё по руке, по сердцу, по уму.

И где-то в небе, высоко-высоко,
куда со звоном всасывалась мгла,
перерастало щебетанье в клёкот,
в незримый шелест орлего крыла.

* * *

Я когда-то сюда
приходила тайком
поглядеть в никуда,
помечтать ни о ком.

На каком языке,
с кем вела разговор
в дальнем том далеке,
что увидел мой взор?

Только свет, что блестел
в пустоте, в темноте,
как роса на листе,
как слеза на кресте.

* * *

Лужайка и откос.
И вот — долой оковы! —
ручей к реке прирос,
как стебель черенковый.
Беги, танцуй, теки!
Да здравствует несходство!
К спокойствию реки
привито сумасбродство.

Другой спешит ручей
из тьмы густого леса,
где листья — от лучей
надёжная завеса.
Он делится с рекой
секретом тёмной чащи,
недаром он такой
таинственно журчащий.

Мелодия без слов,
дрожа́нье светлых пятен...
Реке язык ручьёв,
как шум ли́сты, понятен.
И тонут облака
в воде светло-зе́лёной,
и кажется река
стволом поющей кроны.

Звезда

Когда, уйдя за облака,
была я от звезды близка, —
а мчал меня туда Пегас —
внезапно свет её погас.

Но он погас не потому,
что срок такой пришёл ему,
не потому, что высший рок
звезде назначил этот срок...

Звезда горит во мне, она
до той поры гореть вольна,
покуда я не изменю
её вечернему огню.

Язык леса

Приглядитесь-ка:
в сосновой чаще,
где гуляет предзакатный ветер,
из хвоинок, на песке лежащих,
получилась буквица — мыслете.
Словно бы доносятся из кроны,
говорящей с ветром легкокрылым,
голоса Моравии зелёной —
разговор Мефодия с Кириллом.

Не поняли, и это —
странный случай,
он миллионов странностей странней.
Видать, я пригоршню родных созвучий
рассыпала в заморской стороне?
Когда б меня не поняли арабы,
всему виною были б толмачи:
они бы пели вслед за мной,
а я бы
впивала знойной Африки лучи.
Но здесь — мне ничего не нужно, кроме
быть п о н я т о й на языке родном,
чтоб я, свой взгляд остановив на доме,

могла сказать, как все, что это — д о м
и что земля — з е м л я, а не иное —
в цветах, в снегу, в прожилках ли дорог...
Непонятой быть — чувство неземное,
ведь уплывает почва из-под ног.
С предметами родство своё и сходство
теряют непонятные слова,
и горькое мерещится сиротство,
в то время как и мать ещё жива...
Кому сказать, как разговора жажду
и пониманья, больше ничего.
«Кому повем печаль мою?..» — однажды
сказал поэт —
и поняли его!



И жизнь приесться может, говорят.
Придёт пора — и равнодушным взглядом
устало погляжу на всё подряд:
на солнце, на луну над косогором.

Покажутся нелепостью сплошной
все строчки, надиктованные музой,
и память, что сама себе обузой,
подёрнется туманной пеленой.

Угаснет вера в чувства и слова.
Лишённым смысла, грош цена теперь им.
А может, мне,
пока душа жива,
решиться на свиданье с отчим краем?

Приеду — и отступит пустота,
прикинув, что непобедим противник,
в тот миг, когда с отцовского креста
скупую песнь протенькает крапивник.



Смотри вослед, смотри,
пока не скроет
меня причудливый изгиб дорог.
Хочу, чтобы ненастной порою
твой взгляд меня от грусти уберёг.
И в час, когда над уходящим летом
взметнётся сноп закатного огня,
хочу, чтобы, пронизанные светом,
глаза твои смотрели на меня.
И, отправляясь в дальнюю дорогу,
я оглянусь — не раз, не два, не три...
А ты всё время пристально и строго
вослед смотри.

У тех, кто молится ночами,
глаза становятся — очами,
двумя осколками небес,
где всё — и радость, и рыдание,
и ужас крестного страдания
того, кто в третий день воскрес.

Давно ли, от грешного тела
избавившись, стала чиста,
и вот уж опять восхотела
взглянуть на родные места.
Себе ли сказала с укором,
Гадая по струйкам дымов:
— Жила я, не помню, в котором,
в каком-то из этих домов.
Нетленной ли думать о тленье,
и всё же: взгляни на кресты:
не в этом ли тихом селенье
оставила плоть свою ты?
За вздохом печаль неземная
почудилась в шелесте крыл:
— Как будто бы здесь... Но не знаю,
в которой из этих могил.
И вот, неземное создание,
я там уже вижу свой след,
где странницами в мирозданье
вращаются десять планет.
Скажи мне, коль слов не забыла,
иль крыльями прошлести,
какую из них ты любила?
— Какую-то из десяти...
А это что там? Да ведь это
уже не планеты — миры!
Как скинии, полные света,
как вставшие в поле шатры!
Сумеешь ли ты разглядеть их,
беспамятства скинув покров?..
— Жила я в каком-то из этих,
в каком-то... из этих... миров...

Не бросила... Зачем же мне бросать!
Покуда жизнь не всю перелистала,
Могу ль сказать, что от стихов устала?
Я просто перестала их писать...

Поэт и прозаик Светлана НАЗАРОВА
родилась в Караганде, окончила
Московский полиграфический институт.
Ныне она — главный литературный
редактор журнала «Рандеву» и заместитель
главного редактора альманаха
«Литературная Алма-Ата».
Светлана Назарова — автор трёх
поэтических сборников: «Я доверяю вам»,
«Не оставляйте на потом», «Вечная Ева» и
сборника рассказов «Избранная проза».
Лауреат международного конкурса «Зов
Нимфея» и Грушинского фестиваля в
номинации «Поэт».



ПРОЗА

Светлана НАЗАРОВА

Мой зеленоглазый аруах

Рассказ

Бабушку я помню с тех самых пор, как научился ходить. Или мне так кажется. Помню ее раньше, чем свою мать. Мама отвезла меня в аул рано — они с отцом жили в городе, ей надо было работать, а я не был устроен в детсад по настоянию бабушки. Бабушка считала, что отдавать детей в казенный сад — дело плохое и опасное. Кроме меня, к бабушке приезжали еще мои двоюродные братишка и сестренка, Ерлан и Макпал. Это были дети моего дяди со стороны отца, но я редко их заставлял: их приезды не были связаны с каникулами, а привязаны к отпуску их родителей. Пока родители отдыхали в санатории, Макпал и Ерлан находились у моих ажешки и аташки. Получалось, вместе с ними я проводил неделю или дней десять, а потом за ними приезжали и забирали в Чимкент. Макпал была совсем маленькая, лет пяти, она играла в куклы, плакала по ночам, скучая по маме, плохо ела и держалась дичком, несмотря на мои попытки приласкать ее и развлечь. Ерлан был на год старше сестры, задиристый, самостоятельный мальчишка. Он даже помогал чего-то там по хозяйству, ожидая тут же похвалу за любое маленькое задание, порученное ему бабушкой или дедушкой.

Мою бабушку звали Мурселя, была она зеленоглазая, и дед втайне гордился этим, хотя и часто подшучивал над ней: «Кто дал тебе твои глаза, Мурселя? Может, русский замешан здесь? Может, у матери твоей была своя женская тайна? Или смотрела она на зеленоглазую степную рысь перед тем, как родить тебя?» Бабушка напускала на себя сердитость и, пряча улыбку, замалчивалась на деда посудным полотенцем. А на старой фотографии он бережно касался бабушкиного плеча: она сидела на стуле, как на троне, обтянутом белым чехлом, молодая, с черными косами, перекинутыми на грудь, в бархатной короткой жилетке, расшитой по бортикам кудрявым узором, в длинной юбке, из-под которой высывались носки сапожек, с этими своими светлыми глазами на белом лице. И мне всегда казалось, что даже черно-белая фотогра-

фия излучала зеленый цвет ее глаз. А дед стоял рядом, бравый усач с упрямыми скулами, уставившийся туда, куда велел фотограф. Даже взгляд у бабушки сильно отличался на этой фотографии: она смотрела строго и с затаенной надеждой и ожиданием чего-то хорошего, неведомого, а дед — просто замер с туповатым лицом. На самом деле в жизни у деда было смешливое, подвижное лицо.

Мама с отцом несколько раз в течение лета приезжали на день-два к нам в аул, привозили гостинцы: упаковки индийского чая в маленьких пачках, который был тогда большим дефицитом даже в городе (уж я-то знал, как гордились они такой добычей!), а не то что в ауле, городское печенье (бабушка называла его «казенное печенье»), душистое мыло, которое, я знал, мама «доставала» через подругу, работавшую в алма-атинском парфюмерном магазине «Ландыш». Еще привозили карамель, муку, подсолнечное масло, сатин и ситец, из которых бабушка шила ночные рубашки себе и деду и постельное белье. Если родители привозили деликатесную колбасу «сервелат», которую мы и сами-то в Алма-Ате ели лишь по большим праздникам, то бабушка и дедушка в один голос просили маму забрать ее назад: а вдруг там свинина? Колбаса — вещь опасная... Помню, особенно обрадовалась бабушка, когда родители мои привезли китайские полотенца — яркие, в розах и пионах, и чудесный, тоже китайский, чайный сервиз, весь расписанный цветами, вычурной формы, с продолговатым блюдом и с круглым блюдом, с тарелками под пирожки, с молочником, двумя фарфоровыми чайниками (один — большой, другой — поменьше), с фарфоровой подставочкой для салфеток... Соседи и другие аульчане приходили смотреть, цокали восхищенно языками, осторожно трогали дивные предметы для такого, казалось бы, простого и объединяющего людей ритуала, как чаепитие. Аул — это ведь по сути одна большая семья, где есть свои авторитеты и мудрецы, труженики и трутни. Есть люди хлебосольные и прижимистые, хитрые и открытые, честные и вороватые. Когда кто-то к кому-то приезжает, узнают все, и большой грех не нарезать барашка, не накрыть дастархан, не сделать соучастниками радости всех аульчан. Дедушка с бабушкой свято соблюдали этот обычай, несмотря на возраст и болезни.

Бабушка умела все: шить простую одежду и белье, стегать одеяла из верблюжьей шерсти, вкусно готовить еду и сбивать масло — любые дела по хозяйству в ее руках спорились. Толково и быстро она собирала в дорогу деда, когда он уходил с отарой на джайляу. Эти сборы всегда были почему-то либо ночью, либо ранним утром, и я плакал, когда дед, прощаясь, целовал меня сонного, шепча какие-то путанные слова. Так же она собирала и меня, когда я уезжал из аула в город к своим родителям. Я никогда не обсуждал с дедом Кабиденом и бабушкой Мурселей своего одиночества среди самых родных мне людей — мамы и папы...

Помню, однажды ночью я проснулся от тоненького прерывистого звука и не мог понять, что за птица его издает. Прислушавшись, я понял, что это храпит бабушка, и удивился тому, что она как будто пела во сне. Дед храпел по-другому, он как будто угрожал кому-то, отгонял опасность...

Пока рос в ауле, я хорошо освоил родной язык. И еще я узнал одну вещь, первооткрывателем которой считал именно себя: когда на родном языке говорит хороший человек, язык обаятелен и красив. Когда на этом же языке говорит скрипучий голос пройдохи (а Аллах метит человека голосом!), вкрадчивый голос подлеца или невыразительный голос подлипалы, который всегда найдет, к кому из сильных мира сего пристроиться, то и язык кажется неблагозвучным, коварным, настораживающим. Поэтому сейчас, став уже вполне взрослым человеком, хочу, чтобы мой родной казахский язык прино-

сили людям других наций именно те, кто и в повседневной жизни не стяжатель, не хам, не человеконенавистник, а следователь благородных традиций моего славного народа.

Бабушка и дедушка Кабиден по-русски не только хорошо говорили, но и читали. Бабушка была из богатой семьи, из рода бия Мади — семьи, которая знала хорошие времена и уважение со стороны односельчан. А дед был из бедняков, вечно пас стада богатеев, был бит камчой, ел то, что оставалось от хозяев, одевался в лохмотья, спал где придется. Дед был восьмым ребенком в семье, бабушка — единственной дочерью среди четверых сыновей своего отца.

Как рассказывал дед об их знакомстве, бабушка, увидев его на коне на ярмарке, куда он приехал, чтобы продать хозяйского жеребца за кругленькую цену, не устояла перед усатым красавцем и стала приставать к нему, опустив глаза: «Батыр, испей моего кумыса! У тебя прибавится сил!» А бабушка, слушая, смеялась и говорила: «Врет все, шайтан! Я сидела рядом со своей арбой, куда работники складывали выбранные мною товары. А он подтянулся ко мне, как барашек на веревке, заикался, краснел и сказал: «Если я могу вплести в твою косу хоть один медный грош, который мне тяжело достался, я сейчас же просверлю его, и умереть после этого не жалко!» И после шутливой споры дед и бабка смотрели друг на друга со скрытой нежностью и еле сдерживаемым смехом... Лица их светились знанием лишь им известной тайны. Кто из них обманывал или преувеличивал — я не знал.

Я мало чего понимал в жизни тогда. До первого класса я жил с дедом и бабушкой постоянно. Потом уехал в город, где, конечно же, было намного опрятнее, не было мух, и было намного больше удобств. В городе были кинотеатры, парки, много развлечений для детей и взрослых, в городе мне неловко было летом ходить в сатиновых черных трусах, которые были вполне обычной одеждой моих сверстников в ауле.

В городе я знал, что мне нужно постоянно соревноваться. В классе — в знаниях со своими одноклассниками, на улице — с ребятами разных национальностей из нашего двора, которые чутко улавливали трусов и слабаков, и если ты не можешь дать сдачи, то тебя унижат так, что еще и неизвестно, сможешь ли ты когда-нибудь доказать свою состоятельность и правоту.

Город я любил, потому что здесь я был рядом с папой и мамой, потому что здесь в нашей квартире был белый холодильник, хранящий лимонад в самую несусветную жару прохладным и потому особенно вкусным. В городе надо было следить за своим внешним видом, чтобы тебя не осмелили за вонючие носки и грязные ногти на руках: тут все всё замечали. Тут были кафе и фонтаны, свой алма-атинский «Бродвей», диктующий моду на одежду и музыку, на поведение и привычки. Но здесь были и те мои друзья, которые не ведали о чудесной жизни в ауле. И когда я им рассказывал о своих сельских занятиях, о том, что научился ездить на коне, топить баню, полоть и поливать огород, когда демонстрировал свою возросшую сноровку в игре в асыки, они удивлялись, завидовали, с удовольствием угощались бабушкиным куртом и иримшиком и говорили враспев: «Те-е-бе в-е-е-зет. У те-бя ба-абушка в де-ре-е-вне». А я тогда и сам еще не сознавал, как мне и в самом деле везет!

Я боялся и не любил верблюдов. Эти высокие животные жили в просторном высоком загоне, сколоченном из поперечных досок, рядом с нашим домом в ауле. Они казались мне высокомерными, себе на уме. К тому же я видел, какие они в гневе. И когда бабушка просила дать им корм или налить воды, я, ежась, медленно вставал и без особого рвения исполнял ее просьбу. Бабушка цепкими зелеными глазами смотрела на меня и говорила: «Жаным,

наш великий пророк прятался в шкуре верблюда, когда была опасность для его жизни. Разве у тебя на совести есть грязное пятно, чтобы бояться верблюда?» Пристыженный, я исполнял ее поручение, преодолевая страх и нелюбовь, приносил надменным соль и корм и, выбрав кого-либо из них, говорил чуть слышно: «Что я тебе сделал плохого? Почему ты с насмешкой смотришь на меня? Вот я принес тебе соль и питье. Я маленький, а ты большой. А большие маленьких не обижают». Верблюд переступал высокими ногами, презрительно отворачивал морду, беспрерывно жуя, и недовольно подрагивал холкой возле горба.

Уже позже, став почти взрослым, я вспоминал «политические разговоры», время от времени происходившие между бабушкой и дедом. Бабушка, чья семья пострадала от репрессий, была тем не менее горячей защитницей советской власти. Она постоянно слушала радио, читала газеты, надев огромные очки в коричневой роговой оправе, делавшие ее похожей, в моем представлении, на сказочную бабушку Красной Шапочки. Дед вовсе не был антисоветчиком, но советскую власть постоянно критиковал. Помню запальчивый бабушкин аргумент: «Кем бы ты был, кара-бастык, если бы не советская власть? Так бы и гонял овец, одетый в лохмотья, безграмотный и голодный! А уж Мурселю тебе не видать было бы, как своих ушей!» При последних словах бабушка распрямляла свою больную спину, зеленые глаза ее сверкали, как два изумруда, ноздри раздувались, и была она похожа, ей-ей, на Шамаханскую царицу.

Дед кричал и отвечал: «Ой-у-е, Мурселя, завелась, строптивая! Да, гонял бы овец, да, голодал бы, но жил бы по завету предков. Кому хочу, молился бы, кого хочу, почитал бы. А меня заставили забыть все, молиться по-другому, служить чужому порядку!» Бабушка, совсем потеряв надежду на понимание со стороны деда и возмущившись такой явной политической близорукостью, начинала горячо и длинно перечислять все достоинства советской власти, главным из которых было то, что она спасла казахов от вымирания. Дед признавал это, но, вытерев слезящиеся глаза, скорбно говорил: «Сначала спасла, а потом уморила». И восклицал с нарочитой страстностью: «Вот, вот где сказались твои зеленые глаза! Ты ведьма, хочешь, чтоб было потвоему! Искры пускаешь, хочешь, как русская жена, верховодить джигитом?» И когда после этих слов бабушка начинала смеяться, дед примиряюще говорил: «Ну, хватит, Мурселя. Конечно, ты у нас — главный политик (тут дед едко смеялся, но сразу же гладил бабушкину руку). И ты права, и я прав».

Уже тогда, слушая моих дорогих стариков, я понимал, что Правда — одна, но взгляд на нее у всех разный. И мы все слепые, как в той притче, где слепые дают характеристику слону: один говорит, что слон — это ноги-тумбы, другой — что слон это уши, а третий — что слон просто шланг в виде хобота... Но до Правды нужно еще докопаться.

Как-то мама, приехав в аул в очередной раз во время моих каникул и привезя много гостинцев, отозвала меня перед отъездом в сторонку и дала пять рублей: «Сынок, мало ли чего захочешь, купишь себе в сельпо, ладно?» По тем временам пять рублей — это ого! Я поблагодарил. Вскоре бабушка взялась стирать мои штаны и обнаружила эту купюру. «Что это?» — спросила она. Я сказал. Бабушка сурово поджала губы и молвила: «Знаешь, сынок, твое должно быть вот здесь (показала на сердце). А остальное — общее, наше. Мы ведь семья». Я запомнил это навсегда.

Было мне лет десять. Случилось, я заболел в ауле воспалением легких. Лежал с высокой температурой, в полубредовом состоянии. Вздвигнувшая мама, которой позвонили по просьбе бабушки наши соседи из райцентра (только там был телефон междугородней связи), они были там по делам, —

привезла из города антибиотики, другие лекарства. Плакала, просила бабушку, свою маму, все делать грамотно, как прописал врач. Бабушка согласно кивала, пообещала пригласить медсестру, чтобы та делала уколы. Но лечила меня бабушка по-своему. Она давала мне горячее молоко с содой и курдючным жиром, насильно заставляла пить из пиалы какую-то густую темно-красную жидкость, горькую и кислую одновременно. Привязывала мне на шею маленький мешочек с колючей травой, вызывающей желание кашлять и плевать. Намазывала грудь и спину курдючным жиром, смешанным со скипидаром и какой-то резкой по запаху степной травой, и нещадно колотила мою спину и грудь мясом свежезаколотого по случаю моей болезни барашка. После чего положила это мясо на мою грудь и спину, привязав полотенцем, — по-моему, как раз это были бараньи легкие и еще какие-то другие части туши. Потом завернула меня в теплое одеяло и набросила кучу теплых вещей сверху. Все это время она читала молитвы на арабском. Я был в ужасе от боли, в сомнамбулическом состоянии из-за температуры, мне был непонятен и неприятен весь процесс бабушкиного лечения — уж лучше бы уколы! Бабушка, думая, что я не слышу, не соображаю из-за температуры, горячо шептала по-казахски: «О Аллах, разве мало грешных на земле? Почему мучаешь не их, а его, моего верблюжонка? Не открою свои глаза утром, если не облегчишь его страдания! Не скажу Тебе хороших слов! Дай мне его болезнь, дай ему Свою защиту! Не отнимай его у нас, лучше возьми мой скот, мой китайский сервис, мою жизнь!» Горячая бабушкина слеза упала мне на щеку... Я как будто встрепенулся, ощутил ее своим воспаленным лицом, как холодную росинку. Через три дня я был на ногах, а через неделю рентген, который мне сделали в райцентре, показал, что воспаления легких и в помине нет.

Саманный домик, в котором жили мои ажешка и аташка, был выбелен с добавлением синьки, и в вечернем воздухе был похож на облачко. Сходство добавлял голубоватый дымок, который поднимался от летней печи во дворе или от казана, установленного на камнях рядом. Была еще небольшая банька, которую дед сделал своими руками, вот только печку в ней выложил «дядь Петь» — так звали русского бобыля, жившего в нашем ауле и усвоившего все казахские обычаи, язык, привычки, будто и не русский он вовсе. Была у нас и юрта, которую собирали во дворе по особым случаям, а в основном дедушка брал ее с собой на джайляу.

Бабушка и дед сажали картошку метрах в пятистах от дома, там же у бабушки было тридцать кустов помидоров и чесночная грядка. Помидоры мы ели не только в свежем виде. Бабушка делала из них томатную пасту на зиму и «жгучку» с чесноком и перцем, которую добавляла потом в лапшу и прочие блюда. Еще в огороде росли кукуруза и подсолнухи. Дед огородил все это обгороженное поле частоколом, а в мои обязанности входило во время каникул стеречь его от проникновения туда скотины. А из скотины у нас было полтора десятка баранов (иногда больше, иногда меньше), десяток кур во главе с белым облезлым (хотя ему не с кем было драться) петухом, вид у которого был такой, будто он непрерывно линял, еще было два верблюда, две лошади и корова с телочкой. Я помню, что такие огороды, как у нас, были только у пяти семей нашего аула. Другие хозяйки складывали губы в презрительную трубочку и брезгливо отвергали такое ведение хозяйства. Как рассказывала бабушка, смеясь: «Сами ко мне ходят, просят все, что я вырастила, а после меня же осуждают. Мол, зеленоглазая женге продалась русским, живет не по нашим обычаям...»

Бабушка все время была чем-то занята, всех надо было обиходить. Белые скатерти и свои жаулыки, простыни в мелкий цветочек и посудные полотенца она стирала с порошком «Лотос» и «Айна» и простым хозяйственным мы-

лом. Все белое она раскладывала, прополоскав, на степных травах под палящим солнцем. На каких травах — это знала только моя зеленоглазая бабушка. Но я помню восхищение и зависть соседок во время посещения застолий в нашем доме — по поводу белизны дастархана, прочих тряпок кухонного назначения...

Был во дворе нашего саманного домика колодец, который качал глинистую воду для полива и скота. А чистую, «человеческую» воду таскали из единственной водоколонки на весь аул, состоявший из полутора сотен дворов. У нас была тележка на велосипедных колесах. На эту тележку помещались четыре больших оцинкованных ведра, два десятилитровых бидона и большая помятая алюминиевая фляга. Воду на тележке было легко, и я в подростковом возрасте вполне справлялся с этим, пока бабушка и дед занимались своими делами. Они всегда меня нахваливали (видимо, с воспитательной целью) за помощь. Я старался управиться с заданиями побыстрее, чтобы идти играть с друзьями в футбол, в асыки и прочие наши игры. Вечером мы втроем — дед, бабушка и я — садились за низенький столик, уставленный баурсаками, свежим сливочным маслом, кипяченым молоком, сметаной, куртом, сушеными дольками яблок и абрикосов, вялеными казы, и долго и неторопливо пили душистый чай, вкуснее которого не было и нет нигде на земле, потому что его готовила моя зеленоглазая бабушка. Мои «вторые папа и мама» подшучивали друг над другом и надо мной, обсуждали прошедший день, стонали от своих болезней, строили трудовые планы на завтра, вспоминали те времена, которые я не мог помнить ввиду своего малолетства и позднего рождения. Перед сном бабушка заставляла нас с дедом мыть ноги с хозяйственным мылом в большом эмалированном, местами облупившемся тазу. Смазывала мои цыпки бараньим жиром. Укладывала спать, бормоча молитвы.

До сих пор с ужасом вспоминаю, как я стеснялся своих деда и бабушку, когда они приезжали к нам в Алма-Ату, соскучившись по мне! Я помню это чувство стыда за них, когда я пребывал в отроческом возрасте. Мне хотелось всего только такого, чему все другие будут завидовать. А они привозили в городскую квартиру моих родителей аульный запах овчины, кошмы, курдючного жира, какого-то своего сельского пота... Я весь сжимался, когда ко мне заглядывали мои дворовые друзья (а жили мы в центре, и дом наш был заселен работниками всяких ведомств и министерств, артистами и светилами науки). При этом я любил своих аташку и ажешку, был рад их приезду, но никогда не показывал своей любви и нежности к ним... А кстати, родители мои получили квартиру (после долгого проживания в семейном общежитии) благодаря моему заслуженному деду, который был участником Великой Отечественной войны. Квартира была оформлена на деда, но жить они с бабушкой с самого начала там не собирались. Им нравилась деревенская жизнь, деревенские бесхитростные люди — они сами были такие. И хотя в ауле было, конечно, намного труднее, чем в городе, они были довольны.

Я стеснялся их немодной одежды: оба были в хромовых сапожках с калошами, в бархатных жакетах, дед — в тюбетейке, бабушка — в белоснежном платке, завязанном по-казахски. Дед постоянно плевал при ходьбе по городу — и я отходил от него подальше, чтобы нас не заподозрили в родстве... Какой же я был осел! Скриплю зубами от стыда за себя тогдашнего... Как и за то, что подаренные бабушкой корпешки не стали главным украшением нашей квартиры в те времена. В ту пору мои родители, отмечаясь ежемесячно в очередях за такими модными и почти недостижимыми синтетическими бельгийскими коврами, купили-таки их и повесили на стены — как доказательство своей состоятельности и достигнутого благополучия. Впрочем, не они одни...

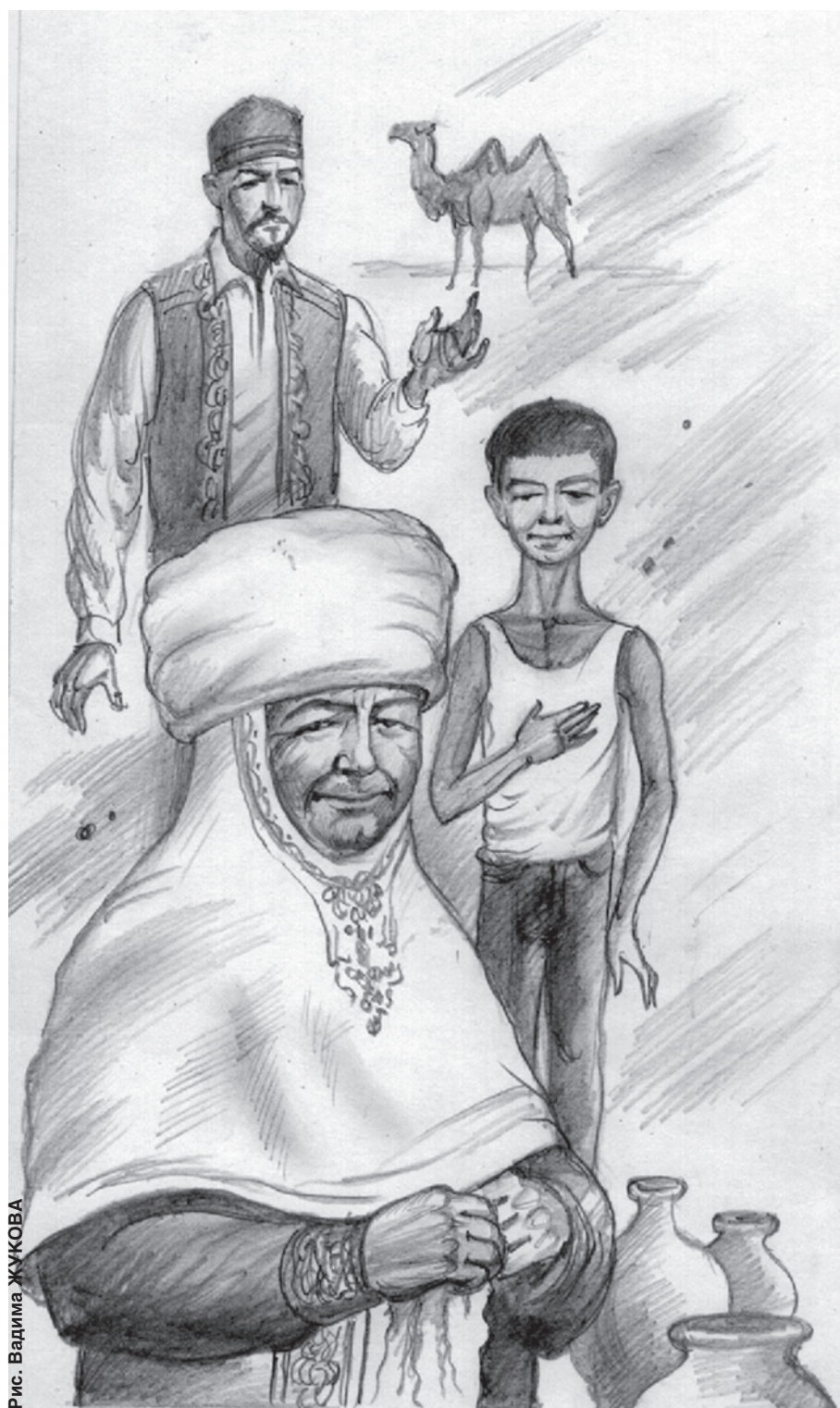


Рис. Вадима ЖУКОВА

Время шло, я вырослел и, учась в старших классах, совсем перестал рваться в аул к своим старикам, как это было прежде. У меня появилось много занятий. Я ходил на тренировки, чтобы осуществить свою мечту — играть в футбол за сборную республики. Я занялся вольной борьбой, чтобы нарастить мускулы и не бояться амбалов, промышляющих хулиганством. Я влюбился. И целыми днями искал возможность увидеть хотя бы издали предмет своего обожания, а ночами сочинял стихи и грезил о ней, нескладной девочке с густой копной стриженных волос, которая, как дикая козочка, отпрыгивала в сторону, если нам случалось встретиться неожиданно лицом к лицу, краснела, а когда я оглядывался ей вслед, с удовольствием видел, что и она оглядывается вслед мне... Тут же она, застигнутая моим торжествующим взглядом, сердито вскидывала головку и уходила прочь быстрым шагом... Все это меня закружило, наполнило мою жизнь неясным томлением, новым смыслом. Я придирчиво изучал себя. Мне казалось, что я некрасив, что я уступаю сверстникам в способностях, что все они лучше и умнее меня. С родителями, которых я по-прежнему любил, начались ссоры. Меня раздражало их непонимание, их вечные требования ко мне. Они вторгались в мою жизнь, хотели во всем меня контролировать, и я думал: какие мы разные и как они далеки от меня, примитивны, не чутки! Им бы только читать нотации, они только и думают, что о хлебе насущном!

Когда настал момент наивысшего напряжения в отношениях с ними, когда моя девочка явно отдала предпочтение другому, когда я рассорился с лучшим своим другом — я решил уехать в аул. Был август.

За весь месяц я лишь раз позвонил домой в Алма-Ату. Мне не хотелось никому ничего объяснять, говорить прописные слова типа «кушаю хорошо, чувствую хорошо, у нас все хорошо».

Как-то так произошло, что я за этот свой приезд в аул сблизился с дедом. Мы проводили много времени вместе. Я расспрашивал его о молодости, о войне, о бабушке, о той поре, когда они были еще совсем юными и только начинали совместную жизнь. Дед рассказал мне, что моей бабушке Мурселе посвящали свои лучшие песни акыны, что она приглянулась самому губернатору края, немцу по происхождению. Что бабушка моя вытащила из горящей юрты спящего мальчика, когда ей самой было всего-то пятнадцать лет. С тех пор на ее руках от кисти до локтя следы того пожара — грубые рубцы, не исчезнувшие с годами. Но и они не портили бабушку. Она была настоящая красавица.

...Сельский труд, солнце, купания в маленькой светлой речушке, протекавшей недалеко от аула, сделали свое дело. Я загорел, стал нормально спать ночами. Но главное — это общение с моими стариками. Незаметно и ненавязчиво они учили меня ко всему в жизни относиться сознательно, не принимать скорых решений, не злиться по пустякам и дорожить родственными связями, превыше которых нет ничего.

Я, уже много чего наслушавшийся в столичном городе, прочитавший много газет и знакомый с биографиями моих выдающихся соплеменников-казахов, которые многого достигли во времена советской власти, но и пострадали в годы сталинизма и связанной с ним коллективизации, имел обо всем свое собственное суждение. Пусть я был юн, но это ведь не лишало меня права на свою точку зрения. Я мог высказывать ее откровенно и честно не на трибуне, а только с теми, кого я и вправду любил и кому доверял. Я ощущал себя казахом. Мое казахское дело, кого мне любить, кого не любить, что на сердце легло и чем душа может успокоиться... Я был уверен в своей правоте и знал, как мне жить.

Я вставлял свои «две копейки» в диалог и воспоминания моих самых близких людей — дедушки и бабушки. Я был горд собой, я был уверен, что они-то как раз и поддержат меня верным казахским традициям и обычаям, такого умного городского внука. Именно они оценят и разделят мои взгляды. А они, вот только что спорившие между собой и приводящие друг другу весомые аргументы, дуэтом шли на меня! Они были беспощадны ко мне. Особенно дед Кабиден. Нервничая, он начинал переставлять на дастархане пиалы, перекладывать туда-сюда баурсаки, сахар-рафинад, масло... Он не замечал этого, потому что хотел собраться с мыслями и дать достойную отповедь городскому молокососу-внуку, который, хоть и любимый, но судить-то горазд, ничего лихого не изведавши.

«Ты кто такой? — часто моргая, вопрошал меня дед. — Ты стригунок, тебя от мамкиного вымени недавно оторвали. И ты все хаешь! Хаешь то, что тебе даром досталось! А тебе ведь сравнить не с чем. Откуда у тебя такая злость? Учись хорошему у всех понемногу. Разберись, подумай. Революционеров хватает — с мудрецами не повезло!» — отойдя от привычной полухулиганской, полуназидательной спокойной речи, воспалился голос деда. А бабушка, чьи глаза в моменты гнева или несогласия с кем-то или чем-то обретали глубокую, темноводную мутноватую зелень, говорила: «Ой-е-е, сынок. Всегда справедливо думай, не ищи, кого сделать виноватым. Взрослым станешь — в напарники себе бери толкового, верного. Необязательно родного. Часто родство делу помеха. И не торопись, не скачи. Моя двоюродная сестра всё делала бегом, торопилась, как козочка, скакала там, где надо шагом. А когда была на сносях, поскользнулась на застывшей воде, которую я пролила, и скинула дитя. И потом всю жизнь меня ненавидела: это, мол, я, зеленоглазая ведьма Мурселя, специально сделала. А я ведь сестру свою любила, как свою жизнь. И мужа ее вылечила, когда он уже кровью кашлял. Всё она забыла тогда, неблагодарная. Да я не держу обиды на нее: злопамятных Аллах не прощает».

Так окончился один из наших вечерних чаев в ауле.

Бабушка велела нам с дедом готовиться ко сну, а сама убрала со стола, что-то переложив в чистую посуду и накрыва другой посудой, что-то перемыла, не оставляя на утро. К описываемому времени у них в ауле уже были газовые плиты и баллоны. Бабушка грела воду, перемывала посуду, чтобы с восходом солнца радовал глаз чистый белый дастархан с чистой посудой на нем и чтобы мы с дедом Кабиденом, двое мужчин в доме, попив душистого чаю, приступали в хорошем настроении каждый к своим обязанностям.

Чтобы у вас не создалось превратного впечатления, скажу: дед я тоже очень любил. И гордился им. Дед участвовал в войне, имел боевую медаль «За оборону Ленинграда», будучи рядовым в стрелковой роте. Но тяжело ранило его в 1942-м, и война для него закончилась. Потом ему уже в мирное время давали медали. Каждый год 9 Мая его поздравляли в райкоме партии, сельсовете, вручали бесплатные путевки для поправки здоровья в санатории (чаще всего в Сары-Агач), выдавали подарки и денежные премии, возили на телевизионную съемку, где дед говорил слова, написанные специально для него журналистами, и хлопали в ладоши, создавая шумовые эффекты в телестудии. Дед ведь, когда волнуется, перемежает казахскую и русскую речь, путает падежи. В отличие от моей зеленоглазой бабушки, которая, если что, может так вернуть соленое русское словечко, что все падают!

Вот по логике я к деду вроде бы больше должен был тянуться, чем к бабушке. Но дед меньше притягивал меня. Да, я признавал, что дед — человек замечательный, но в нем для меня сразу все было ясно. Я его очень уважал и хвастался перед городскими друзьями своим дедом. Но бабушка для меня была

главной. Почему? Трудно объяснить. Ее независимость, ее вечная готовность взять на себя ответственность за всех и за всё, ее непоколебимые знания простых, но забытых жизненно важных вещей, которые всегда были уместны — в каждой житейской ситуации и для каждого, кто в них нуждался... Ее отвага орлицы защитить своим крылом родное гнездо. Ее особая, не похожая ни на чью другую из окружавших меня справедливость в отношении ко всем людям вообще и уверенная правота... Всё это закрепило в моем сердце и душе идеал, которым была бабушка. Нет, идеал — чужое, не казахское слово, и смысл у него чужой, не тот, что я хочу выразить, обозначая свое отношение к бабушке.

Я знал с раннего детства, что ни мой дед, ни мой отец, ни моя мать — не самые «главные» в семье. Главная — это бабушка. Как, почему пришло такое понимание — объяснить не могу. Но, думаю, и они бабушку так же воспринимали.

Так случилось, что я был один ребенок у моих родителей. До меня, рассказывали мне близкие, были сестра и брат, но оба умерли в раннем возрасте от воспаления легких. Потом родился я, а после меня у мамы не было детей, хотя она и отец их очень хотели. Может, потому они меня и отправили в аул по настоянию бабушки, где чистый воздух, большой простор, свежее молоко, речка, — чтобы я рос крепким?.. Не знаю. Но то, что я жил там с раннего детства, помогло мне усвоить как лучшую пищу песни наших аульных домбристов, застольное красноречие импровизаторов простого происхождения, бабушкину особую речь, остроумные присловия в процессе деления вареной бараньей головы между почетными гостями... И добрый тон семейных взаимоотношений моих ажешки и аташки, и простой уклад жизни терпеливых, не обеспокоенных ни карьерой, ни накоплением богатства хороших людей. Это питало и питает сейчас мои помыслы, поступки, мои отношения с разными людьми, которые встречаются мне в жизни. И — повторюсь: нисколько не умаляя авторитета деда, я все же вынужден признать, что он купался в бабушкиной неутомимой заботе, ее преданности, неиссякаемом трудолюбии и жизненной энергии. Это она была полководец. Дед был солдатом.

...В то лето я сдал экзамены в престижный Институт народного хозяйства на планово-экономический факультет. Не стал дожидаться результатов, решил съездить к своим старикам в аул. Дома меня собрали как короля — рукава хватало, чтобы нести сумки с гостинцами: это ведь для всего аула.

Сердце сжалось, когда я увидел, как сдала бабушка. Она согнулась почти пополам. Страдальческое от постоянных ревматических болей выражение лица уже было никуда не деть. Ноги у нее были отекавшие, «толстые», и хотя она пыталась быстро и расторопно двигаться, как всегда, по хозяйству, я видел, как трудно ей это дается. Приходили и уходили наши аульчане, пили чай, угощались бешбармаком, приготовленным в мою честь. Лакомились городскими гостинцами: халвой, козинаками, курагой, орехами, изюмом, тортами, шоколадными конфетами, а кто хотел (таких было совсем мало) — растворимым индийским кофе.

Вечером я привез воду на нашей старенькой тележке — для питья, для чая, для приготовления еды. Потом достал воду из нашего колодца и, подсвечивая себе фонариком, полил ею бабушкины грядки. Напитанная водой глинистая земля становилась мягкой, и мои ноги оставляли в ней глубокие следы.

Совсем поздно, когда управились со скотиной, сели, как всегда, за вечерний чай. Дед был задумчив, мало шутил, молча поиграл на домбре. Бабушка, кряхтя, натирала свои распухшие колени каким-то сильно пахнущим снадобьем, которое сама же и изготовила.

«Жаным, — вдруг сказала она, — ты армии боишься?» Немного растерявшись, я сказал: «Нет, аже. Главное — я в институт, наверное, пройду. Оттуда в армию не забирают».

«Э-э-э, — недовольно протянул дед. — Какие-то вы все сейчас безответственные. Хотите, чтоб был мир, детей хотите, хотите начальниками работать. А кто вас защитит, чтобы это все получилось? Хорошую жизнь надо защищать. Я уже старый, плохой из меня защитник. Вы сами должны».

Я усмехнулся. Про себя подумал: да что доказывать, вы жили — было одно время, мы живем — у нас другое время.

Через неделю я уехал.

В институт меня не приняли — недобрал баллы. В сентябре я попал в осенний призыв. Все это произошло быстро, неожиданно для меня: я-то был уверен, что поступлю (хотя готовился-то, если честно, спустя рукава). А тут еще мой отец сломал ногу, ходил в гипсе, с костылем. Мама совсем измучилась: работа, дом, уход за отцом, мои проводы... Думали, что успеем съездить в аул к своим, но не получилось.

На службу в часть меня отправляли вместе с тремя алмаатинцами. Дважды откладывался авиарейс, и мы с родителями с аэровокзала тащились домой. В конце концов и мама с папой, и я устали настолько, что обрадовались все моему состоявшемуся вылету.

Служить я попал в Московскую область, в войска космической связи. Пока летел в самолете, думал — как только приеду в часть, сразу напишу старикам большое письмо.

Ну так, как планируешь, редко ведь бывает. Прибыл в часть, обалдевший от всего — перелета, новой обстановки, обрушившихся сразу же армейских команд, устава... Пока осматрелся, пока познакомился с земляками из Казахстана, свылся с мыслью, что казарма — это на целых два года... И тут вызвал меня командир части. Сердце у меня стучало по-бешеному, пока шел к нему: чего это вдруг именно я ему понадобился?

Он вручил мне телеграмму о смерти бабушки...

Мне дали отпуск на неделю.

Плакать не мог. Выскочил от командира, бил кулаками о бетонную стену, которая была «под шубу» — такая крупная галька, выступающая из бетона. Кулаки были в лохмотьях кожи с кровью. О Аллах!..

В аул приехал в день похорон. Мои родители были там уже накануне, приехали близкие и дальние родственники, сослуживцы отца и матери, мои городские друзья и подруги, люди из военкомата и общества ветеранов, чтобы поддержать моего деда. Собрались аульчане — бабушку все уважали, всем она помогала, чем могла: кого лечила, кого учила вязать и шить, кого делать из кошмы красивые цветные ковры. Ни с кем никогда не поссорилась, никого не оговорила... Мулла отчитал положенные молитвы в доме. Хотели было везти бабушку на кладбище в открытой бортовой грузовой машине, устеленной коврами, но мы — трое моих двоюродных братьев и я — решили нести ее сами.

Стояла жара, струйки воздуха поднимались от парящей степи чуть приметными извилистыми червячками. До кладбища было километра три. Мы несли бабушку вчетвером. Ее легонькое тело, такое подвижное и гибкое при жизни, покойно лежало на носилках. Мы думали каждый о своем, но, наверное, никто из нас не считал про себя, сколько там еще осталось идти по горячей пыли аульной дороги к последнему приюту бабушки. Мулла ехал за нами в «Жигулях». С ним посадили моего дедушку, безучастного ко всему, враз похудевшего, усохшего. Перед этим ему несколько раз медсестра делала уколы. Мужчины — аульчане и родственники — шли пешком. Снеговые,

редкие облака были неподвижны в синем воздухе. Они не мешали солнцу. Облака были похожи на платок моей бабушки.

До поздней ночи во дворе нашего саманного домика толпились люди, дымилась печь, варилось в казанах мясо. Во дворе на столах, сколоченных наскоро, стояла разная еда, люди тихо разговаривали о сложностях жизни и общих знакомых, вспоминали какие-то случаи, связанные с моей бабушкой. Мама моя и ее золовки валились с ног от усталости. Дед ни в какую не соглашался прилечь. Молча сидел в накинутом теплом чапане, то задремывал, то вздрагивал и просыпался. Мама и родственники уговаривали его хоть немного поесть, но он соглашался только выпить чаю. Сникший, враз осевший книзу, он вызывал у меня отчаянную жалость. Я все понимал про него. Я знал: он не захочет жить без своей Мурсели, ему без нее ничего не нужно.

Я сидел возле него. Мне нечем было его утешить.

Вдруг дед досадливым жестом отодвинул заботившихся о нем женщин и едва слышно сказал мне: «Пойдем со мной, Мади». Я, полуоглохший от перелета, от дороги из Алма-Аты в аул, от горя, не сразу понял его. Женщины всколыхнулись возле деда, уговаривая его пойти в дом и лечь. Он снова решительно отодвинул их и повторил: «Пойдем, Мади».

Я обнял деда, помогая ему встать. «Возьми фонарик», — сказал дед. Я не смел ослушаться, побежал в дом, вынес фонарик. Дед, поддерживаемый мной, направился в сторону огорода, приостановился и тихо сказал: «Пусть они все здесь остаются, — имея в виду встревоженных его поведением родственников. — Это наше с тобой мужское дело». Я обернулся и передал его слова.

Мы медленно шли в огород, зачем — я не смел спросить об этом деда. Я подумал, что дед очень устал, наверное, хочет побыть один, ну и со мной — ведь я через несколько дней уеду в часть.

Фонарик был мощный, шахтерский. Дед уверенно шел, поддерживаемый мною, и вдруг остановился, оглядел место, словно ища что-то взглядом, и сказал: «Вот, пришли». Шагах в трех от нас лежал перевернутый вверх дном старый эмалированный таз. По краям он был обложен камешками и чуть присыпан глинистой землей. «Подними его, Мади», — тихо сказал дедушка. Я убрал камни, поднял таз. Под ним были глубокие, чуть потрескавшиеся мои следы — те, что остались больше месяца назад, когда я в последний раз поливал бабушкин огород.

— Она любила тебя больше, чем меня, — по-детски обиженно сказал дед, и губы его затряслись.

Меня подбрасывало, как в лихорадке, сердце мое разрывалось. Я прижал деда к себе, и мы оба плакали в голос.

Я знал, что в тот день у меня прибавилось еще на одного аруаха там, в неведомом мире. И он не оставит меня своей мудростью и заботой, мой надежный, самый любимый, лепивший мою душу и характер аруах.

Профессор Казахского национального педагогического университета, доктор филологии Вера САВЕЛЬЕВА известна своими научными изысканиями в литературоведении. Сфера её научных интересов разнообразна: художественная антропология и поэтика русской литературы, теория моделирования художественных миров, современный литературный процесс в Казахстане. В частности, ей принадлежат монографии «Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей», «Облака, сны, слёзы в художественной антропологии А. П. Чехова», другие. Вера Савельева является автором поэтического сборника «Четыре» и книги «Письма в складчину. Алматинский адресат Клары и Юрия Домбровских».



ЧТЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

Рассказ в новейшей русской прозе Казахстана

Рассказ есть изначальная форма литературной организации языка.

М. Веллер

Рассказ — наиболее мобильный и свободный вид художественного произведения, главным признаком которого является факт письменного рассказывания кем-то (автором, повествователем, персонажем) чего-то всем. Средний рассказ — это повесть; длинный — роман; очень короткий — это случай, анекдот, притча, басня; рассказ в стихах — это баллада, поэма. Рассказ — один из первожанров творчества.

В статье «Писатели и пишущие» Ролан Барт устанавливает разграничение между этими двумя социальными ролями и проявлениями через их отношение к языку. «Писатель исполняет функцию, а пишущий занимается деятельностью». «Писатель — это тот, кто обрабатывает (хотя бы даже вдохновенно) свое слово, и его функции полностью поглощаются этой работой. В писательской деятельности есть два правила — правила искусства (композиция, жанр, письмо) и ремесла (терпение и труд, поправки, усовершенствования)». При этом нарциссизм деятельности писателя заключается в том, что, «замыкаясь в своих заботах о том, «как писать», писатель в итоге неизбежно приходит к самому открытому из вопросов: «отчего мир таков?», «в чем смысл вещей?».

Если следовать этой логике, то рассказывающий всегда опережает пишущего. Но нужно уметь вычленивать из единого потока жизни единицу сюжета. А это уже талант писателя. Рассказ рождается как ненаписанный текст для внутреннего слуха (уха) писателя, а потом он превращается в текст, написанный для глаз и слуха читателя. В рассказе запечатлен взгляд на жизнь и образ мира. Каждый автор ищет для своего рассказа адекватное тело текста. Именно потому, может быть, текстотворчество в рассказе определяет миротворчество. Писатель и эссеист Михаил Веллер в книге «Технология рассказа» пишет: «Оперативнее прочих прозаических жанров рассказ реагирует на изменения в общественной жизни: во-первых, он попросту быстрее пишется, во-вторых, в нем труднее халтурить, выдавать желаемое за действительное, подменяя пристальный взгляд на вещи длиннотами описаний и перечнем событий».

Метажанровая природа рассказа заключается в его способности к постоянной трансформации и одновременному сохранению некоторых компонентов. Рассказ по

своей сути не знает герметически замкнутого существования. В той или иной форме, в той или иной степени выраженности всегда заявляет о себе неустойчивость этой категории. Литературовед И. Н. Крамов в книге «В зеркале рассказа» утверждает, что «рассказ многолик, и в этом прелесть и обаяние жанра». «Нельзя и не нужно ограничивать богатство жанровых возможностей рассказа какой-нибудь одной традицией, художественным направлением или сферой интересов». Этому жанру присуща пластичность, дающая возможность мгновенно трансформировать уже отвердевшие и сложившиеся формы. Жанровая структура рассказа конца XX — начала XXI века не видоизменилась коренным образом. Но этот жанр, являясь одной из самых мутирующих форм, позволяет авторам создавать новые его разновидности, отражающие дух времени. В творчестве многих писателей рассказ приобрел новые очертания, появляются и синкретические, гибридные образования, совмещающие в себе элементы различных жанров от анекдота, притчи и сценки до мелодрамы и повести. Меняется и объем рассказа: от короткого рассказа (short story) до большого текста, приближающегося к величине повести. М. Веллер, характеризую размытые каноны жанра, определяет минимальный (одна-три страницы) и максимальный объем рассказа: «Представляется, что сейчас следует определять рассказ как законченное прозаическое произведение объемом до сорока пяти страниц. Почему именно сорока пяти? Это приблизительная величина, два авторских листа. Такая вещь читается на одном дыхании. Прозу более длинную по-русски следует назвать повестью».

Новейшая литература Казахстана — это литература эпохи суверенитета. Она многонациональна. В изданной Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова коллективной монографии «Литература народов Казахстана» (Алматы, 2004) выделяются «русская, уйгурская, курдская, немецкая, татарская, корейская и другие литературы, которые, наряду с казахской литературой, представляют современный литературный процесс Казахстана». Русская проза — понятие, объединяющее всех писателей республики, пишущих на языке межнационального общения. При этом сам писатель может себя позиционировать по-разному, относить свое творчество к казахской, русской, корейской, немецкой или другой литературе.

В современной русской казахстанской прозе есть разные жанровые модификации рассказа: рассказы классического типа (А. Арцишевский, Г. Доронин, С. Назарова, К. Гайворонский, М. Земсков), короткие рассказы (Е. Тикунова, Е. Терских, У. Тажикинова), юмористические рассказы (Р. Соколовский, К. Воскобойников), рассказы-притчи (У. Тажикинова, Г. Бельгер), рассказы-новеллы (О. Марк, О. Шиленко, В. Гордеев, И. Одегов), автобиографические рассказы (Н. Чернова, Г. Бельгер, Б. Канапьянов, К. Гайворонский), рассказы с элементами мифологизма, фантастики, абсурда и гротеска (Н. Веревошкин, Г. Доронин, А. Рогожникова, М. Величкин) и другие. Рассмотрим, какие стороны жанра рассказа актуализируют в своем творчестве наши писатели.

Рассказ–ретро, или Пойманное время: Константин Гайворонский, Адольф Арцишевский, Бахытжан Канапьянов

*Эх, сейчас хотя бы одним глазом
заглянуть в то время!*

К. Гайворонский

*Всё, что было с тобой в безоглядные года,
с течением жизни становится все более бесценным,
как Парфенон или церковь Покрова на Нерли.*

А. Арцишевский

Образное мышление и творческое воображение берут свое начало в живом созерцании действительности и в целом представляют собой нескончаемый поток новых и новых ассоциаций. Форма автобиографического рассказа как раз и находится на сты-

ке реальности и вымысла. Многие из них написаны от первого лица. Этот автор-рассказчик и одновременно главный персонаж ведет свое повествование так доверительно, сообщая читателю свои сокровенные мысли и чувства, что мы начинаем отождествлять его с самим писателем. Вот почему возникает ощущение автобиографичности, может, и мнимой. Часто автор ищет сюжеты в своем прошлом, стремясь обратить время вспять, вернуть ушедшее. Назвав такие истории о прошлом рассказом-ретро, обратимся к творчеству трех известных современных писателей.

Рассказы К. Гайворонского и Б. Канапьянова были опубликованы в 2010 году на страницах журнала «Простор». «Шапка» К. Гайворонского начинается фразой: «Первый раз меня исключили из школы в скорбном марте 53-го. Во всем виновата шапка». Рассказ состоит из шести глав, в каждой из которых описываются ситуации из жизни двенадцатилетнего мальчишки. Жизнь в коммуналке с отцом-офицером, который все время должен был проводить в своей части. «Воспитывали меня случайные книжки, кино и воля вольная». Этот мальчишка похож на героя рассказа В. Распутина «Уроки французского»: одиночество, стычки с ребятами, трудности с английским. В рассказе три истории, в которых фигурирует шапка. Первая история — это рассказ о том, как у него в драке отняли шапку, а он соврал отцу, что потерял. Вторая история — это рассказ о судьбе соседа, дяди Пети, который получил срок за шапку: не снял на похоронах Кирова. Третья история — это рассказ о том, как, провожая мальчишка на городской митинг по случаю похорон Сталина, дядя Петя сказал: «Не забудь снять шапку».

Привязанный к одной детали рассказ одновременно обо всем том ушедшем времени. И не случайно взрослый голос из сегодняшнего дня порой нарушает строй повествования: «Эх, сейчас хотя бы одним глазом заглянуть в то время!», «Иногда мне кажется, что страна переживала пору детства вместе со мной. Мы были наивны, доверчивы, бескорыстны, эгоистичны...» Лиризм, четкая бытовая фактография и сюжетный монтаж делают рассказ исторически и психологически очень достоверным.

«Растоптанная лилия» К. Гайворонского написана в форме воспоминания. Это история о том, как, вернувшись из армии, герой вспоминает историю своей первой любви и непоправимых ошибок. Девушку звали Лизой, и не случайно герой упоминает «бедную Лизу» Карамзина, а сам, подобно Эрасту, винит себя в совершенном девишской самоубийстве. Тогда он тяжело пережил его: «Лизы больше не было. Меня тормозили сослуживцы: что случилось? А ничего, просто меня стало меньше, я стал другой. Месяц с гаком замкомвзвода не ставил меня в караул, опасаясь, как бы я не прострелил себе голову. А потом все завертелось по-прежнему. Под ремень приходилось ходить через день. Тянул службу, вспоминал Лизу, наши встречи. С поста хорошо просматривалась близлежащая округа: лес, поле, крутой берег реки. Широка страна моя родная... Отчего же тесно душе на твоих бескрайних просторах?» Завершая рассказ на взлете тоски, автор как бы хочет поделиться ею с читателями.

Как отмечают критики и исследователи, творчество поэта Б. Канапьянова богато и разножанрово, но для нас важно обратить внимание на его рассказы. В основе сюжета рассказа Б. Канапьянова «За хлебом» лежит эпизод из жизни мальчишка, которого нянька посылает за хлебом, велит купить «буханку белого и буханку черного». Мальчик с радостью отправляется в это недалекое, но самостоятельное путешествие по улицам города. Описывая улицы своего детства, автор заставляет и читателей увидеть их глазами юного героя. В ларьке рядом с домом хлеба не оказывается, и мальчик идет в дальний магазин, где становится в очередь.

И вот там его случайно видит отец и ведет сына на встречу с каким-то писателем в городской сад. Мальчик не очень внимательно слушает выступления, он озабочен другим: вдруг «хлеб закончится в магазине». Это вызывает улыбки отца и писателя, а тот вручает ему подписанную книгу, на обложке которой мальчик прочел слово «Абай». В конце рассказа возбужденные отец и сын возвращаются домой, в их сетке-авоське лежат «две буханки хлеба, белого и черного, а также книга, пахнущая еще не ушедшей

типографской краской, запах которой перебивал душистый и ароматный запах вечернего хлеба».

Б. Канапьянов выдвигает на первый план две художественные детали — хлеб и книгу, каждую из которых сопровождает особый, запоминающийся запах: душистый и ароматный запах хлеба и запах типографской краски. Автор не называет имени писателя, но название книги позволяет нам узнать его — это Мухтар Ауэзов. «Прошли годы и десятилетия. Мальчик стал поэтом, писателем, издателем. Вышло много книг мальчика. В разных странах и на разных континентах. Он и сам побывал во многих странах, даже в тех, которых он не видел на карте своего далекого детства. И когда он получает из типографии очередной том полного собрания сочинений гения казахской словесности, писателя, на встречу с которым повел мальчика отец, он сквозь свежую типографскую краску всегда ощущает ничем неистребимый душистый аромат хлеба из далекого и незабываемого детства».

Многие свои рассказы А. Арцишевский извлекает из жизненных впечатлений и воспоминаний. Автор-повествователь и он же часто рассказчик-персонаж пребывает в ситуации поисков утраченного времени. При этом нарастающая временная дистанция увеличивает ценность прожитых мгновений и событий. Рассказ «Чай с коньяком» начинается фразой: «Он проснулся от чувства утраты». Никаких причин для тревоги нет, жена и пятилетняя дочь мирно спят, но вдруг он вспомнил себя девятнадцатилетнего и восемнадцатилетнюю девушку с серыми, доверчивыми глазами. Вечный кризис мужского возраста как бы впервые открывает для себя герой рассказа. В рассказе нет бунинского надрыда, но есть тяжесть вины и убежденность в бесценности пережитого: «Смешно и глупо все это, подумал он теперь в свое сорокалетнее утро. Но в сорок лет от себя, девятнадцатилетнего, отречься не будешь. Всё, что было с тобой в безоглядные года, с течением жизни становится все более бесценным, как Парфенон или церковь Покрова на Нерли».

Знание и описание быта представляется важной и существенной основой рассказов-ретро. Рассказы А. Арцишевского строятся на сопряжении двух начал. Прежде всего умения описать конкретные, сохраненные в памяти реалии быта, которые зримо передают ощущение прошедшего времени. Второе — сопроводить жизнеподобную картину мира сегодняшними чувствами, настроениями, мыслями. Автор-рассказчик заявляет: «Я живу в мире тревожных ассоциаций». В рассказе «Брат» описан послевоенный быт, непременным атрибутом которого был примус. «На кухне беснуется примус. Перед ним, засучив рукава гимнастерки, стоит Ромашов с набором примусных иголок. Он сосредоточенно исследует шум пламени». В «Казанском вокзале» оживают мальчишеские воспоминания о Москве 1947 года, когда автор-рассказчик впервые оказался в столице. Семья ночует на вокзале, так как не получается «выдрать» в кассе билет. Уже проели все деньги, и отчим решает продать боевые ордена предприимчивому покупателю: «Покупатель был в поношенном, но еще крепком полупальто, называлось оно «москвичка», сейчас такие не носят, и во рту у него поблескивала золотинка». «Отчим расстегнул китель, стал отвинчивать ордена — Отечественной войны третьей степени и Красного Знамени. Они отвинчивались плохо, будто вросли в китель, впечатались намертво, он не свинчивал их никогда. Он прикусил нижнюю губу и явно психовал, он всегда психует, когда не получается чего, и лучше под руку ему не попадаться». Для художественного видения А. Арцишевского очень важно визуальное, чувственное начало. Вот и появляется в его рассказе гастрономический натюрморт послевоенного времени: «Он увидел перед матерью на лавке колбасу ломтями, коричневато-розовую, с белыми крапинками жира, полбуханки хлеба с ноздреватым упругим мякишем, белые пластинки лука».

В рассказе «Ищу наследство» рассказчик-персонаж бережно восстанавливает, как будто реставрирует, образ отца-художника. «Он умел писать холсты легко и быстро. И несмотря на ранние запои, мог бы сделать многое. Работа в музее была его первым крупным заказом. Первым и последним. И дело тут не в отце. Просто шел 1941 год. Отцу тогда было 23 года. Ему так и осталось 23 года. Мне сейчас много больше. Я ча-

сто думаю, до чего же это нелепо, если дети взрослее отцов. Знаешь, отец, в моем представлении ты удивительно молод. И если я испытываю к тебе какие-либо чувства, то не сыновьи, а скорее отцовские». Выстраивая события дней детства и юности, рассказчик завершает произведение фразой: «У меня растет сын». Сюжет о вечном возвращении времени и невозвратности ушедшего оживает в композиционном кольце текста. «Голос воды» — это тоже рассказ-откровение о том, как отец узнает себя в сыне. Тема взаимоотношений отца и сына развивается в прозе Арцишевского не по фрейдскому сценарию. Писателю важно представить не отдаление младшего от старшего и не скрытую раздраженную ревность старшего к младшему. Где-то на заднем плане они есть, но не это становится точкой кипения сюжета, а иное — история сближения, узнавания себя в другом и открытие другого в себе.

Триптих «Дом», на мой взгляд, является сердцевинной малой прозы писателя. Кажется, что он создан на одном дыхании. В нем три небольших рассказа: «Яшка» — об осле, купленном дедом в 1945 году, чтобы строить дом для всей большой семьи. Второй рассказ — «Король», о «великом сапожнике» Ваське, который шил обувь всей улице и был калекой. Еще в нем сообщается о продаже Яшки, чтобы купить железо на крышу дома. Третий рассказ «Тарзан» — о последнем псе в семье и переезде на новую квартиру. Дед перед переездом по уговору Короля решает продать пса скорняку, но мальчик не дает этого сделать. А потом Тарзан всеми собачьими способами пытается помешать сломать дедов дом. «Тарзан метался, как дьявол, он охрип и мешал всем работать. Они отмахивались от него ломami, пытались поймать или пришибить, а он увертывался и не уходил. Он защищал наш дом».

Что осталось от всего пыла кипевших когда-то страстей? Только память. Да и та подводит. «Рассказал я младшему сыну про деда, про дом, про Тарзана. Решили мы с ним провести место, где стоял дедов дом. Долго искали и никак не могли отыскать. Там столько понастроили... Сердце чуяло, он где-то рядом, клочок земли, освященный моим детством, смертью бабушки, жизнью деда».

Мировоззрение писателя можно понять через его отношение к неостановимому бегу времени. Что ему ближе: ощущение делимости времени и дробности промежутков; или, может, конфликтности уходящего и наступающего ему на пятки нового времени. Сценарий поведения писателя Арцишевского я бы определила так: желание связать прошлое с настоящим или хотя бы минимально сократить дистанцию отдаления. Это алгоритм действий соиздателя. Может быть, не случайно в рассказе «Ищу наследство» возникает описание звуков разных часов: «Вечером мы слушали с ним часы. Они шли по-разному, хотя показывали одно и то же время. Будильник был нетороплив и звучен. Ему почтительно поддакивали ходики, у них тусклый и дребезжащий звук. Ручные часы жили как муравейник, неслышно и торопливо». Современному человеку привычнее беззвучные электронные часы на батарейках, но звук часов детства незабываем. Так, балансируя между конкретикой эпик и лирикой, А. Арцишевский создает свою форму рассказа-исповеди, рассказа-ретро о том, что осталось в памяти и душе навсегда.

Рассказ — никогда не умирающий жанр. Он демократичен и подчиняется как опытному автору, так и начинающему. Сюжеты для небольшого рассказа подстерегают тебя везде. Иди и смотри.

Вера САВЕЛЬЕВА

Писатель, драматург, эссеист. Родился в 1942 году в селе Енбек Жангельдинского района Кустанайской области. Окончил филологический факультет КазГУ. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Лауреат Государственной премии РК. Толен АБДИК — автор нескольких сборников рассказов и повестей: «Горизонт», «Осенние листья», «Нерассказанная истина», романа «Мертвая пчела», посвящённого годам коллективизации в Казахстане, драмы «Нас было трое». Отдельные произведения переводились на украинский, узбекский, киргизский языки.



ПРОЗА

Толен АБДИК

Таласбай

Рассказ

Когда времена меняются, злодеяния, совершенные при прежней системе власти, подвергаются критическому анализу. В смутные периоды истории сколько безвинных людей было осуждено, расстреляно, сколько имущества, скота было насильно изъято — масштабы материальных потерь еще возможно подсчитать. Не подлежат подсчету лишь духовные потери. В мире не существует мерил или прибора, которым можно было бы измерить внутренние страдания человека. И твоя духовная сущность живет в тебе самом и не является особо важной для окружающих. Впрочем, во все времена находились люди, жертвовавшие собой ради своих убеждений и веры.

В старинных поэмах и легендах о любви судьба героев, принесших себя в жертву, тесно связана со свободой непреклонного духа. Их безграничная вера в истинную любовь растоптана. И только своей смертью они могли противостоять чудовищному злу и насилию.

Вероисповедание подобно любви. Невозможно подсчитать, сколько людей испытывали духовные страдания во времена тоталитарной системы, когда тысячи мечетей было разгромлено и десятки тысяч духовных лиц убиты или сосланы в Сибирь.

Хотя моя матушка Разия не знала наизусть сур из Корана, но она всю жизнь поклонялась одному Аллаху. Каждый день она просила Бога: «О Всевышний! Только Ты один надежда и опора моему единственному сыну!»

Наше детство совпало с расцветом атеизма. Учителя внушали нам, что вера в Бога — это удел невежества. Сама жизнь, даже сам воздух был пропитан идеологией атеизма. Мне было интересно наблюдать, как мать начинала пугаться, когда я прибегал к ней и внезапно выпаливал: «Матушка! А Бога нет!» Она вела себя так, будто ничего и не слышала, и старалась выйти из дому. А я догонял ее и кричал: «Матушка, а Бог ведь не существует!» Моя бедная мама менялась в лице, сердилась, но, не смея ругать единственное чадо, с мольбой просила меня: «Дорогуша, скажи что-нибудь хорошее, доброе!» А другое говорить мне было неинтересно. Мне, глупому мальчугану, было

важно превосходство над старшими, когда они не могли перечить или возразить мне по поводу существования Бога. Мы были несмышлеными сорванцами идеологической системы того времени. Нам внушили, что религия — это опиум для народа, правоверных людей мы считали неугодными. Но жизнь не всегда соответствовала нашим понятиям.

В нашем ауле жил почитаемый всеми мулла по имени Таласбай. Его длинная белая борода серебрилась, и от него исходил лучезарный свет. Когда он читал молитву, нас поражал его пронзительный, завораживающий голос. Кстати, в нашем ауле был еще один мулла по имени Мейрам. У него тоже был чудесный голос. По характеру он был эмоциональным и активным человеком и не мог спокойно сидеть на одном месте. При чтении молитв он покачивал головой из стороны в сторону, словно исповедовал Всевышнему свою неизлечимую душевную боль и печаль.

А звуки молитвы из уст Таласбая несли в себе торжество вечных ценностей, душевное умиротворение и благодать. Закрыв глаза, он погружался в прекрасный, неведомый нам мир, из которого не хотел выходить. Закончив суру, он безмолвно продолжал сидеть с закрытыми глазами. Для него чтение Корана являлось не просто религиозным обрядом, а смыслом всей жизни. Сельчане считали, что в голосе Таласбая есть волшебный звук. Не помню от кого, но позже я услышал о Таласбае вот такую интересную историю.

В смутные времена известный на всю округу мулла Таласбай попал под волну репрессий. Говорят, что вначале он отбывал срок в лагерях Казахстана, затем его депортировали на Колыму. Сколько лет он пробыл в ссылке, неизвестно, но в те годы сроки получали немалые — по 20—25 лет. Сам народ переживал тяжелые времена, а положение ссыльных было и того хуже. Днем осужденные работали в забое, расположенном в десяти километрах от лагеря, а с закатом солнца возвращались в лагерь. Надзиратель — жестокий тип, неугодных ему осужденных ставил на самые опасные участки забоя. Работающий, дисциплинированный Таласбай, благодаря силе и стойкости, особому гневу начальства не подвергался.

Как-то в забое произошла авария, и ссыльные возвращались раньше времени. В тот день они проходили мимо кладбища, где хоронили покойного. Несмотря на тяжелое, голодное время, народ не хотел забывать свои обычаи. Высокий мужчина в красной шапке, с проседью в бороде, распоряжался процессом похорон: «Кто будет читать Коран, тому приготовьте садака!» Сердце Таласбая защемило, когда он услышал слова «читать Коран». Сколько уже лет он не слышал чтения молитв. Тяжело вздохнув, он осмелился подойти к надзирателю и умоляюще попросил:

— Дорогой, здесь провожают в последний путь покойного. Разреши присутствовать на похоронах! Чуть погода я догоню остальных...

Надзиратель был поглощен своими мыслями и, даже не посмотрев на него, сказал:

— Ладно, не опаздывай.

Таласбай отделился от группы осужденных и отправился на кладбище. Он расположился в сторонке от сидящих. Худощавый старик, вполголоса прочитав суру «Кулхуалла», взял положенный ему сверток. Это, видимо, была садака.

Вслед за ним молча читал другой старик. Слов молитвы не было слышно, шевелились только его губы, и никто не мог определить, что он читает. Ему тоже вручили сверток. По окончании ритуала чтения молитв мужчина в красной шапке обратился ко всем: «Кто еще желает прочитать?» — и, не дожидаясь ответа, отвернулся и поднял с земли верхнюю одежду. В это мгновение Таласбай понял, что наступил момент исполнить свою давнюю мечту. Если он

не использует эту возможность, то навряд ли такая удача подвернется ему еще раз. Почувствовав это, он рискнул и начал во весь голос читать суру «Иасин». Эту долгую, сложную по своему напеву и словам суру сами муллы читали редко. Таласбай настолько соскучился по этой суре, что при первых же её звуках у него потекли слезы.

Закрыв глаза, он с таким воодушевлением и упоением читал аяты, что все вострепнулись. Его завораживающий голос становился все сильнее и величественнее. Из уст лились таинственные, особенные, будоражащие душу звуки. В эти чудодейственные звуки слились все человеческие страдания, потери, желания и мечты. Сквозь эти аяты каждый прочувствовал свою судьбу. Все смотрели на незнакомца с умиротворением и надеждой. Таласбай по привычке сидел с закрытыми глазами. Он пытался на миг забыть свои страдания, это мучительное существование. Ему не хотелось завершать суру.

Молитва теребила души родных покойного, которые молча глотали слезы, так как по традиции мусульман во время молитвы нельзя плакать в голос, чтобы не беречь душу покойного.

Каждому, кто был тогда рядом, вдруг открылась простая истина, что человек по божьей воле познает смысл жизни и служение Всевышнему является главным его предназначением.

Когда Таласбай прочитал «Субыхан», все подняли вверх ладони. Таласбай, внезапно замолчав, обратился к старцу напротив:

— Как звали покойного?

— Исмайыл, — ответил тот неуверенным голосом.

— А как звали его отца?

— Иманбай, — ответил кто-то.

Таласбай, раскрыв ладони, громко произнес: «Эту молитву читаем за упокой души Исмаила, сына Иманбая. Пусть она найдет покой и смирение! И пусть Аллах дарует его потомкам мирную и праведную жизнь. А также эти суры посвящаем Пророку (мир ему и благословение) и сподвижникам, всем святым и мученикам, павшим на пути Господнем. О Всевышний Создатель, прости покойных за грехи их в мирской жизни, спаси души их от мучений и страданий! О Всевышний Аллах! Убереги ныне живущих от злодеяний и рабства, от тщеславия и лицемерия, от зависти и мести, от земных катастроф, от тысяч бед и невзгод!»

Завершив молитву, Таласбай ладонями обвел лицо. Все, кто слушал его, притихли — они были глубоко потрясены.

— Светоч мой! Откуда ты родом? В нашей округе нет человека, который так проникновенно читает молитву, — с нескрываемым удивлением спросил его старец.

— Мы оказались здесь по воле судьбы, — ответил Таласбай, опустив глаза. — Пятый год пошел, как я нахожусь вдали от дома, от родной земли.

— Ты находишься в ссылке? — настороженно спросил старик.

Таласбай, не зная, что сказать, умолк. Немного погодя прервал тишину:

— Да, старейшина. Мои прадеды были правоверными. Я тоже был муллой в мечети. Но с нами расправились таким образом, что мы оказались неугодными. Честно признаться, даже не знаю, где сейчас находится моя семья. По распоряжению власти оказался в столь отдаленных местах. Человек со многим смиряется. Но сердцу не дает покоя другое. Запрет на вероисповедание — вот что убивает душу. Иногда мне снится, как я сижу за чтением Корана. А сегодня мне выпала такая возможность исполнить свое желание.

— И голос твой, и слова твои особенные. Видно, хороший ты человек. Слава Аллаху, что ниспослал тебя нам. А как тебя зовут, сынок?

— Таласбай.

Старик встал и, указав рукой, сказал:

— Вон наш аул. Мы просим тебя почтить наши поминки. Не можем тебя вот так просто отпустить. Обратно тебя проводят джигиты.

— Да, да. Наш аул здесь совсем рядом, — поддержали старика другие.

— Для нас большая честь, что вы пришли на похороны, мы благодарны вам, что вы с нами почтили покойника. Вас пригласил Абекен, уважаемый старейшина нашего рода. Мы тоже будем признательны вам, если вы проедете с нами в аул и отведаете наши скромные приготовления! — сказал мужчина в красной шапке.

Как бы ни торопился Таласбай, но не мог отказать и вместе со всеми отправился в аул. Хозяева дома с пониманием отнеслись к положению Таласбая и скоро накрыли дастархан. После трапезы все взоры вновь обратились к гостю. Таласбай на этот раз читал суры из Корана более спокойно и сосредоточенно. Присутствующие с упоением слушали милые сердцу забытые интонации. Доселе аулчанам не доводилось слышать такого чудесного трепетного пения и испытывать такое блаженство души. Люди стали делиться охватившими их чувствами, бурно обсуждать свои впечатления. Человек в шапке утихомирил их:

— Уважаемые сородичи, всем нам хорошо известен нрав этих надзирателей. Как бы не попасть под их гнев. Пусть наш Абекен благословит почетного гостя, и мы с Богом проводим его.

Старец Абекен поднял свои худые и жилистые ладони.

— Дорогой мой! Ты находишься на истинном пути. Ты мне годишься в сыновья, поэтому даю тебе отцовское благословение! Пусть Всевышний примет твои молитвы, поддержит твои деяния и помыслы да осветит твою праведную жизнь! Пусть Господь убережет тебя от непредвиденных невзгод и потерь! Крепкого тебе здоровья и скорейшей встречи с родными и близкими. Аминь!

— Ауминь! — вторили ему остальные.

Таласбая решил проводить человек в красной шапке. «Я поеду в сторону Тайсойгана, а вас оставлю по дороге», — сказал он Таласбаю. Они сели на лошадей и тронулись в путь. На краю аула их ждал мальчуган с привязанной козой. Сопровождающий Таласбая прихватил животное с собой. За беседой они и не заметили, как добрались до лагеря. Сопутник спешил и обратился к Таласбаю:

— Меня зовут Бейсенбай. Я тоже очень рад тому, что с вами познакомился. Желаю вам быстрее возвращения домой. А это — примите как милость божью, — и протянул ему веревку от связанной козы.

— О Создатель, что мне с ней делать?! Да нам в лагере и не положено... — отказывался Таласбай.

— Ничего. Таке, рядом с вами столько народу, пусть отведают мяса, заодно и помянут покойного, — сказав это, Бейсенбай сел на лошадь и повел за собой на поводу другую. — Прощайте, уважаемый! — крикнул он, повернувшись напоследок.

Таласбай, оставшийся наедине с животным, почувствовал волнение и неловкость, но успокоив себя, повел козу за веревку в барак. Привязав ее у входа, он зашел внутрь и увидел, как начальник лагеря отдавал поручения дежурному. Таласбай подошел к начальнику, но тот выразил недовольство:

— Ты обещал возвратиться вовремя.

— Прошу прощения, гражданин начальник. Если разрешите, хочу вам показать кое-что...

Начальник посмотрел на него с подозрением.

— Не сердчайте, гражданин начальник, — стал успокаивать его Таласбай. — С вашего позволения я отправился на кладбище и присутствовал на похоронах. По просьбе местных жителей прочитал молитву за упокой души. По традиции тому, кто это делает, определяют долю, которая называется «садака». Это животное и есть «садака». Доставил, чтобы разделить с вами этот дар.

— А нам что-то нужно делать? — с непониманием возмутился начальник, далекий от народных традиций.

— Требуется только зарезать эту козу, — ответил Таласбай, сдерживая улыбку.

— Да что ты говоришь?! — заулыбался подобревший начальник. — Это же трофей! Тебя и впредь стоит посылать в такие места.

Одному Богу ведомо, сколько времени не пробовали мяса не только осужденные, но даже и надзиратели. Животное зарезали и мясо отправили начальнику. Тот смягчился и передал часть в общую кухню. В тот вечер в бараке был настоящий праздник. Правоверный Таласбай приобрел уважение в лагере.

После окончания Великой Отечественной войны Таласбая реабилитировали. Он возвратился из ссылки и приступил к своему заветному делу, продолжал служить в мечети. Мы, неоперившиеся сорванцы того периода, не понимали, почему простой народ уважал и почитал муллу Таласбая, хотя нам все время внушали, что религия — это опиум для народа...

Повзрослев, я уехал из аула и не часто получал известия из родного края. Позже слышал, что Таласбай умер от аппендицита. Говорят, что отказался от операции.

«На все воля Аллаха. Наша судьба, все наши деяния, болезни и излечения от них в воле одного Всевышнего. Одному Создателю ведома моя жизнь...» — успокаивал он своих близких.

И со временем образ Таласбая сохранился в моей памяти как образ стойкого и честолюбивого человека, правоверного мусульманина, покорного и милосердного раба Божьего. Его возвышенный дух, убежденность и глубокая вера во Всевышнего Создателя помогли ему выстоять в трагические годы геноцида и перегибов в политике. До конца своих дней он сохранил чистое сердце и трезвый разум, на которых лежала печать провидения.

Перевод М. Айжарыковой

Любовь ШАШКОВА родилась в Белоруссии, окончила факультет журналистики Казахского государственного университета. Поэт, переводчик, критик. Член союзов писателей СССР, России и Казахстана. Редактор отдела культуры и очерка журнала «Простор». Автор книг «Пора подсолнухов», «Ты есть я», «Диалоги с Надеждой», «Из трех книг», «Луг золотой», «Хранители огня», «Предполагаем жить...», «Два вольных крыла», сборника избранных стихов «Песни жаворонков». Любовь Шашкова — заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Награждена Почетным знаком Государственной думы Российской Федерации «За вклад в культуру и искусство».



ПОЭЗИЯ

Любовь ШАШКОВА

Там, где деревянный дом

Герань

*И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.
М. Лермонтов*

...И разбудит утром ранним
Детства незабытый дар —
Солнце с запахом герани,
В занавесках алый шар!

Кто легчайшими перстами —
К лепесточку лепесток —
Собирал живое пламя
В этот огненный цветок?

Чтобы ангел поднебесья
Средь неведомых дорог
Со своею тихой песней
Заглянул на огонёк.

Чтобы миром, чтобы ладом,
Весь налитый солнцем всклень,
Под его святым приглядом
Начинался новый день.

Чтоб, как шар герани полный,
Он светился изнутри
Неизбывно щедрым полднем,
Лаской позднею зари.

Чтоб семейное преданье
Длилось в книге бытия:
Детство. Алый шар герани.
Ангел. Бабушка. И я.

Там, где деревянный дом

1.
На предгорьях в пояс травы,
В воздухе медынь разлита.
Ангел левый, ангел правый —
И Георгий, и Никита.

Держат детские ладоши
Две руки моих открытых.
Мир заведомо хороший,
Где Георгий и Никита.

И конца нет у дороги.
Поспособствуй, Боже правый,
Вот Никита и Георгий.
Сохрани их. И направь их.

2.
Там, где деревянный дом,
Где горы высятся кругом,
Где шумит под боком речка, —
Утро всходит на крылечко.

Лучик солнца зайцем — скок
От дверей — на потолок,
А потом к Никеше с Гошей:
Выходите, день погожий!

Выходите, хватит спать!
Не проспите, братцы, лето,
Начинайте-ка планету
О-би-ха-жи-вать!

Дошика

Проснуться с перекличкой петухов
И теньканьем невидимой пичуги,
И дальнее мычание коров
Ещё добавит благодати округе.

И утро будто вымыто насквозь —
Горит, переливается, играет.
И легкий бриз то вкупе, то поврозь
Листву карагачей перебирает.

И этот самый мирный из миров,
Лежащий меж тургенскими холмами, —
Неужто же в смещении основ
Затрясся ночью ходуном под нами?!

Что, что там в прорве каменной дрожит?
Что в нас ответным ужасом качнулось?
Чу! Успокойся! Это рыба-кит
Слегка в подземных водах повернулась...

И встанет день. И лучший из миров
Животворящим светом будет залит.
И пение соседских петухов
Твою ночную жуть перегорланит!

В ладонях гор покоится долина —
Цветущий край на божий рай похож.
Когда ж дрожит он дрожью исполина,
О чем она — земная эта дрожь?

Пора барбариса

1.
Над шумливой речкой склоны
Рыжим пламенем взялися.
Мир, вчера еще зеленый,
Входит в пору барбариса.

В пору позднего тепла,
На зиму запасов бранных,
Чтоб и дальше жизнь текла
С терпким привкусом осенним.

2.
В путанице диких веток
Мир колюч и фиолетов.
В нем горит шиповник жарко,
Рясны кисточки боярки.

Сквозь колючки продираюсь:
То повинность или радость?
То забава иль забота?
Чу! Свистит на ветке кто-то:

— Эй, подружка, не неиствуй!
Первый заморозок стукнет,
Облетят шальные листья —
Станут ягоды доступней.

Ты права, ведунья-птаха,
Ведь и мне в предзимье этом
Откровенье поздних ягод
Драгоценнее, чем летом.

Александр ЛУХТАНОВ, писатель-натуралист, фотохудожник, краевед, родился в 1934 году в Семипалатинске. Окончил Казахский горно-металлургический институт. Участник нескольких орнитологических экспедиций. Автор множества снимков живой природы, которые вошли в атласы птиц мира, изданные в Лондоне, Берлине, Праге. Им проиллюстрировано пятитомное издание «Птицы Казахстана». Известно и литературное творчество Александра Лухтанова, в частности, его книги о природе: «Филин», «Лесная пристань», «Тропинками радости». В последние годы изданы и несколько книг о путешественниках и исследователях земли Казахстана: «Медвяная роса», «Лесное фотоателье», «Алтайское притяжение».



ПРОЗА

Александр ЛУХТАНОВ

Улыбка Эрнста

Рассказ-воспоминание о военной Алма-Ате

Светлой памяти старшей сестры Ольги

Бывает, выпадет такая минута, задумаешься, и перед глазами встают картины давно минувшего. Наверное, это бывает с каждым, когда перевалит за пятьдесят, воспоминания детства не дают покоя, все больше терзая душу. И чем дальше уходят те военные сороковые годы, тем мучительней хочется заглянуть в далекое прошлое, снова увидеть себя шести-восьмилетним мальчишкой, бегущим босыми ногами по залитой утренним солнцем мягкой дорожной пыли.

Безжалостен бег времени. Пелена лет застилает память, стираются лица, детали событий, и лишь иногда во сне вдруг явственно увидишь свой дом с длинной верандой, которая тогда казалась палубой плывущего по морю садов корабля, мутную речку Поганку с обрывистыми берегами, глинобитные дувала заборов, камышовые крыши беленых приземистых хат. Довоенную Алма-Ату вовсе не зря называли большой деревней. Одноэтажные деревянные и саманные домики едва выглядывали из гущи садов и деревьев. Только некоторые улицы в центре города были асфальтированы, остальные заросли мелким клевером или же, наоборот, утопали в пыли и грязи. В садах, подступающих к городу со стороны гор, куковали кукушки, цокали ярко-красные фазаны, а на улице мог выскочить длинноухий заяц-толай.

Когда на город опускались сумерки, в густых кустах карагачей и вязов заливались соловьи, мелодично перекликались миниатюрные совы-сплюшки, а со стороны речек и многочисленных арыков доносились нескончаемые трели жаб.

В те годы в Алма-Ате было много душистой белой акации. Ее запахи соперничали с ароматом сирени. Этими цветами были завалены школьные классы во время экзаменов. Позже, в июле-августе, по вечерам и ночью улицы благоухали пряными и очень сильными ароматами липы и душистого табачка. Но в это благовоение врывались и совсем другие, дурно пахнущие «ароматы». Ведь в эти же тихие ночные часы ездили «золотари» — канализационные обозы. Услышав грохот тележных колес по булыжной

мостовой, парочки влюбленных с ужасом шарахались по сторонам, убегая подальше от зловонных бочек.

Город строился. Уже поднялись белоснежные двух-и трехэтажные дома по улицам Дзержинского, Фурманова, Калинина. С недавних пор в городе провели трамвайную линию, ходило несколько автобусов. Во многих случаях их заменяли открытые грузовики со скамейками. Все же к автомобилям уже привыкли. Зато когда раздавался рокот трактора, то посмотреть на грохочущее чудище ребятишки сбегались со всех соседних улиц. Любимым развлечением было наблюдать за буксующими в грязи автомобилями. В городе было великое множество арыков, в которых то и дело застревали грузовики. Вытаскивали их мучительно долго и с великим трудом.

В строительных лесах стоял оперный театр. Проходя как-то мимо, мать подвела меня к высокому дощатому забору, и я сквозь щель увидел уже почти готовый бело-розовый, словно огромная морская раковина, дворец. Стройкой там руководил мой родной дядя.

Мы жили на западной окраине города, на берегу речки Весновки. Правда, это название никто не употреблял, зато за речкой прочно закрепилось другое наименование — Поганка, наверное, за то, что она служила местом свалки. Это были почти высылки, в простонародье звавшиеся Кучугурами. Буквально через несколько кварталов начиналась холмистая степь, где ранней весной цвели белые подснежники, крокусы, чуть позже желтые тюльпаны, а потом полыхали целые поля ярко-красных маков. Здесь проживал разный люд, который и горожанами можно было назвать только наполовину. У всех, конечно, были сады, многие держали скот. О том, кто здесь жил, говорили названия улиц: Уйгурская, Дунганская, Дехканская, Гончарная. Уйгуры и дунгане, поселившиеся здесь с незапамятных времен, были искусными огородниками. В своих крохотных двориках они творили буквально чудеса, выращивая чудо-овощи для продажи на рынке. На Гончарной улице, понятное дело, когда-то жили гончары, на Дехканской — крестьяне-мусульмане, а еще здесь жили и люди с темным прошлым, как говорила мать, тюремщики и воры.

В стране шла размеренная мирная жизнь, но в воздухе уже витало слово «война». К ней готовились, и это видели даже мы — дети. Каждый вечер, прихватив с собой табуретки, домохозяйки собирались под развесистой старой вербой на занятия по гражданской обороне, которые проводил перепоясанный кожаными ремнями красный командир. Не знаю, как взрослые, но мы — дети — воспринимали эти коллективные сборища на улице как праздник, что-то вроде вечеринок.

Война ворвалась ярким солнечным днем. С утра до ночи по радио тревожно пели «Если завтра война, если завтра в поход». Эту песню часто исполняли и раньше, но теперь она звучала уже не как предупреждение, а как страшная реальность. Весь город, содрогнувшись от ужаса, пришел в молчаливое движение.

Все понимали, что война будет затяжной, и, как могли, готовились к предстоящим лишениям. В первый же день в продовольственных магазинах было скуплено все, вплоть до черствой буханки хлеба, до последней банки консервов. Когда вечером, вернувшись с работы, отец взял меня в магазин, то мы увидели голые и некрашенные, совершенно пустые деревянные полки.

Шла спешная мобилизация. Воинские части формировались прямо во дворах учреждений и тут же на улицах проходили обучение. В неимоверной алма-атинской духоте, обливаясь потом, красноармейцы тренировались в штыковом бою и бегали изнурительные многокилометровые кроссы. Бывало, упавших в обмороке нам, мальчишкам, приходилось отливать водой. На этот случай у каждого дома наготове стояли ведра с водой, и хозяйки с готовностью поили буквально загнанных солдат. Сердобольные женщины возмущались жестокостью командиров, жалели красноармейцев, еще не осознавая, что ждет всех их — и начальников, и рядовых — на фронте.

Даже в Алма-Ате, удаленной от фронта на многие тысячи километров, проводились учебные маскировки, завешивались и наглухо закрывались ставни в окнах. Эшелон за эшелонам на запад уходили воинские части, навстречу двигались составы с оборудованием демонтированных заводов. Война все больше вторгалась в жизнь всех без исключения людей.

У папы, немолодого уже человека, была «бронь». Его оставили, как нужного для тыла человека. Он преподавал в Горном институте и готовил инженерные кадры для рудников и шахт. А как известно, рудники Казахстана давали фронту почти весь свинец для пуль, медь для гильз и патронов, марганец для танковой стали, много угля и разных других металлов. Названия рудников — Ачисай, Текели, Риддер, Караганда — все время были на языке отца. До войны отец часто ездил туда в командировки.

Вскоре стали прибывать беженцы и эвакуированные. На глазах росло население города. Всех нужно было где-то разместить, поэтому горожан обязали потесниться и подселить квартирантов. Предстояло подселение и в наш просторный дом. Я и моя старшая сестра Леля с интересом и радостью ожидали новых жильцов. Первой приехала мамина сестра тетя Фима, эвакуированная из Москвы. Это была шустрая тетка с крючковатым носом и в очках с невероятно толстыми линзами. Уже с первых ее слов стало ясно, что она остра на язык, обладает сметливым умом и неистощимым оптимизмом. Потом в одной из комнат поселилась пожилая чопорная дама — пианистка из Киева Мария Исаковна Окунь. Она преподавала в консерватории и согласилась давать уроки музыки нам с сестрой.

Папа превыше всего ценил образование. С детства его отличала необыкновенная тяга к учебе. Сын крестьянина-ремесленника, сам он, несмотря на все препятствия, чинимые своим отцом, хотевшим видеть его продолжателем дела, окончил два института и, конечно же, собирался дать своим детям хорошее образование. Его голубой мечтой было обучить нас музыке и иностранным языкам. Поэтому и квартирантов он выбирал самых экзотических. Так как музыкантша у нас уже была, то для полного папиного счастья предстояло найти еще преподавателя немецкого языка.

И вот как-то, придя с работы, папа с энтузиазмом объявил, что нашел новых квартирантов.

— Это семья шведского скрипача, — сказал он невинно и, как показалось нам, с некоторым смущением в голосе.

— Как шведского? — несколько ошарашенная таким известием, воскликнула мама. — Они что, иностранцы? Как же мы будем с ними общаться? — добавила она так, словно речь шла о жителях Луны.

— Ничего, — бодро сказал папа, — как-нибудь объяснимся, зато посмотрим, как живут цивилизованные люди, поучимся иностранной культуре. Все-таки европейцы. Я уже с ними познакомился. Фамилия их Брюкнеры.

И папа рассказал, что это семья антифашистов, эмигрировавшая из гитлеровской Германии в Прибалтику. Перед войной они жили в Риге, а после нападения на страну немцев их эвакуировали в Алма-Ату. Сам Брюкнер профессор музыки по классу виолончели. Жену его зовут Нора Францевна, с ними еще дочь Марианна и сын Эрнст.

— Уж не хочешь ли ты учить детей играть еще и на виолончели?

В мамином вопросе звучала не только ирония, но и усмешка.

— Да нет же, — успокоил папа, — Брюкнеры говорят по-немецки, пусть дети поучатся у них языку.

— Ну что ж, — вовсе не успокоенно, а скорее обреченно сказала мама, — одна профессорша у нас уже есть, теперь будет две.

Слово «профессорша» мама произнесла с ноткой иронии в голосе. Мария Исаковна была капризной и очень высокомерной дамой.

Вместо платы за постой наши новые квартиранты, так же как и Окунь, должны были давать уроки мне — мальчишке шести лет — и сестре Леле, десяти лет. Таково было условие папы.

Брюкнеры въехали со множеством огромных кожаных чемоданов, саквояжей и футляров с музыкальными инструментами. Сам Брюкнер оказался здоровым тучным человеком лет 50-55. Звали его Ной Болтазарович. За ним семенили его жена Нора Францевна — сухонькая, невысокого роста женщина — и дочь Марианна — высокая девица лет 16 с отвислыми щеками и толстыми губами. Причудливо одетые, в старомодных башмаках с бантами, они жеманно несли в руках всякую мелочь: зонтики, какие-то коробочки. Замыкала шествие собака необычной для тех лет породы — шотландская колли. Все это здорово напоминало сценку из стихотворения Маршака «Мистер Твистер».

Отец суетился, помогая грузному Брюкнеру и молодому парню, которого я было принял за грузчика. Но оказалось, что это вовсе не так.

— Эрнст, — представился он, когда вещи занесли, и застенчиво улыбнулся.

— Рот фронт? — спросила вездесущая и идейно подкованная тетя Фима.

Хотя она и не была коммунисткой, но за пролетарскую солидарность могла всегда постоять и поспорить с любым.

— Я, я, — закивал головой Эрнст и повторил вслед за теткой: — Рот фронт!

Без тети Фимы с момента ее приезда в доме не происходило ни одного маломальски важного события. Каким-то неувимым образом в нужный момент она всегда оказывалась под рукой, считая своим долгом вмешаться в любое дело и обязательно дать совет. Бывшая жена паровозного машиниста, она считала себя интеллигенткой и знатоком светской жизни. Она перечитывала все газеты, попадавшие ей на глаза, была в курсе всех международных событий, была отчаянно смела и общительна сверх всякой меры. Едва только за новыми жильцами закрылась дверь, как тетка тут же нырнула вслед за ними и уже через полчаса делилась своими впечатлениями с моими родителями. Как она объяснялась с иностранцами, осталось для всех загадкой.

Оказалось, что Эрнст вовсе не родной сын Брюкнеров, а приемный. Настоящие же родители Эрнста, живущие в Германии, с приходом к власти Гитлера переправили сына своим знакомым в Прибалтику, чтобы избавить от службы в армии.

— Какие благородные люди! — с пафосом воскликнула тетка. — Они, конечно, коммунисты. Только они могли спасти парня от Гитлера, — выразила она свое убежденное мнение.

Слушая этот разговор взрослых, мы с Лелей были не совсем согласны с теткой. Брюкнеры вовсе не вызвали к себе симпатии, а вот Эрнст понравился. Чем? Конечно, был он высокий, красивый, хотя еще и нескладный паренек лет 17. Я думаю, что он покорила нас своей мягкой, почти девичьей улыбкой и, конечно, тем, что был почти мальчишка. И хотя и не сверстник нам, но все же помоложе и попроще показавшейся нам чопорной и недоступной Марианны.

В доме уже собирались укладываться спать, когда вышел Брюкнер и о чем-то стал толковать с отцом, все время упоминая имя Эрнста. Отец молча кивал, потом сказал:

— Ладно, как-нибудь уладим.

— Он говорит, что надо где-то пристроить Эрнста, — сказал маме папа, когда Брюкнер вышел. — В комнате у них ему нельзя.

— Да, да, — понимающе отозвалась мама, — ведь он же им не родной, тем более с ними молодая девушка. Придется положить у нас, вот только где? Разве что на кухне.

Мы с Лелей, будто сговорившись, радостно переглянулись: «Ура, Эрнст будет жить с нами!»

У нас, действительно, уже не осталось свободных комнат, и Эрнста поселили на кухне. Это было большое полуподвальное помещение с окном, выходившим во двор на уровне земли, уютное и теплое. Папа мечтал провести сюда водопровод и устроить ванную. В тридцатые годы это было почти немыслимое дело, а когда началась война, об этой затее и вообще позабыли. Кроме обычной плиты здесь стояла большая русская печь, и длинными зимними вечерами мы любили собираться тут всей семьей. Все усаживались за большой стол, и папа читал книги Толстого, Некрасова и особенно часто Гоголя с его рождественской ночью, чертями и ведьмами. Отгороженная раздвижной ширмой, с недавних пор тут поселилась тетя Фима, и вот теперь в другом углу отец с матерью устроили топчан для Эрнста. Пока мать с теткой хлопотали, настилая постель, Эрнст молча стоял с виноватым видом. В руках он держал небольшой холщовый мешок. Кроме этого мешка все его имущество состояло из виолончели в изрядно потертom кожаном футляре красно-коричневого цвета. Теперь даже нам стало понятным, почему Эрнст очутился вместе с Брюкнерами. Сын музыканта, он был учеником у Брюкнера, профессора музыки.

Мы с Лелей зачарованно смотрели на незнакомый, загадочный для нас музыкальный инструмент. Изящные формы, плавные изгибы, завитушки на грифе, затейливые прорезы на деке — все это будило в нас те же чувства, что мы испытывали, когда входящий к нам настройщик пианино снимал переднюю панель и открывался вид на внутреннее устройство инструмента с его струнами, многочисленными молоточками, оклеенными зеленым бархатом, блестящие бронзовые штифты, старинный рисунок с красивой женщиной и цветами на внутренней панели и все нутро фортепиано, казавшееся нам сказочным, почти волшебным городком звуков, вместилищем таинственных музыкальных гномов.

Считавшая себя специалистом тетка сразу назвала инструмент Эрнста контрабасом, что нас с Лелей почему-то покорило. То ли дело певучее и романтическое: виола, виолончель. Нам хотелось повторять его и повторять.

— Ну вот, будешь теперь жить с бабушкой, — тараторила тетка, пересыпая речь поговорками и прибаутками. — Испугался, небось, старуху, про ведьму вспомнил, а ты не бойся. Старый да малый, у печки как-нибудь перезимует, перебьемся. Воробышки-то вон как на холоде, на морозе скачут, прыгают, весну ждут. И мы весну дождемся, а там, глядишь, и война кончится. Гитлера прогонят, а ты, Эрнст, Бог даст, и домой вернешься.

Разговорчивая старуха была рада новому соседу и, наверное, позабыла, что Эрнст не понимает русского языка. Она уже успела соскучиться по сыну Пете — моему двоюродному брату, ушедшему на фронт с первых дней войны. Рядом с молодым пареньком ей было легче страдать, ожидая весточек от сына. И так уж сыграла судьба, что вместо сына рядом с ней оказался сын немца, то есть, по тем понятиям, сын врага, врага, с которым сражался ее собственный сын. Но тетка была мудра и при всем фанатичном патриотизме, при всем сталинском настрое на подозрительность ко всему чужому, который тетка успела воспринять и поверить во все это, у нее ни разу не возникло ни тени отчуждения, ни тени сомнения в том, что Эрнст свой, пусть не по родству, не по национальности, не по сословию, а по душе, по сердцу, по всему тому, что роднит всех людей, что заставляет нас всех чувствовать, что мы все одинаковы в своих горестях и радостях, что мы все люди. Тогда, в первый вечер, Эрнст, ничего не понимая, молча улыбался и кивал головой. Здесь ему было суждено прожить целый год. Не думаю, что было ему очень уж уютно в чужой стране и чужом доме. Наверное, поэтому он старался быть дома как можно реже. По целым дням, а то и неделям он пропадал, не ночуя дома. Где? Я в то время об этом не задумывался, да и время стерло из памяти. Наверное, где-то работал, перебивался случайными заработками. Если сам Эрнст оставил о себе неизгладимый след, то был его каким-то непостижимым образом стерся из моей памяти. Регулярно он поднимался к Брюкнерам, репетируя трио вместе с Ноем

и Марианной. Бывало, пил с нами чай, когда угощали мать или тетка, но при этом всегда стеснялся и краснел. Ему было неудобно стеснять нас, тем более объедать в это трудное и голодное время. Но я забегаю вперед, а хотелось бы все рассказать по порядку.

Утром следующего дня мама очень долго ждала, когда квартиранты проснутся, но только часов в 12 раздалось пиликанье скрипок. Мама тихонько постучалась, чтобы дать кое-какие хозяйственные разъяснения.

— Войдите! — слышался хриловатый голос Ноя.

Мама приоткрыла дверь и тут же выскочила, словно ошпаренная.

— Нет, нет, я больше туда не войду, — в смущении сказала она в ответ на любопытствующее лицо своей сестры.

При этом щеки ее пылали багрово-пунцовым румянцем. Тетя Фима, не боявшаяся, по ее словам, ни черта, ни дьявола, сердито чертыхнулась и смело ринулась в дверь. Была она там довольно долго и вышла хихикая и, как всегда, спокойная и деловитая.

— Подумаешь, — сказала она матери, — испугалась мужика в подштанниках — принято так у них. Я вот слышала, что они и в бане вместе моются: мужики и бабы. Нам это не понять, а для них обычное дело.

Все же мама не согласилась, сказав с возмущением:

— Ну уж нет, не нужна мне эта буржуазная культура. Снаружи форс, а ковырни — одна гниль. Отец в кальсонах, а дочь взрослая телеса свои развесила. А ты говоришь «какие благородные люди!» — передразнила мама тетку. — Ни стыда ни совести у них нет.

Мне было непонятно, почему нет совести, и я обратился за разъяснением к матери.

— Не приставай с глупыми вопросами, — сказала мама, — голышами ходят они у себя дома. Принято, наверное, у них так, и тут уж ничего не поделаешь.

Это было так удивительно, что я решил посмотреть своими глазами, что же там происходит на самом деле. Улучив момент, когда все вышли, я заглянул в замочную скважину и увидел поразившую меня картину: отец и дочь, действительно почти голые, сидя на кровати, изо всех сил двигали смычками. Оба в одних трусах, Ной, со спины и во всю грудь заросший черными волосами, и Марианна, как Лорелай из стихотворения Гейне, с распущенными по плечам волнистыми льняными волосами и без бюстгалтера. В ногах их, тоже на кровати, на ярком клетчатом пледе лежала Роги — так звали собаку. Нора готовила завтрак, разрезая хлеб на немыслимо тонкие ломтики. Тут хлопнула дверь, и я смущенно отвернулся.

Занятия немецким языком начались темным осенним вечером. На улице уже стояли сырые ноябрьские холода. Услужливо улыбаясь, Нора вошла в комнату и тут же стала спиной к горячей печке. Мы с Лелей чинно сидели за столом и вопросительно глядели на нее. Зябко ежась и потирая руки, старуха сказала на ломаном русском языке:

— Что я говорю, то вы говорю.

Затем она поднесла корявый палец к своему глазу и сказала:

— Ауген.

Мы повторили следом:

— Ауген.

Дважды произнеся это слово, Нора перешла на другие детали своего лица, при этом она то и дело бросала взгляды на обеденный стол, где была расстелена льняная белая скатерть и стояли чашки и блюдца.

Вошла мать, неся горячий чайник и тарелку с хлебом, маслом и испеченными белыми булочками.

— О-о! — радостно воскликнула Нора. — Вы кушайте такой хлеб! Зер гут, очень карашо.

Нора тут же забыла про уроки и стала торопливо намазывать масло на хлеб.

Конечно, беженцам жилось гораздо хуже, чем нам. Возможно, сверхскромно жили немцы и в Германии. Во всяком случае, моих родителей всегда поражало то, как бережно, словно к драгоценности, относились они к хлебу. Резали они его, как говорила мать, на ломтики бумажной толщины. Впрочем, голодные дни были совсем близко для всех нас. Наверное, это был последний белый хлеб, последнее масло, которые люди видели за все годы войны, да и последующие годы лишений.

Через несколько дней соседский мальчишка, вредный, везде сующий свой нос Генка, ехидно спросил меня:

— Что, у вас фрицы живут?

Было в этом вопросе что-то осуждающе-подозрительное, конечно, не без влияния взрослых.

Я и сам еще не мог разобраться — хорошо это или плохо, что у нас поселились Брюкнеры. Конечно, они вызывали интерес, но с другой стороны, они были все же немцы, а с Германией мы воевали. Но Эрнст мне явно нравился, а кроме того у Брюкнеров была Роги — красивая и необычная собака. Поэтому я и ответил Генке:

— Ну и что, немцы. Немцы тоже разные бывают. А Эрнст вообще против фашистов.

Генка расплылся в противной улыбке и пропел:

— Немец, перец, колбаса, жарена капуста!

Ни о каких репрессиях я, понятное дело, не мог и догадываться, но все же от слов подозрительного Генки у меня остался неприятный осадок. Даже тетка, рассказавшая мне по этому поводу о Эрнсте Тельмане, не могла рассеять мои сомнения. Получалось так, что вся страна с немцами воюет, а мой отец пригласил к себе немцев жить. Было во всем этом что-то такое, о чем мне не хотелось ни с кем на улице говорить, как будто мои родители делали что-то нехорошее, недозволенное, что, как догадывался я, могло не понравиться многим людям.

Было еще и другое, что тревожило меня. Мне было неудобно перед товарищами на улице за то, что у всех отцы воюют на фронте, а мой отец дома. Однажды я прямо задал ему вопрос об этом. Отец отнесся к этому очень серьезно. Подумав, он ответил:

— Знаешь, мне и самому нехорошо все время. Неудобно как-то перед людьми. Три моих брата воюют, а я вот в тылу на службу хожу. Я уже просился, заявление написал, но институт пока не отпускает. Некому преподавать. Говорят, без тебя там обойдутся. А когда надо будет — возьмем. Вот и хожу на работу, повестку жду.

Этот ответ меня несколько успокоил, но тем не менее что-то вроде вины перед товарищами у меня все равно осталось.

С приходом квартирантов наш дом превратился в некое подобие музыкального общежития или небольшого концертного зала. Звучные рулады неслись из разных углов дома. Из комнаты Окунь, или Окуньши, как называла ее мать, слышались трескучие и раскатистые гаммы фортепиано. Мария Исаковна хищным коршуном набрасывалась на рояль и с ожесточением терзала старенький инструмент. Руки ее так и мелькали над клавиатурой. Она была профессиональной пианисткой и не только преподавала в консерватории, но и давала концерты в филармонии. В городе были расклеены афиши, извещавшие о ее концертах. Фортепианным звукам вторили тягучие и густые басы двух виолончелей и одной визгливой скрипки. Это репетировали Брюкнеры с Эрнстом. Временами трио смолкало, и из-за дверей был слышен сердитый и раздраженный голос Ноя, делавшего разнос своим молодым ученикам. Больше всего доставалось, конечно, Эрнсту. В эти моменты мы с Лелей ненавидели Ноя и жалели Эрнста.

— Марьяну свою так не ругает, — возмущалась Леля, — а только и знает, что грызет бедного Эрнста.

«Карабас-Барабас, — в свою очередь пришло мне на ум, — злой владелец кукольного театра. Ему бы только плетку в руки».

Мы с Лелей тоже вносили свою лепту в музыкальную какофонию. Отбарабанив на пианино домашнее задание, мы в отсутствие родителей разыгрывали целые спектак-

ли, то пытаясь воспроизвести громовой концерт мадам Окунь, то изображая ее саму с ее визгливыми возгласами и жеманными манерами.

В годы войны Алма-Ата дала приют не только эвакуированным с запада заводам и отдельным людям, но и коллективам многих центральных театров. Сюда съехались известные деятели культуры, знаменитые артисты кино и театров. Для нашей семьи это было очень кстати, так как отец решил, что настало время приобщить детей к искусству. Это выражалось в том, что мы всей семьей стали посещать театры. Каждый такой поход был праздником. Особенно любили ходить в оперный театр. После убогой военной обстановки только что отстроенный театр поражал меня своим великолепием. Роскошное убранство зала, огромная хрустальная люстра, расписной плафон свода над головой, пиликанье настраиваемых в темноте музыкальных инструментов, гулянье в антрактах с выходом на наружный балкон, где веял прохладный ветер с гор, — все это волновало так, что потом несколько дней я ходил под впечатлением спектакля. Конечно, разве мог я тогда по-настоящему оценить искусство артистов! В балете «Дон Кихот» на сцене порхала Уланова, а мое внимание было приковано к Росинанту — лошади доблестного рыцаря. И хотя лошадей в городе было сколько угодно, на сцене конь выглядел огромным и нелепым. Конь в страхе переминался с ноги на ногу, а я с тревогой смотрел на него, боясь, что он сделает что-либо непристойное и испортит сцену — ведь на вид он был совсем не клыча, а вполне упитанный, можно даже сказать, жирная лошадь, вовсе не чета настоящему Росинанту.

— Не беспокойся, — весело сказал папа, узнав про мои тревоги, — перед спектаклями коней не кормят и не поят.

Папа кое-что понимал в театральных делах. Будучи красноармейцем в пору гражданской войны, он играл в самодеятельных спектаклях, любил их и сейчас живо все воспринимал.

От «Ивана Сусанина» я остался в недоумении: почему старика с громовым голосом называют «с усами», хотя на меня гораздо большее впечатление произвела его большая белая борода. Не умея читать, на слух слово «Сусанин» я воспринимал как «с усами».

В «Дубровском» мне было так жаль умирающего в последней сцене героя, что капали слезы. Поэтому я был очень обрадован, когда он, целый и невредимый, раскланиваясь, вышел из-за опустившегося занавеса на сцену. Я был твердо убежден, что сделал он это для того, чтобы успокоить расстроившихся зрителей. Когда я поделился с Лелей, то она рассмеялась, что меня сильно обидело.

«Конька-Горбунка» я воспринял в соответствии со своим возрастом и, придя домой, с восторгом прыгал с дивана, изображая резвого жеребенка.

Посещения оперного театра не прошли даром. Леля стала грезить музыкой. Ночами, тайком от родителей, под одеялом она слушала по радио через наушники музыку из Москвы. При Сталине всячески пропагандировали классическую музыку, а самые лучшие концерты передавались глубокой ночью. Днем же оперные арии лились с заигранных пластинок нашего патефона.

«Куда, куда вы удалились?» — в который раз вопрошал Ленский, а я все крутил ручку патефона.

Опера «Евгений Онегин» была любимой у сестры. Долгоиграющих пластинок тогда не было, и вся запись оперы размещалась в огромном альбоме, на обложке которого красовались рельефные портреты Пушкина и Чайковского. Он был такой тяжелый, что мы с трудом поднимали его только вдвоем. И хотя в доме было много пластинок с записями арий итальянских опер, арию Ленского Леля могла слушать до бесконечности. Мы оба ненавидели холодного реалиста Онегина и до слез жалели сентиментального романтика Ленского. Но все же мне больше нравилась ария Трике и сцена дуэли. Когда секундант гробовым и зловещим голосом произносил sacramентальную фразу «Теперь сходитесь», а оркестр, взвинчивая трагическую мелодию, зве-

нел все громче, я подбегал к пианино, откидывал крышку и с размаху ударял локтями обеих рук по басовой октаве инструмента. Громовой аккорд сливался со звуком рокового выстрела Онегина.

Как-то за этим занятием нас застал Эрнст. Он зашел, чтобы взять ключ от комнаты, и мы едва ли не силой заставили его остаться. Прослушав пару арий с пластинок, Эрнст помолчал, а потом сказал:

— Чайковский гут, Бетховен зер гут.

Потом он принес виолончель, открыл обитый изнутри бархатом футляр и, вынув потемневший от времени инструмент, привинтил к нему острую подставку-упор. Лицо Эрнста стало сосредоточенным и отрешенным от всего земного, видно было, что мысли его витают где-то далеко-далеко. Поставив инструмент на пол, он взял в руки длинный смычок, задумался и незаметным движением дотронулся до струн. Полился густой и сочный звук, певучий и до предела напряженный. Виолончель пела человеческим голосом грустно и печально. Нежная мелодия то медленно плыла, то, будто взмахнув крыльями, убыстряла свой темп. Она то баюкала, то будила, плакала и рыдала, к кому-то взывая и моля. Было и тревожно и в то же время сладостно хорошо. Подперев щеку рукой, в неподвижности сидела тетя Фима. Как она появилась в комнате, никто не заметил. С напряженным вниманием, спрятавшись за печку-голландку, слушала Леля. Постепенно мелодия стала затихать, рука Эрнста двигалась все медленнее, звуки дрожали, пока не замерли совсем. Некоторое время никто не произносил ни слова.

— Да-а, — вздохнула наконец тетя Фима, — вот она, настоящая музыка. Под такую музыку и умирать не страшно. Но все-таки, Эрнст, слишком большой у тебя инструмент. Очень мощный. Знаешь, как у Маршака: «Ах, твой голос так хорош, но слишком громко ты поешь».

Смысл тети Фиминых слов Эрнст понял.

— Комната маленький, — словно извиняясь, сказал он.

— Звукам тесно, для виолончели нужно большое помещение, — догадалась тетя Фима.

Леля молчала, стесняясь высказывать свои чувства, но я-то знал, что она сейчас испытывала!

Между тем шла война. Тянулись дни, заполненные тревогами, надеждами и отчаянием. Даже у нас, детей, тема войны стояла на первом месте. Каждый день люди обращали свой взор к черному бумажному диску радио, висевшему на стене. Это был своего рода божок, к которому прислушивались с тщетной надеждой и ожиданием добрых вестей. Он был единственным источником информации о происходящем на фронте. Бывший у нас до войны радиоприемник, как и у всех, был забран властями. Для чего это было сделано, никто толком не понимал. Наверное, для того, чтобы никто не мог слушать зарубежные радиостанции или, тем паче, не вздумал бы переделать его в радиопередатчик.

Немецкие танки рвались к Москве, но их остановила дивизия генерала Панфилова, которая формировалась в Алма-Ате, и политрук Клочков, сказавший громкие слова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Эти слова, повторенные в плакатах и многочисленных агитационных лозунгах, висели в фойе кинотеатров и на стенах домов. Парк Федерации переименовали в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Артисты театров ставили спектакли на военные темы. Утесов пел смешные песенки про фрицев:

— Барон фон дер Пшик наелся русский шпик...

Красноармейцы на плакатах Кукрыниксов накалывали на штык Гитлера, Геббельса и прочих фашистов. Немцы извивались, корчились червяками, змеями, строили обезьяньи рожицы, скалили зубы и высовывали раздвоенные языки.

Сводки Совинформбюро ежедневно сообщали количество убитых немцев и наших, сколько ранено и пропало без вести. Выражение «без вести» я воспринимал как «в из-

вести» пропавшие и в своем воображении видел солдат, падающих в ямы с разведенной известью. Такие ямы я помнил еще со времени строительства нашего дома (не хватало емкостей) и недоумевал, откуда и зачем на войне столько ям, что в них пропадают тысячи красноармейцев.

Дожить до послевоенной поры было заветной мечтой каждого советского человека. Верили, что вот тогда-то начнется счастливая жизнь. Как-то на нашей улице появился незнакомый человек и всем встречным говорил, что скоро нам помогут американцы, откроют второй фронт и мы быстро победим. Люди выбегали на улицу, с неподдельным вниманием слушали случайного незнакомца, а потом бежали по соседям, чтобы объявить радостную весть: «Скоро мы победим и война кончится».

Но война не кончалась, а наоборот, все больше затягивалась. И тогда надежды на победу сменялись отчаянием. Некоторые люди не выдерживали и начинали паниковать. В городе ползли слухи о самострелах на фронте. О том, что некоторые солдаты стреляют себе в руку, ногу, а то и убивают себя сами, то есть предпочитают умереть сразу, нежели жить в постоянном страхе и ожидании смерти в боях. Я сам был свидетелем разговора соседки Агафьи Петровны, попросту Агафьи, словоохотливой бабы, с матерью и теткой. С заговорщицким видом, приблизив лицо к матери, Агафья тихо рассказывала:

— Так и стреляются. Договариваются между собой, становятся один против другого и стреляют одновременно, по счету: раз, два, три, а потом сразу оба: «Ба-бах!»

Тетя Фима сильно рассердилась. Такой я ее видел впервые.

— Ты бы, Агафья, поосторожней, — едва сдерживая себя, проговорила тетка, до смерти не любившая пораженческих настроений и принимавшая их всегда близко к сердцу, словно речь шла о ней самой. — Не болтай вредную чепуху, а то как бы тебя не упекли за это вранье. Знаешь, что бывает за распространение панических слухов в военное время? Не знаешь?

Агафья молчала, а тетка продолжала ее распекать:

— Военный трибунал, вот что за это бывает. И не посмотрят, что никакая ты невоеннообязанная, а просто бабка, торгующая на базаре чужим тряпьем.

Тетя Фима до того обозлилась, что не преминула напомнить Агафье, что она попросту спекулянтка.

— Да я ничего такого и не сказала, — оправдывалась не на шутку струхнувшая Агафья. — Говорю, что слышала, а может и правда, все это брехня, болтают люди всякое...

Сама тетка так жаждала победы, что ни разу не выразила горечи сожаления о том, что на фронт взяли ее единственного и не совсем здорового сына.

— Надо же кому-то защищать родину, — часто говорила она.

Родину она любила по-настоящему, верила партии и Сталину, но не было у нее слепого поклонения этим идолам, скорее интуитивно, чем разумом, под словом «Родина» она понимала свою страну и народ.

Красная Армия сражалась с клятвой «За Родину, за Сталина», а вся страна трудилась в тылу с лозунгом «Все для фронта, все для победы». И это было не только на словах, но и на деле. Для мирной жизни, для быта людей не выпускалось практически ничего. Торговля продовольственными товарами велась только по карточкам, промышленных же товаров, за редким исключением, не производилось вообще. Если что и покупалось, то только на базаре у кустарей-самодельщиков или спекулянтов — перекупщиков старья. Все же однажды в магазине непонятно откуда вдруг появились чайники. Конечно, не электрические, а простые жестяные, которые нагревались на огне.

— Выбрасывали, — говорила мама.

— Давали, — говорила тетя Фима.

Язык социализма уже тогда прочно вошел в быт людей.

Тетка побежала в магазин, но там уже была огромная толпа. Толпа волновалась и шумела, штурмуя двери магазина. Лезли, не соблюдая очередность, и тетка тут же

бросилась наводить порядок. Все ее красноречие и призывы сразу потонули в гуле и мате разъяренной толпы. Здоровенные мужчины оттирали женщин, работая плечами и руками. Видя, что словами делу не поможешь, худосочная тетка кошкой вцепилась в тулуп здоровенного мужика в лисьем малахае, рвущегося к заветной двери. Тетя Фима, как всегда, была настойчива и уж если за что бралась, то не отступала. Но и мужик попался упрямый. Короче говоря, оба не уступали друг другу, а так как сила была все же на стороне мужского пола, то он и ввез тетку на своей спине. Тут он смачно выругался по-матерному, отряхнулся и сбросил-таки навязавшуюся бабку с плеч. В свою очередь, удивившись такому неожиданному повороту дела, который вовсе не входил в ее расчеты, «блюстительница порядка» не растерялась и тут же подала деньги продавцу. Так она стала обладательницей нового жестяного чайника.

Потом тетка долго смеялась и оправдывалась:

— Не хотела я вовсе без очереди, так ведь он, амбал, сам меня на себе затащил.

Другая теткина покупка была связана с не менее курьезной историей. Как-то раз, никогда не унывавшая, она вернулась с базара, возбужденная более обычного.

— Тося, ты не представляешь, какая удача! — громким голосом заговорила она с мамой, еще не успев отворить калитку. — Мыло достала, купила целых три бруска. Женщина продавала, такая, приятной наружности. И взяла не очень дорого, сто рублей всего.

Действительно, в условиях войны и всеобщей вшивости достать мыло было большой удачей. Тем более мыло хозяйственное. Черные куски приятно пахли довоенным временем. Вообще, проблема бань и мытья в городе стояла очень остро. Чтобы попасть в одну из двух главных бань города, нужно было приходить затемно, рано утром, а затем долгие часы простаивать в огромной очереди. Поэтому зачастую баню устраивали дома. В ближайший банный день представлялась возможность испытать теткинскую покупку. Родители затащили в комнату большую жестяную ванну с высоченными бортами, залили ее горячей водой и накрыли сверху одеялом. Получилась настоящая парная. Первым мылся я. В ванне стояла жаркая, приятная духота. Я взял драгоценный брусок и стал себя намыливать. Провел по животу, и тут что-то царапнуло меня.

Что такое? Такого еще не бывало, чтобы мыло царапалось. Я провел еще несколько раз, но с тем же результатом.

— Что ты мне дала? — заорал я матери, высовываясь из ванны. — Это не мыло, а какой-то камень.

— Какой камень? — возмутилась мама. — Идет война, а тебе не нравится такое хорошее мыло.

Она взяла злополучный кусок мыла и внимательно на него посмотрела. И вдруг голос ее переменялся.

— Ах, жулики! — даже не вскрикнула, а как-то взвизгнула она. — Что делают! Это же не мыло, а дерево.

И в самом деле, это был деревянный брусок, лишь сверху обмазанный слоем мыла.

Все посмеялись, повозмущались, но баня в тот раз опять была без мыла.

Шли дни. С любопытством и интересом присматривались мы к жизни и быту наших иностранных квартирантов. Многое в их поведении казалось странным, необъяснимым, иногда даже нелепым. Впрочем, все это можно было объяснить трудностями военного времени, тем более людей, оторванных от родины, от привычного уклада жизни.

Открытия делали не только мы, но и наши постояльцы.

— Дас ист туалет? — уже в первый день пораженный Брюкнер с удивлением разглядывал будку в конце сада.

Папа с виноватым видом стоял, в смущении опустив голову.

— О, майн гот, у вас нет теплый туалет! — На лице Брюкнера отразилось неподдельное страдание и огорчение.

Два предмета вызывали у Брюкнера постоянное изумление: умывальник и самовар. На следующее по приезду утро безмятежно настроенный Брюкнер вышел на крыльцо, сладко потягиваясь.

— Гутен морген, — сказал он матери, и вдруг лицо его перекосила гримаса удивления. От изумления он так и застыл с окаменевшим лицом.

— Вас ист дас? — наконец спросил он, указывая на обыкновенный жестяной умывальник, под которым умывалась Леля.

Потом, поняв свою оплошность, он быстро справился с собой и, ослабившись так, что толстые щеки его раздулись, как резиновые, произнес с некоторым оттенком пренебрежения:

— А, понимайт, понимайт, руссиш водопровод.

И снисходительно добавил:

— Оригинал, оригиналь.

Столь же значительный, если не больший интерес вызывал самовар. Марианна, например, мимо кипящего самовара проходила, косясь и повторяя:

— Уф, уф!

Судя по всему, ей казалось, что самовар должен непременно взорваться. Зато Роги — неугомонное, веселое создание — сразу почувствовала себя как дома и, едва только ее выпускали на улицу, резво и шумно носилась по двору. Однажды она, к неудовольствию мамы, столкнула полный воды самовар на землю. От удара ручка согнулась и сделала вмятину в боку. Этот самовар сохранился у нас до сих пор, и, когда я смотрю на вмятину, прошедшее вновь оживает в памяти и кажется мне уже не полузабытым сном, а живой, хотя и очень далекой и милой явью. Я вижу наш маленький уютный двор, маму, молодую, красивую, резвящуюся Роги, белокурую Марианну и всех-всех прочих героев этого рассказа.

В отличие от своей веселой и ласковой собачки, Брюкнеры были скорее, наоборот, необщительными и замкнутыми, ушедшими в себя людьми. На первых порах родители оправдывали своих постояльцев незнанием языка и неустроенностью быта людей, оторванных от привычных условий жизни. Ной казался угрюмым, мрачным и суровым человеком, вообще не замечающим нас, детей. Нора Францевна — сухой, желчной старухой, досаждающей своими уроками. Марианна — неулыбчивой, неразговорчивой букой, старающейся избегать всех людей. Один лишь Эрнст был всегда доброжелателен, улыбчив и, несмотря на свою застенчивость, легко вступал с нами в контакт. Часто он смешил нас своим произношением, и не столько незнанием языка, сколько остроумным выходом из любого затруднительного положения. Перчатку он мог назвать пиджаком для руки, велосипед маленьким автомобилем, а коньки лыжами. При этом он сам смеялся над собой вместе с нами, и всем было как-то легко и просто. В семье своих приемных родителей Эрнст выполнял почти всю черновую работу, которая, впрочем, не особенно его и обременяла. Молодому парню ничего не стоило принести воду из колонки, наколоть дров для плиты или вымыть в комнате пол. Делал он это легко и как бы играючи, но даже и этот небольшой перечень обязанностей дал повод маме и тетке жалеть Эрнста, сделав из него своеобразную Золушку. От взрослых, да и от нас с Лелей, не ускользало и то, что отношение Брюкнеров к Эрнсту было совсем не таким, как к Марианне.

— Эрнст-то для них чужой, — вздыхала тетка. — Смотрят на него, как на лишний рот. Время-то сейчас голодное.

Тетка давно уже разочаровалась в Брюкнерах, временами взрываясь, и напрямую критиковала все, что ей не нравилось. Ноя она назвала барином или господином, важный вид его и впрямь к этому располагал. Все же она была объективнее мамы в оценках. Мама вовсе не жалела черных красок. Да это и было понятно: ведь ей чаще приходилось сталкиваться с жильцами, как это обычно бывает в коммунальных квартирах. То маме не нравилось, что квартиранты ушли, забыв выключить в своей комна-

те свет, и счетчик впустую накручивает электроэнергию, то мешали по ночам спать своим пикиканьем, то сидящая взаперти Роги начинала скулить, навевая на нее тоску. Словом, поводов было достаточно.

Брюкнеры, недавние выходцы из капиталистической страны, весьма своеобразно понимали советскую власть. Приехавшим с голыми руками, им весьма по душе пришлось принципы социализма, которые они выражали двумя фразами: «Что ваша, то наша» и «Что вы делаете, то и я делаю». Увидев, что мама черпает детским горшочком моей годовалой сестренки воду из деревянной бочки, Нора тут же проделала то же самое своим внушительного вида ночным горшком. Мама поморщилась, но на первый раз смолчала. Но вода, тем более не арычная, а чистая дождевая, так же как водопроводная из колонки, всегда была в доме дефицитом. К тому же мама, так же как и папа, тряслись над здоровьем ребенка, родившегося перед самой войной, поэтому в следующий раз, когда заспанная Нора окунула горшок в бочку, мама тихо сказала, коверкая немецкие слова:

— Нихт гут.

А потом, видя, что та не обращает внимания, добавила с отчаянием в голосе:

— Нельзя, нельзя, это вода ребенка.

Нора сделала вид, что не слышит, неторопливо и тщательно прополоскала в бочке горшок, а затем, повернувшись к матери, ответила, чеканя каждое слово:

— Что вы делаете, то я делаю.

Вечером отец успокаивал мать, которая, жалуясь, рассказывала ему об этом:

— Да брось, не обращай внимания на такие мелочи. Все это ерунда.

— Ну да, так она и на наш дом скоро предъявит свои права.

И мать, передразнивая Брюкнеров, произнесла их любимую фразу:

— Что ваша, то и наша.

Авторитет иностранцев как носителей высшей культуры стремительно падал. В наших глазах они превращались в никчемных, не приспособленных к жизненным трудностям, избалованных и даже ленивых людей. Лишь один папа пока воздерживался их осуждать. Он даже защищал их. Впрочем, пока все держались вполне дипломатично, соблюдая положенный этикет. «Гутен морген, гутен таг, данке, ауфвидерзеен», — обменивались мы любезностями, хотя чувствовалось, что обоюдное раздражение растет и когда-нибудь прорвется и разразится скандал.

Конечно, вмешиваться в чужие дела нехорошо. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но люди есть люди, им присущи слабости, а русский человек любит поговорить, покритиковать, попросту — развести демагогию.

— Европейцами называются, — ворчала мама, подтирая грязные следы за Ноем, — культурная раса, а грязь развезли, в комнату войти страшно. В баню не ходят, умываться не умеют, того и гляди, вши от них к нам ползут.

Брюкнеры умывались из кувшинчика над тазиком, напрочь отвергнув наш «русский» умывальник, чего им никак не могла простить мама.

— Да они ж с собакой на одной постели спят, — поддакивала тетка, — блох там, наверное! Ленивые они, вот и все. Буржуа, к труду не приспособленные. Дома у себя привыкли, чтобы прислуга за ними ходила.

— Что вы напали на них, — вмешался как-то папа. — Это же так понятно, жили в цивилизованном обществе, в квартирах со всеми удобствами: душ, ванна, теплый туалет. А тут на тебе: штаны на морозе надо снимать.

Папа любил солено пошутить. Кроме того это было его больное место, он и сам всю жизнь мечтал провести в дом водопровод и сделать ванну. Но даже и он мечту о теплом туалете не произносил вслух.

— Нет, их надо понять, — добавил он, — и вообще они не буржуи. Трудятся же. Вот если бы не работали, тогда совсем другое дело...

— А ведь и правда, — спохватилась тетя Фима. — Господи, прости душу нашу, разболтались мы. Недаром ведь говорится: «Не судите, да не судимы будете». Как верно сказано, прямо про нас.

Тетка знала Библию и, хотя она была неверующей, больше того, даже воинствующей атеисткой, тем не менее кое-что из Священного писания вспоминала, иногда вставляя в свои наставления.

— Ну не говори, — возражала мама, — тебя это не касается, а мне вот за ними грязь надо убирать, шерсть собачью из углов выскребать, а ведь у меня ребенок маленький...

Дефицитом в быту становилось все что угодно, от иголки до нитки, от табуреток до гвоздя. Люди понимали, что ни о каком роптании не может быть и речи, все это воспринималось как должное. Каждый предпочитал терпеть что угодно, лишь бы на фронте шли дела хорошо и лишь бы поскорее кончилась война. Выкручивались как могли, зачастую проявляя чудеса выдумки и терпения. В школах из-за отсутствия бумаги писали на полях книг и между строчек газет. Папа приспособился иначе. Он использовал материал, недостатка в котором не было все годы войны. Он покупал плакаты, разрезал их на аккуратные листочки и мелким почерком исписывал обратную, чистую сторону листа формулами и чертежами. Бумага эта была отличная, глянцевая, в меру толстая, не чета газетной. Мне нравилось рассматривать эти листки, на каждом из которых был изображен то остроносый, похожий на Гитлера фашист, то красноармеец со штыком или гранатой в руке. Ими можно было даже играть, складывая из отдельных листиков целые картины. Вспоминая сейчас об этом, я удивляюсь тому, как неосторожен был отец. За такие вещи тогда вполне могли дать срок. Но, видимо, какое-то время Сталину было не до репрессий. Смертельно напуганный нападением Гитлера, он даже забыл о своем излюбленном занятии — пытаться и убивать ни в чем неповинных людей, ему было просто не до этого, и он оставил людей в покое.

Долгой зимой размеренно и спокойно проходили вечера в нашем доме. Сидя за одним большим столом, каждый занимался своим делом. Мама штопает, Леля делает уроки. Папа быстро-быстро пишет что-то на бумаге. Он готовится к завтрашним занятиям в институте. Все молчат, и только слышно, как скрипит перо в папиных руках. Я сижу рядом и смотрю, как ловко движутся папины пальцы, а на листочках появляются строчки и завитушки букв, линии и черточки, из которых складывается чертеж. Вот папа кончил писать, сложил все листочки в стопку и отодвинул в сторону. Это значит, что папа написал конспекты для своих завтрашних лекций. Он не привык ни минуты сидеть без дела, поэтому, скорее всего, сейчас достанет томик своего любимого Гоголя и будет читать нам волшебные и смешные рассказы и сказки. Я уже приготовился слушать, но тут вдруг электрический свет мигнул и погас. Такое случалось очень часто, к этому привыкли, так как знали, что в городе не хватает электроэнергии. Как назло, в доме не было керосина.

— Может быть, спустимся к Фиме? — предложила мама. — У нее есть коптилка. Все-таки какой-то свет.

— И к Эрнсту, — добавил я.

Идея всем понравилась. Папа зажег огарок самодельной восковой свечи, и все стали спускаться по крутой лестнице в кухню.

— Что, надоело сидеть в барских хоромаш? — ехидно, но одновременно с веселой ноткой радости встретила нас тетка. — На чужой огонек потянуло? Ну, ладно уж, сейчас я сделаю свет.

Коптилка, лампадка, каганец — это были примитивные светильники из любой посуды с жиром и фитилем. Тетка делала их сама. Лучше всех умела она и добывать огонь, делая это с помощью своего же огнива и кресала, которые по праву считались лучшими в доме.

Тетка достала самодельную коптилку, сделанную из пузырька, поправила фитиль, отщипнув горелый кусочек скрюченными желтыми ногтями, и зажгла коптилку от папи-

ной свечки. Пламя заколебалось, осветив кухню, тетку, Эрнста, молча сидящего в углу на топчане. В кухне было жарко натоплено, вкусно пахло укропом, солеными огурцами и какими-то снадобьями и травами, приготовленными еще с лета. Во всем этом не было особого порядка, зато веяло уютом, и я, признаться, завидовал и Эрнсту и тетке, которые жили в комнате, где все так напоминало о лете.

По стенам были развешаны вперемежку связки лука, чеснока, букеты высушенных полевых цветов, березовые веники. Тут же в углу стоял и топчан Эрнста, накрытый стареньким стеганым одеялом. Он уже давно стал и моим любимым местом. Мне нравился даже запах постели: аромат старого, много раз перестиранного белья, по существу, ветоши. Я любил тут кувыркаться, и мать нередко сгоняла меня со словами:

— Ну, что ты таскаешь пыль на постель! Человеку же спать на ней.

Но я знал, что Эрнст не обидится за это.

— Что, нравится здесь? — спросила тетка, словно читая мои мысли.

Она двигалась по комнате с распущенными каштановыми волнистыми волосами, изрядно тронутыми сединой, а пламя коптилки отбрасывало пляшущую на стене уродливую тень.

— Ну, сущая колдунья, Баба-Яга-Костяная нога, хоть на помело не садись, — смеясь, тетка показывала на свою тень.

В кухне тетя Фима чувствовала себя настоящей хозяйкой.

Все, за исключением Эрнста, расселись за чисто убраным столом. Папа опять раскрыл книгу, посмотрелся в нее и тут же захлопнул.

— Нет, не могу, темно, — сказал он, — хоть в жмурки играй.

Всем стало ясно, что чтения сегодня не будет.

— А что если в картишки? — робко предложила мама, заядлая любительница преферанса и подкидного дурака.

Предложение было тут же отвергнуто. Тетка не любила карты, предпочитая более пролетарские игры, например, домино или лото. Папа не любил ни того, ни другого.

— Эрнст, может, ты нам сыграешь? — кивнул папа на стоящий в футляре инструмент.

Все вопросительно посмотрели на Эрнста.

Эрнст молчал, не зная, что сказать, но всем и так было ясно, что предложение застало его врасплох и играть ему вовсе не хотелось.

Молчание прервала тетка.

— Не в форме он, — пояснила она, — не до инструмента ему сейчас. Руки на саксауле испортил. Все в мозолях да ссадинах. Да и устает он, не до виолончели.

Эрнст виновато улыбнулся, утвердительно кивнув на слова выручившей его тетки. Он и на самом деле в последнее время приходил с саксауловой базы очень поздно.

— Жаль, — сказал папа, — а мы бы еще и Марианну пригласили. Какой бы дуэт получился!

— Дуэт, — насмешливо сказала мама, — разве ты не понимаешь, что Марианна сюда не придет! Да и Ною это не понравится.

— Да? — удивился папа. — Разве они уже не играют вместе? Эрнст ведь хороший парень.

— Это ты так думаешь, — сказала мама, — а у Ноя другое мнение.

Наверное, не слишком тактично при Эрнсте все это было говорить, но, слава богу, Эрнст еще не вполне овладел всеми тонкостями русского языка. Все же кое-что он понял. Наступила неловкая пауза. Чтобы разрядить ее, Эрнст сказал:

— Я буду показывать театр.

— Театр? — переспросила удивленная тетка.

Даже она не могла предположить такого оборота дела.

— Да, да, — подтвердил Эрнст, — китайский.

И добавил:

— Надо иметь, как это называется, экран.

— Как в кино?

— Да, да, — закивал Эрнст, — надо белое.

— Скатерть подойдет? — включилась в разговор мама.

— Я, я, — опять закивал Эрнст.

От волнения он снова перешел на немецкий язык.

Натянули белую льняную скатерть, которую мама стелила по праздникам на стол.

— Садитесь на мой кровать, — уже более уверенным голосом скомандовал Эрнст.

Мы все были страшно заинтригованы, поэтому уговаривать нас не пришлось. Все дружно расселись на топчане Эрнста. У каждого в голове застрял вопрос: что это такое задумал Эрнст?

Эрнст что-то колдовал у стола, передвигал копилку, на экране двигались тени, и вдруг все они собирались в кучу.

— Ага, понятно, — догадался папа, — театр теней.

Но никто из нас, включая тетку и маму, не знал, что это такое. Такого театра еще никто не видел. А на экране возник заяц. Он двигал длинными ушами и скакал. Зайца сменили два человечка. Они лупили друг друга тумаками, и мы с Лелей дружно хохотали. Потом Эрнст показал, как хромает больной человечек, и объяснил:

— Немецкий солдат не хочет идти на войну.

— Ну ты, брат, мастер, — удивился отец, — тебя хоть сейчас можно в театр.

— Молодец, — подтвердила тетка, — а я и не знала, что ты такое умеешь. Спасибо.

Потом мы все пили чай с теткими травками, слушали радио и обсуждали последние известия с фронта. Они были неутешительными. Флажки на большой карте, что отец повесил на стене, отодвигались все дальше на восток. Это понимал даже я. Жизнь становилась все труднее, ненависть к фашистским захватчикам все росла. Может быть, поэтому занятия немецким языком не клеились.

На уроках я дурачился, корчил всевозможные гримасы, стараясь разозлить Нору, обзывая ее за глаза норой, а Ноя — гноем.

— Дурной мальчишка, — в сердцах сказала как-то тетя Фима. — Знаешь ли ты, кто такой был Ной?

И тетка тут же рассказала мне эпизод из Библии.

— Да, но зачем мне немецкий язык? — не унимался я. — Немцы же наши враги.

— Не зная языка, нельзя победить врагов, — парировала патристически настроенная тетка.

Это была почти официальная, государственная установка. В школах редко где учили английский язык, зато немецкий был всюду.

Не лучше обстояли у меня дела и с музыкой. Барабания по клавишам пианино, я то и дело поглядывал в окно на улицу, где на ветвях деревьев чирикали воробьи и слышны были голоса играющих детей. Мария Исаковна, направляя меня, нервно подпевала голосом. Голос ее звенел все громче и громче, а видя, что я все равно не слышу ее, она злобно хватала мои пальцы в свою цепкую и сильную руку и начинала истерично бить ими по клавишам. Окунь знала себе цену, и, конечно же, разве хотелось ей возиться с непослушным хозяйским мальчишкой! Как и для меня, занятия для нее были настоящим мучением. Но что с меня было взять, ведь мне исполнилось всего шесть лет!

Однажды в самый последний момент перед занятием с Норой мне пришла мысль спрятаться наверху высокого платяного шифоньера. Я запрыгнул туда в одно мгновение, Нора уже входила. Я даже и подумать не мог, какое хорошее укрытие я себе нашел. В поисках все в доме сбились с ног. Обыскали комнаты, сарай, двор, сад, но никто не догадался поднять глаза к потолку, где я сидел, едва сдерживая смех. Вдоволь потешившись, я слез, когда в комнате никого не было. Мое неожиданное появление произвело такой фурор, что меня тут же простили. Поистине, детский эгоизм не знает границ!

Зато у Лели дела шли успешно. Она с удовольствием играла фортепианные пьесы, гаммы и этюды и могла уже довольно сносно отвечать по-немецки. К моей чести надо сказать, что я нисколько этому не завидовал, ведь в моих глазах куда как важнее было научиться кататься на коньках или играть в лянгю и асыки.

Вдруг как-то сразу и неожиданно после холодного и туманного февраля пришла весна. Под теплым и ласковым солнцем быстро просохли полянки, поросль нежной, как пух, травки покрыла склоны бугров, на берегах Поганки зажелтели мелкие звездочки куриной слепоты. Кинжальчики ростков ирисов, нарциссов, ландышей вылезли из сырой цветочной клумбы. Голые ветви огромных развесистых верб украсились пушистыми барашками золотистых сережек. Остро запахла набухшие почки пирамидальных и серебристых тополей. Пахло дымом от сжигаемых в садах листьев, прошлогодней сухой травы, распаренным навозом из конюшен и хлевов. По вечерам над прогретой землей опускались синевато-сиреневые сумерки. Из всех изб и домов высыпала детвора. Многие безвылазно просидели в домах, так как не имели одежды или обуви. Вместе с пением петухов, квохтаньем кур, бляением коз и ревом ишаков ребячьи голоса звенели с утра до позднего вечера.

Приход весны прибавил нам новых забот. Теперь, кроме занятий музыкой и немецким языком, мы должны были еще пасти козу Шурку.

Каждое утро мы выгоняли Шурку на берег Поганки, где она щипала молоденькую траву, и все прохожие сразу же обращали внимание на ее большие рога, считая своим долгом обязательно померяться с козой силой. Даже Брюкнер, несмотря на всю свою важность, не устоял от соблазна показать свою удаль.

— А-а, козел, — сказал он радостно, и злые огоньки блеснули в его глазах, — надо с ним борись!

Как видно, у Ноя было благодушное настроение. Он поставил большой и толстый портфель на землю, засучил рукава, обнажив толстые волосатые руки, и схватил Шурку за рога. Пытаясь повалить, он дернул козу к себе, но Шурка мотнула головой и вырвалась. Толстяк потянулся к ней, но козлуха отбежала назад и вдруг, резво сделав выпад вперед, с размаху ткнула толстяка в живот. Тот, не ожидая такой прыти, неловко покачнувшись и вдруг рухнул на землю.

— Ах, ты так! — грозно прорычал рассвирепевший Карабас и, как лев, всей своей тушей бросился на новую атаку. Шурка испуганно заблеяла и, натянув веревку, отпрыгнула в сторону. Неуклюжий Ной, конечно, промахнулся и со всего размаха шлепнулся в пыль.

— Ха-ха-ха!

Ребятишки, окружившие борцов, покатались со смеху. Мы с Лелей тоже не могли удержаться и хохотали до слез.

Брюкнер коротко выругался, пнул козу ногой в бок и, бросив на нас злобный взгляд, торопливо зашагал домой.

С тех пор Шурка невзлюбила нашего квартиранта, твердо усвоив, что Брюкнер чужак в доме. Зато Роги не видела никакой разницы между своими хозяевами и нами. Ласковая и веселая, с вьющейся рыже-желтой шерстью, она была неотразима. Ею любовались не только мы с Лелей, но и все соседи и прохожие, ведь Роги была едва ли не единственной собакой колли во всей Алма-Ате. Когда Марианна выходила с Роги гулять, то собака носилась как угорелая между нами и своей юной хозяйкой. Замкнутая и нелюдимая Марианна была намного старше нас, и мы никак не могли с ней сдружиться. Это было очень неудобно, и даже собака недоумевала, не зная, на ком остановить свой выбор. Все же, когда Марианна доставала огромный роговой гребень, чтобы расчесать ей шерсть, Роги покорно ложилась у ее ног. Очевидно, ей нравилась эта процедура, мы же в эти минуты завидовали Марианне, страшно ревнуя к ней Роги.

В те годы многие алмаатинцы, особенно на окраинах, жили по-деревенски. К этому располагал и мягкий южный климат, и сельская тишина улиц. В уютных верненских

двориках готовили пищу, обедали и спали. А на заросших белым клевером и мелким спорышом лужайках было раздолье для любых детских игр.

Любимой игрой была конечно же война. Причем войны велись по-настоящему. Враждовали два берега Поганки. Река служила границей. Оба враждующих лагеря вели войну по всем правилам военного искусства. В обрывистых берегах речки рыли пещеры, которые называли «штабами». Делали набеги, стараясь их разрушить, или устраивали сражения с перестрелкой камнями. Существовало правило: «железные», как назывались настоящие камни, не кидать, а пользоваться только земляными. Однако в пылу сражений о правилах забывали, и в ход шла речная галька, благо она всегда была под рукой. Это было уже опасно, и мне не раз приходилось возвращаться домой с разбитой головой. Как-то в ходе «боевых действий» меня застал Эрнст. Он взял меня за руку и повел домой, пытаясь внушить свое мнение.

— Война не надо, — сказал он. — Война — это очень плохо. Воевать — плохие люди.

Он помолчал, а потом добавил:

— Воевать — это фашисты.

В голосе его звучала убежденность. Меня же в то время интересовало совсем другое.

— Не говори маме, что мы дрались, — попросил я Эрнста.

— Я, я, гут, — Эрнст понял меня и с готовностью кивнул.

Я знал, что Эрнст сдержит слово и не подведет меня.

В другой раз, видя, как я скачу по улице и размахиваю над головой карагачевым прутом, Эрнст выстругал мне из рейки деревянную саблю и, вручив, сказал:

— Гитлер капут.

В его руках все спорилось.

— Давай я сделаю свистеть, — сказал как-то Эрнст.

— Дудочку, — подсказал я.

— Да, да, — подтвердил он. — Надо найти хороший дерев.

Мы пошли по улице, а Эрнст, задрав голову, осматривал каждое дерево. Мы прошли мимо карагача, вяза, ивы. Эрнст отрицательно качал головой.

— Это гут, — остановился наконец Эрнст перед раскидистой липой.

Он пригнул ветку и ножичком срезал ровный сучок. Потом аккуратно остругал оба конца и сделал посередине надрез. Сложив ножичек, он долго и осторожно стучал ручкой по бокам чурбашки, стараясь отделить кору от дерева. Когда кора отстала, он провернул сердцевину и, сунув в рот, свистнул. Звук у свистульки был негромкий, немного гнусавый, но приятный. Прошло несколько дней, и у всех пацанов нашей улицы были такие же свистульки. Уважение к Эрнсту возрастало. Все давно забыли о том, что он немец. Всеми он воспринимался как свой парень, я же гордился им, будто он был моим старшим братом. Даже Надька, соседская девчонка, молча наблюдавшая за нашими играми, однажды сказала:

— А ваш Эрнст красивый.

Я очень удивился этому высказыванию, хотя про себя давно уже думал то же самое. Но я никогда бы не смог этого объяснить. А Надька, словно разрешая мой вопрос, добавила:

— Потому что он не белокрысы, как вы, Шурка с Гришкой, а темный. И брови у него черные. А все брюнеты красивые.

Такое открытие вовсе не обидело меня, я был слишком мал, чтобы ревновать или обижаться, но мне было удивительно, что Надька, соплюха, которую я считал чуть ли не дурочкой, оказалась умнее меня, она знала то, о чем не мог догадаться я. Что же касается Эрнста, то я был только рад за него. С Эрнстом у меня давно сложились дружеские отношения, и лишь большая разница в возрасте не дала перерасти нашей общей симпатии в дружбу. Да и смешно, если бы Эрнст позволил себе принимать участие в наших детских играх и забавах. И виделись мы не так уж часто. Он исчезал из дома затем-

но, когда я еще спал, а по вечерам надолго уходил в комнату Брюкнеров. Зато встречаясь приветливо улыбался, жал и тряс руку, считая своим долгом обязательно сказать что-нибудь смешное. Гораздо больше Эрнст общался с тетей Фимой. Поздними вечерами у них было много времени, чтобы поделиться своими мыслями. Обращаясь к тете, Эрнст называл ее «гросмутер», что означает «бабушка». Она же в свою очередь, смеясь, называла его немецким сыном. Благодаря общению о Эрнстом любознательная старуха едва ли не лучше нас с Лелей успела овладеть немецким языком.

Летом Эрнст работал на саксауловой базе. Он разгружал железнодорожные составы с дровами. Как и любой мальчишка Алма-Аты, я хорошо знал, что такое саксаул. В каждом дворе высилась гора этих узловатых, серого цвета коряг. Это было главное топливо горожан. Глядя на эти безжизненные безлистные остовы отмерших великанов, трудно было поверить, что еще недавно они были живыми деревьями и росли не так уж далеко — где-нибудь за рекой Или, в районе поселка Баканас или даже ближе. Саксауловые коряги казались мне хотя и мертвыми, но загадочными чудовищами. Невозможно представить себе более кривое, корявое, шершавое и занозистое растение. Крупное саксауловое дерево всегда более чем наполовину состоит из пересохших, рассыпающихся на чешуйки отмерших ветвей. Стоит только крепко стукнуть о камень большую саксаулину, как она тут же разламывается на отдельные куски. А если дерево очень старое, трухлявое, то оно вообще может рассыпаться, превратившись в кучу мелкой щепы. Почти невозможно взять такой саксауловый обломок, чтобы не занозить руку. А каково перекидать несколько тонн! Эрнст приходил с распухшими ладонями и кистями рук. Пальцы, привыкшие держать смычок скрипки, разбухали и кровоточили бесконечными ссадинами и ранками. Тётка грела воду и заставляла Эрнста парить руки, потом вооружалась большой отцовской лупой и с помощью толстой штопальной иглы вытаскивала несметное количество заноз. Их она почему-то называла пяточками, при этом вела им счет, складывая на гривенники и рубли.

И снова пришла алма-атинская осень с запахами яблок, спелых дынь и укропа. Под ногами шуршала сухая трава, елочными игрушками краснели яблоки на облетевших деревьях. Мы перестали гонять Шурку на берег Поганки, занимаясь теперь сбором опавшей листвы для зимнего прокорма козы. Шурка начисто отвергала горькие листья тополя и клёна, зато обожала сладкие листочки карагача, вяза и берёзы. Берез в Алма-Ате было мало, за ее листьями приходилось ходить на чужие улицы, постоянно опасаясь нападения хозяев — таких же мальчишек, как я, или постарше. Листьями мы набивали большие мешки, сшитые мамой из простыней, а потом вываливали содержимое в угол сарая. В другом углу лежали кукурузная ботва и связки подсохшего бурьяна. Шурка не отличалась большой привередливостью и ела все подряд.

На Ноябрьские праздники вдруг неожиданно выпал снег. Странно было видеть его, когда, проснувшись утром, мы удивились яркости света в комнатах. Снег вскоре растаял, но дороги стали грязными и скользкими, словно намыленные. К вечеру подул холодный ветерок, лужицы подернулись тонким ледком. Стало зябко и неудобно. Кутаясь в плащи и ежась от холода, прохожие на улице торопились укрыться в домах. Электрического света теперь уже не было всегда, и окна домов тускло светились коптилками и самодельными свечами. Эрнста я почти перестал видеть. Дома он бывал все реже. Что-то произошло между ним и Ноем, какой-то разрыв или даже ссора. Впрочем, трудно было бы представить Эрнста перечившим в чем-то Брюкнеру. Совместные репетиции их кончились уже давно, пожалуй, еще с весны. Однажды я услышал разговор между тетей Фимой и мамой.

— Выгнал его Ной, — тихо рассказывала тётка. — Сказал, что самим жрать нечего. Иди, говорит, куда хочешь, а я тебя знать не знаю.

Тётка, хотя и считала, что уже изучила немецкий язык, вряд ли могла точно передать разговор между Ноем и Эрнстом. Скорее всего, она передавала его содержание по своему домыслию. Фантазия тетки работала не хуже ее острого языка, но

нельзя было и опровергнуть её, так как уже давно все видели отношение Ноя к приёмному сыну.

— Да он и так их не объедал, — так же тихо отвечала мама, — он же без работы, считай, что и не бывает. Ещё и домой приносил что мог. То ведро картошки где-то достанет, то рыбы принесет, а тут еще эта маринка. Угораздило же его!

Мама замолчала, но даже и мне было понятно, что хотела она этим сказать. Дело в том, что недавно Эрнст принес родителям несколько свежих рыбин-маринок. Где-то дали ребятам на работе. Мать сразу подсказала Норе, что голову и икру есть нельзя, можно отравиться. Послушавшись, Нора вначале так и сделала. Даже вычистила черную пленку из брюшины, как объяснила мама. Но съев рыбу, Нора не удержалась и зажарила икру. Наверное, решила рискнуть, и даром ей это не прошло. Отравилась так, что еле отошла.

— Я же ее умоляла не делать этого, — оправдывалась мама, — да где там! Упрямые они, немцы, нам не хотят верить.

Тетка закивала головой.

— Да и их понять можно. Оголодали они, а икра так аппетитно выглядит!

Мама возразила:

— А кто сейчас сытый! Что же теперь голову из-за этого терять?

— Вот именно, — поддакнула тётка. — Ной, видно, после того совсем озверел. На Эрнста волком глядит, как будто он виноват.

Мама и тётя Фима разговаривали несколько озабоченно и, как мне показалось, встревоженно. В воздухе повисло напряженное ожидание каких-то неприятных перемен. Может быть, сказывались и неудачи наших войск на фронтах. Шла битва за Сталинград, немцы были на Волге, совсем близко от границ Казахстана. В этом месяце Эрнсту исполнилось восемнадцать лет. О дне рождения сообщила всезнающая тётка, а как она это выведала, одному богу известно. От неё ничего не могло скрыться!

— Тося, надо как-то отметить это событие, — обратилась тётка к маме. — Может быть, пирог испечем?

— Да из чего печь-то, — вяло откликнулась мама, — ни муки, ни сахара, ни масла.

— А ты, как в сказке, по сусекам поскреби, по полкам пошурши, авось что-нибудь и наберешь, и без сахара обойдемся, сделаем пирог с яблоками.

От тётки нельзя было отделаться.

И вот пришел этот день. Надо сказать, что я ждал его с нетерпением. Я даже сделал Эрнсту подарок — лобзиком выпилил из фанеры рамку под портрет.

Вечером все собрались в гостеприимной кухне перед горячим самоваром, но Эрнст почему-то задерживался. Он пришел позже обычного, как всегда, усталый и страшно сконфуженный приготовленным в его честь торжеством. После поздравлений именинника все уселись за стол, где ароматным паром уже дымилась картошка в мундирах и пыхтел сверкающий никелем самовар. Говорили положенные по случаю слова, желая Эрнсту удачи, счастья, скорейшего окончания войны. Эрнст благодарил и смущался. Он не привык быть в центре внимания и чувствовал неловкость от того, что все собрались ради него. А тут ещё тетка встала и пожелала Эрнсту хорошей невесты.

— Это самое главное в жизни, — весело добавила она.

Эрнст покраснел и совсем растерялся.

— Э-э, да ты, кажется, застеснялся, — засмеялась тетка, — зарделся, как красная девица. Вот ты какой у нас застенчивый!

— Ну, что ты напала на парня! — вступилась мама. — Вводишь в смущение своими дурацкими шуточками.

Потом смущение прошло, и всем было уютно и весело. После чаепития Эрнст напустился и взялся за виолончель. Он долго настраивал инструмент, проводя смычком и пробуя струны, наклоняя голову, прислушивался к звуку и недовольно качал головой. После большого перерыва он никак не мог решиться играть. Наконец из-под смычка

раздалось пение струн, сначала слабое и неуверенное, как стон. Звук дрожал и вибрировал, но постепенно становился все тверже, спокойнее и ровнее, пока не потек густой и тягучей волной, заполнившей все небольшое пространство кухни.

Эрнст играл Бетховена и Баха. Лицо его покраснело, щеки покрылись нервным румянцем, руки слегка дрожали. И в этом он был весь, как есть: болезненно эмоциональный, тонко чувствующий музыку.

И еще одно событие случилось в ноябре, к сожалению, печальное. Почтальонша принесла похоронку на сына тётки Фимы — Петю. Тётка замкнулась, вмиг превратившись в старуху. Она не кричала, не рыдала по примеру многих, а наоборот, пряталась и, перебирая фотографии, что-то шептала и тайком от всех плакала, уткнувшись в подушку. И куда только подевались её громкий голос, шутки и прибаутки, походка её стала шаркающей, нос загнулся крючком, сделавшись похожим на птичий клюв. Тетка сразу сдала, постарев на добрых двадцать лет. И напрасно мама старалась как-то подбодрить ее и успокоить. Тётка держалась неприступно, изо всех сил пытаясь скрыть свои страдания.

— Не надо, пожалуйста, не надо, — говорила она матери в ответ на попытки её утешить. — Горе везде, и не я одна потеряла сына.

Она была очень гордая — наша тётка Фима.

Проклятая война никак не кончалась. Жизнь становилась все труднее. Люди не только голодали, а с приходом зимы и мёрзли. Одежда успела износиться, а новую взять было негде. О какой одежде могла идти речь, когда страна задыхалась в тисках оккупантов.

Конечно, хуже всего было эвакуированным. У них не было своих домов, не было родных, которые могли бы помочь. Эрнст ходил в истрепанном тонком пальтишке, старые башмаки его порвались так, что из дырок выглядывали пальцы. Заметив это, мама невесело пошутила:

— Что это, Эрнст, башмаки-то у тебя того, каши просят?

Эрнст грустно и как-то виновато улыбнулся и, неопределенно помахав нам рукой, ушёл на работу. Мама в который уже раз перебрала старую обувь, пытаясь подобрать что-то Эрнсту, но так ничего и не нашла. Все уже давно пошло в ход, и мы сами носили латаную и драную обувь. Отец сам брал шило и дратву и кое-как чинил прохудившиеся ботинки.

Эрнст приходил теперь с работы позже обычного. Едва ли не каждый день он обивал пороги военкомата, прося отправки на фронт. Ему не отказывали, но и не говорили ничего определенного. Все это сильно огорчало его.

— Почему они не берут меня? — пожаловался он тетке. — Я тоже хочу воевать. Неужели они не доверяют мне оттого, что я немец?

— Возьмут, обязательно возьмут, — попыталась успокоить Эрнста тетка. — Чего доброго, а это-то уважат. — Тетка твердо верила в справедливое устройство родного государства. — Да и куда тебе торопиться, — продолжала она, — успеешь еще навоюеваться.

В тетке самой боролись два чувства. С одной стороны, ей было жаль Эрнста, почти мальчишку, она искренне привязалась к нему, с другой стороны, она понимала, что удержать его все равно невозможно, да и, действительно, с какой стати молодому парню отсиживаться в тылу, когда все его сверстники воюют. Это было бы аморально.

— А ты, кстати, с отцом советовался?

— Нет, — махнул рукой Эрнст, — ему все равно.

— Эх ты, горемыка, — покачала головой тётка, — никому, значит, не нужен.

На следующий день Эрнст пришел раньше обычного. Поздоровавшись с теткой, он не раздеваясь лег на постель и уткнулся лицом в подушку. Обычно Эрнст никогда не позволял себе ложиться на кровать в верхней одежде.

— Что-нибудь случилось? — заподозрила неладное тётка. — Был ли ты в военкомате?

Эрнст с усилием привстал и, вымученно улыбнувшись, ответил тихим голосом:

— Кажется, я заболел.

— Простудился, что ли?

Тетя Фима внимательно посмотрела на Эрнста сквозь толстые линзы своих очков.

— Ну, ничего страшного, — сказала она, — попьешь горячего чайку, и всё пройдет.

Погода сейчас такая, все болеют.

Тётя Фима подбросила в печку дров и поставила на плиту чайник.

— Давай-ка, присаживайся!

Тетка повернулась к Эрнсту.

— Ты что-то совсем раскис. Нemoжется, что ли?

Добрая старуха потрогала рукой лоб Эрнста.

— Эге, да у тебя жар! То-то, я смотрю, лицо у тебя покраснелось. Где у тебя болит?

Эрнст закашлял и ткнул пальцем в спину.

— Здесь. Холодно мне, и голова болит.

Тётка напоила Эрнста чаем с грудной травой в надежде, что к утру все пройдет.

Утром действительно жар спал, но слабость разлилась по всему телу, липкая испарина выступила на лбу. Надежды на быстрое выздоровление не оправдались. К вечеру Эрнста опять бил озноб, а температура поднялась до тридцати девяти с половиной. Отец с матерью пододвинули топчан к печке. Тетя Фима готовила отвары с грудной травой и сушеной малиной. Аспирин не сбивал жар, а других лекарств не было.

— Что же это с тобой, сынок? — приговаривала сердобольная старуха, то и дело прикладывая ладонь к воспаленному лбу больного. — Никак воспаление. Вот некстати, так некстати. И чем лечить, лечить-то нечем.

Тётка то жалела Эрнста, то корила за неосторожность.

— Это всё ноги, ноги ты зазнобил, — твердила она, — ноги надо держать в тепле, а у тебя башмаки дырявые. Виданое ли дело, чуть не босым по снегу ходил! Да и пальтишко чуть не насквозь светится... — Потом она вдруг меняла тон и начинала успокаивать. — Ты уж не очень падай духом, — говорила она, — мы тебе еще русскую невесту найдем.

Эрнст слабо и через силу улыбался, и улыбка эта была какая-то виноватая и вымученная. На третий день стало ясно, что Эрнст болен серьезно.

— Ох ты, горюшко мое, — причитала тетя Фима, — чем же тебя лечить? Разве что горчичники поставить...

Встревоженная и озабоченная мама ворчала на Брюкнеров:

— Сбагрили нам парня, что нам с ним теперь делать! У нас у самих дети, ни лекарств, ни еды. Ответственность-то какая!

Что правда, то правда. Моей младшей сестрёнке Мире было всего два годика, а жили мы, как и все, впроголодь. Вечером папа зашел поговорить с Брюкнерами.

— Да, да, — сказал Ной, — это большая беда, но что мы можем сделать? Я не доктор и не умею лечить. Мы ничего не умеем.

— Мы и сами живем в чужой стране, — заплакала Нора, — нам так тяжело, мы голодаем, нам самим нечего есть.

Папа ничего не сказал и вышел. Да и что можно было сказать? Плохо было всем, а эмигрантам и тем более.

Эрнст так ослаб, что его кормили с ложечки поочередно мама и тетка. Для него готовилась лучшая пища, что была в доме.

Тетя Фима держала в руке облупленное куриное яйцо, как ребёнка, уговаривая Эрнста съесть его. В этот момент вошёл Брюкнер. Всё-таки он решил навестить приемного сына.

Руки Эрнста дрожали, и он никак не мог справиться с яйцом. Брюкнер застыл от изумления. Щёки его обвисли, а глаза выпучились от удивления. Вдруг его грузная фигура всколыхнулась. Неожиданно ловко для своей могучей комплекции он подскокил к больному и молниеносно выхватил у него яйцо. В огромной, до пальцев заросшей черными волосами руке оно выглядело горошиной.

— Дурак, не умеи кушать, — бросил он презрительно, — вот как надо!

И он бросил яйцо в свою запрокинутую глотку. В горле его булькнуло, и яйцо исчезло в утробе.

— Го-го-го! — захохотал он каким-то рыгающим голосом, страшно довольный тем, как ловко всех обманул. — Яйко капут!

— Ах ты, ирод проклятый! — всплеснула руками тетка. — Что ж ты сироту обижаешь!

Брюкнер не удостоил тетку вниманием и, выставив вперед толстый живот, неторопливо выплыл из комнаты.

— Ах ты, гад! — не унималась тетка. — Да я же тебе морду могу намылить. Я тебе покажу, как в Советском Союзе надо жить! Это тебе не Швеция.

Тётка действительно могла это сделать, и лишь опасение повредить репутации папы заставило ее воздержаться.

— И яичка-то больше нет! — причитала тетка. — У дитя малого отобрали, а он, фашист треклятый, проглотил!

Тетка имела в виду мою маленькую сестренку, ради которой и держали несколько куриц. Между тем день ото дня Эрнсту становилось все хуже. Он мучительно кашлял, в груди его что-то хлюпало и клокотало. Он таял на глазах.

Вечером папа с мамой шептались.

— Кажется, у него воспаление легких, — говорила мама.

Эти слова звучали у неё как приговор. Несколько лет назад от воспаления легких умерла моя старшая сестра, голубоглазая Мила, и родители до сих пор переживали это горе. У тёти Фимы были свои счёты с этой страшной в то время болезнью. От неё умер ее муж — дядя Ваня. Будучи паровозным машинистом, он простудился в пути, выглядывая из открытого окна. Словом, это была смертельная болезнь, до изобретения антибиотиков не знавшая пощады.

— Завтра я пойду попрошу, может быть, удастся положить его в больницу, — сказал папа. — Нам его не спасти.

— Да, да, — ответила мама. — Обязательно договорись. Только ведь трудно это сейчас сделать. Все больницы забиты ранеными с фронта.

На следующий день папа все же договорился с врачами, и Эрнста увезли в госпиталь на тележке, запряженной ишаком. Дом наш словно осиротел, притихли и мы с Лелей. Вслух никто не говорил, но все, в том числе и мы, дети, чутьем понимали, чем грозит Эрнсту болезнь. Взрослые при нас старались не затрагивать в разговорах эту тему, а когда мама с теткой возвратились из больницы, куда ходили навещать Эрнста, то сделали вид, что нигде не были. Это был плохой признак, и мы с Лелей побоялись спросить об Эрнсте. Тётка лишь раз выдала себя, зло чертыхнувшись по поводу Брюкнера:

— Ему-то что делается? У него ботинки тёплые, на слоновой подошве, не то что у Эрнста — дырявые.

Здоровенные, не виданные в нашей стране ботинки Брюкнера на толстой каучуковой подошве тетка называла колонизаторскими.

Тот день выдался хмурый: пасмурный и холодный. Шёл то ли дождь, то ли снег. Мама с утра послала нас с Лелей за похлёбкой, выдаваемой отцу на работе. Такое питание выдавали только работающим на предприятиях и в учреждениях, очевидно, чтобы поддержать в них силы для выполнения плана. Иждивенцы-дети и неработающие в расчёт не принимались. Обычно это была пустая болтушка с плавающими крупинками вермишели, муки или картошки с густым, неаппетитным, хотя и сытным запа-

хом. Это был запах голода и нищеты. Мама называла её похлебкой, хотя официально это блюдо именовалось супом. Люди же звали ее по-разному: болтушка, затируха, бурда. Слово «баланда» тогда как-то не употреблялось.

Идти надо было далеко, почти через весь город, до улицы Иссык-Кульской (потом Мира), где на задворках ресторана была раздача. Моросил дождь, мы замёрзли и продрогли в своих тонких демисезонных пальтишках, а ведь надо было еще отстоять в двух длиннющих очередях по несколько часов, сначала перед воротами, а потом во дворе, где была касса и выдавали еду.

Кассирша — молодая расфуфыренная особа — злобно покрикивала на стариков и детей, молча стоящих в длинном хвосте. Когда подошла наша очередь расплачиваться, у Лели не хватило мелочи. Она полезла в карман и вытащила на ладошке пуговичку, кусочек жевательной серы и фантик для игры — картинку, нарисованную на кусочке бумаги. Монет у неё не было.

— Что ты мне даёшь! — заорала кассирша и с силой ударила по ладошке.

Пуговичка покатила по мокрой земле. Все молчали, никто не сказал ни слова. Было тяжело и жалко самих себя. Это был несчастливый день, запомнившийся на всю жизнь. Когда мы, промокшие и уставшие, пришли домой, то узнали печальную весть: Эрнст умер. Сиротливо в углу стояли виолончель Эрнста и его жалкий холщовый мешок, постель, прикрытая старым, давно истертым одеялом. Тётка молчала, так же как молчала, когда пришла похоронка на её сына. Все в доме прятались друг от друга, чтобы скрыть слезы. Море, потоки слез были пролиты в эти дни. Смерть Эрнста тяжело переживалась всеми. Особенно страдала Леля. Что-то перевернулось в наших детских душах, изменилось отношение к жизни. Перед глазами все время стояло лицо Эрнста с застенчивой, доброй улыбкой. Навязчивый вопрос — почему так несправедливо устроена жизнь — не выходил из головы. Почему один человек, уже старый в нашем понимании, вовсе не добрый и не хороший, остался жить, а молодой и всем нужный ушел из жизни. И разве это справедливо? И снова и снова возникала картина, когда здоровый толстяк отбирает пищу у больного, умирающего человека. Такое нельзя было простить, и Лёля тайком от всех начала мстить Брюкнеру. Это было не вполне осознанное поведение, все происходило как-то само собой, интуитивно, подетски. Она досаждала Нюю всем, чем могла. Могла захлопнуть дверь перед его носом, не поздороваться или не ответить на вопрос. Все это было по-девчачьи неумело, наивно и, наверное, глупо. Но, к удивлению даже самой Лели, Ной воспринял всё это очень болезненно и остро, и это еще больше подзадоривало строптивую девчонку. Однажды, увидев возвращающегося с работы Ноя, Леля скорчила рожицу и пропищала, вроде бы и не в адрес Брюкнера, а так, между прочим:

— Гутен морген, гутен таг, хлоп по морде, вот как так.

Кажется, это был один из куплетов исполнявшейся по радио частушки. Ной уловил смысл и, главное, понял намёк и принял его на свой счет и прорычал:

— Дрянный девчонка, я будет наказывать.

Эта реплика Брюкнера только подстегнула Лелю, и она пропищала ещё более дерзко:

— Немец, перец, колбаса, жарена капуста.

Брюкнер рассвирепел и бросился за девчонкой. Леля ловко увернулась, обогнув сарай, выглянула с другой стороны и показала ему язык.

— Ах так! — прорычал Брюкнер. — Я буду догонять.

Он сделал вид, что бросился за ней вдогонку, а потом повернулся в другую сторону и... встретился с Лелей нос к носу. Он ее ловко перехитрил, так как Леля была уверена, что он побежит за ней следом. Ной схватил перепугавшуюся девчонку и изо всех сил отхлестал её по щекам.

Можно было бы посчитать все это мелочью, но Леля сильно испугалась, и рассерженный папа подал на Брюкнера в суд. Возможно, дело было не только в этом. После

смерти Эрнста все в доме стали смотреть на Брюкнера если и не как на врага, то уж как на плохого человека точно. К удивлению всех и даже самого папы, суд состоялся. Приговор гласил: ответчику публично извиниться перед истцом, что и было исполнено. На суде Брюкнер оправдывался незнанием советских законов, ведь в Швеции, откуда он приехал, по его словам, все было бы наоборот: извиняться пришлось бы не ему, а отцу невоспитанной девчонки.

После всего происшедшего Брюкнеры уже не захотели жить у нас и вскоре съехали, о чём никто не жалел, а тетя Фима позлорадствовала:

— Так ему и надо, буржую недорезанному, чтобы знал, как свои волчьи законы в Советском Союзе устанавливать.

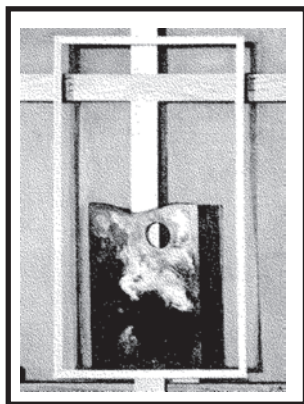
С тех пор прошло более пятидесяти лет. Почти забылись Брюкнеры, но Эрнст передо мной до сих пор как живой. У меня не осталось его фотографии, но я вижу его как сейчас — красивого, молодого, с ласковой, немного застенчивой улыбкой. Я даже не знаю, где могила Эрнста. Скорее всего, он похоронен в одной из братских могил на кладбище, куда ежедневно свозились тела десятков умерших в госпиталях раненых красноармейцев. Время было суровое, жестокое. Смерть витала повсюду, к ней как-то привыкли, зачастую не замечая и забывая о ней. На Поганке, в ста метрах от нашего дома, всю зиму пролежал труп человека, занесенный снегом. Его забрали только весной, и все соседи, равнодушно взирая на эту сцену, тут же забыли о ней. Почти у каждого было свое личное горе, и где уж тут было думать об эвакуированных чужих людях. Брюкнеры так ни разу и не навестили в больницу своего приемного сына и вообще больше не интересовались его судьбой, что дало повод тётё Фиме предположить, что никаким приёмным сыном Эрнст у них не был. «Они им прикрывались как сыном антифашиста, чтобы войти в доверие к советской власти», — заявила она.

Эта история надолго осталась в памяти нашей семьи, и её много обсуждали. Мы же с Лелей, вспоминая Эрнста, потом сожалели о том, что не навестили его в больницу. Но что с нас возьмёшь — мы были детьми и многого не понимали.

Музыковед, доктор искусствоведческих наук, профессор Сара Адильгереевна КУЗЕМБАЕВА издала объемную монографию «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы».

Ею же написана первая книга очерков о Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая «Воспеть прекрасное». Под её руководством в рамках программы «Культурное наследие» впервые в Казахстане осуществляется издание фундаментальной пятитомной «Антологии казахской музыки».

Профессор С. А. Кузембаева заведует отделом музыкального искусства в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова.



ИСКУССТВО

«Наша опера родом из аула»

— Сара Адильгереевна, бытует мнение, что литературными критиками становятся неудавшиеся писатели. Интересно, а музыковедами? Как вы пришли к своей профессии?

— Я училась в интернате единственной казахской средней школы №12, где казахский и русский языки преподавались параллельно. Педагоги у нас были прекрасные, помню, учительница русского языка заставляла нас учить целые главы из произведений классической литературы. И была у меня учительница Антонина Павловна Побережная, классный руководитель и преподаватель немецкого языка. Я была способна к языкам, и она как дочку меня любила, поскольку с четырёх лет я осталась сиротой. Помню, уже консерваторию заканчивала, спрашивает: «Сара, есть деньги на питание?» — «Есть три рубля». — «Ты же на прошлой неделе говорила про эти три рубля. Приходи ко мне, я борщ сварила». Вот такие были трогательные отношения. Приезжала делегация писателей из Австрии, я им читала «Лесного царя» Гете. Мне значок подарили — памятник Шуберту в Вене. Так что Антонина Павловна готовила меня только в институт иностранных языков, и действительно, меня туда без экзаменов приняли.

И вдруг музыка! Если зайдешь в этот мир, он уже не отпускает. Однажды в интернат пришли педагоги проверять музыкальный слух у детей, и мне поставили очень высокие оценки. Я восьмой класс заканчивала, когда меня пригласили учиться в музыкальную школу им. Байсеитовой. Посадили за те же парты, за которыми сидели дочери профессоров, знатных людей — Коноплева, Аравина. Очень трудно было, но всё же, обучаясь параллельно в двух школах, я закончила с хорошим аттестатом. И неожиданно для себя выбрала историко-теоретическое отделение консерватории. До того времени там не было ни одного национального кадра, а тут поступило три казашки. Ректор Куддус Кужамьяров говорил: ваши имена впишут золотыми буквами в историю этого учебного заведения.

— Сара-апай, я и не знала, что вы интернатское дитя. Это связано с войной?

— Да, детство было трудное, но все равно незабываемое. Старший брат мой — талантливейший человек, буквально говоривший стихами, с третьего курса филфака КазПИ ушел на войну, стал летчиком, погиб при форсировании Днепра. У Дубосекова похоронен другой брат. Когда старики аула, одетые во все черное, во второй раз при-

несли похоронку — каркагас, мама страшно закричала и грохнулась о пол. Наверное, это был insult или инфаркт. Через месяц ее не стало. Отец, очень образованный человек, знал арабскую письменность, мог наизусть читать целые главы из Корана. В семье его звали светочем. Братья договорились между собой, что сами будут заниматься скотоводством, а его непременно выучат. Так и получилось. Шестнадцать лет отец проработал директором школы в совхозе «Прямой путь». Когда председатель Каскеленского райисполкома уходил добровольцем на войну, рекомендовал его на эту должность. Время было трудное, отец буквально не слезал с коня. Сейчас вот в Аксае ни капли воды, а тогда наводнения были. Однажды он на коне переправлялся через реку, простудился и умер.

Шла война. Почти все мужчины из аула были призваны на фронт. Нас, детей, после уроков выгоняли полоть свеклу, картошку наравне со взрослыми. Но в основном всю тяжёлую работу тянули на себе наши голодные матери. Помню, однорукий бригадир бил в дверь, пока все не выходили в поле. После трудного дня, вечером женщины собирались, заваривали в общем котле чай из какой-то степной травы. Пили этот чай и ... пели! И мы, уставшие дети, засыпали под их песни.

Они пели о мужьях, о сыновьях, которые ушли на фронт. Удивительно. Горе, слезы, голод — всё отступало. Эти песни как будто поддерживали их. То поколение надо вспоминать с уважением и благодарностью. После смерти родителей меня забрали в интернат. Так начался другой этап моей жизни.

И что еще вспоминаю: ни одного письма моего брата, к сожалению, не сохранилось, хотя я помню эти листки в клеточку. Помню, как собирали колхозное собрание и зачитывали письма Нурсеита. В них были отрывки из героического эпоса, из «Кобланды», люди слушали, плакали. Народ был единый, сплоченный, все друг друга поддерживали, и это особое чувство единения не забывается. В Каскелене воздвигнут памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, есть там и имя Нурсеита Тезекбаева — моего брата.

Свою специальность я хоть и случайно выбрала, но потом влюбилась в неё и всю жизнь предана своему делу. А речи о том, чтобы стать музыкантом, не было, хотя в трудные минуты меня всегда поддерживает музыка.

— *Как-то молодой депутат певец Бекбулат Тлеухан выступил с критикой, что у нас еще много остается улиц, названных в честь советских деятелей. А нет улиц в честь деятелей культуры Брусиловского, Затаевича.*

— Улицы их имени есть, но они такие маленькие, тупиковые, в самых отдаленных районах, что никто не знает. И это несопоставимо с вкладом этих людей в культуру казахского народа. Тот же Хамиди, написавший знаменитый «Казахский вальс». Помню, летели на съезд композиторов в Москву, заходим в самолет, и звучит чудесный «Казахский вальс». Все стали аплодировать Хамиди, а он замешкался, засмутился: это не я, это Бибигуль Тулегенова... Великие люди с великой скромностью, чего у нас теперь нет.

— *Сара Адильгереевна, говорят, Брусиловский уезжал из Казахстана с обидой? Опубликованные у нас в девяностые годы его «Воспоминания» полны горьких признаний.*

— Евгений Григорьевич в свой последний юбилей попрощался в оперном театре известной фразой «Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает больше и лучше». Первая наша опера «Кыз Жибек», поставленная в 1934 году на казахской сцене, написана композитором Брусиловским. Уехав в 1970 году в Москву, он продолжал там писать на казахские темы, подтверждая свои собственные слова: «Какую бы музыку я ни создавал — она получалась казахской». Ему не надо было уезжать. Его просил об этом великий Габит Мусрепов. Одинокaя жизнь и одинокaя старость ждали его в Моск-

ве. Казахи говорят: «Обидевшись на вшу, не бросай шубу в огонь». Это как раз тот случай — судьба ведь всегда и ко всем то лицом, то спиной поворачивается. Он так и не стал народным артистом СССР, ему даже не поставили бюст на родине. Но он до последнего оставался казахским композитором.

— В основе ранних опер Брусиловского, как известно, лежит казахский эпос. И вы в своих исследованиях всегда подчеркивали их фольклорное начало. В новой книге вы говорите о национальной почвенности жанра оперы в Казахстане. А ведь мы привыкли искать корни этого жанра в западно-европейском искусстве.

— Идея оперности казахского музыкального фольклора почерпнута мною из трудов Александра Викторовича Затаевича, который, как известно, в двадцатые годы прошлого века записал в казахской степи тысячи песен и кюев. Ещё в 1925 году вышла книга «1000 песен казахского народа», а в 1931-м — «500 казахских песен и кюев». Этот труд назван специалистами «ценнейшим памятником вековой культуры». Затаевич, восхищаясь красотой и высоким эстетическим уровнем казахского фольклора, впервые в истории отечественного музыковедения отметил в нем истоки оперности и симфонизма.

— В чём же это выражается?

— Все мы замечаем характерную для эпической культуры повествовательно-сказительную манеру интонирования, напоминающую такую распространенную оперную форму, как декламационный речитатив. Так же он обозначил в казахском фольклоре наличие признаков вокальных форм европейской школы — арий, ариозо, *brindizi*, а также дуэтов, трио, квинтетов, хорового многоголосья. Ромен Роллан, который, как известно, был музыковедом, пишет Затаевичу, что казахские песни оказались ему не чужды, что они родственны музыкальному фольклору Европы, но не тем песням, какие есть сейчас, а тем, «какими они были давно, пока ученая музыка не задушила в них народной индивидуальности».

— Сара Адильгереевна, а какой-нибудь конкретный пример этой «оперности из аула» привести можно?

— Да любой пример. Те же свадебные песни, разворачивающиеся в целые представления. Или состязания певцов, часто мужчин и женщин, — разве мы не слышим подобное в опере? Вот вы меня спрашивали о моих музыкальных корнях. Мой отец был очень талантливый человек, играл на всех инструментах. Пока не придет Адильгерей — никакого веселья не начинали. На одном празднике он встретил мою мать. Она из рода шапрашты, а отец из дулатов. Она была самой младшей в семье, без приданого. И вот они состязались в айтысе. Отец сказал: если одержу победу над тобой, без калыма возьму. И она, видимо, проникшись такими романтическими чувствами, решила проиграть. Так они и поженились. Чем не сюжет для оперы?

— А как с оперой пересекается творчество Абая, о котором вы пишете в книге? У него ведь очень простые, мелодичные, красивые песни.

— С точки зрения оперных категорий показателен пример его песен, сочиненных на текст пушкинского «Евгения Онегина». Этот цикл Абая, состоящий из 13 номеров, воспринимается своеобразной оперной миниатюрой. Заметьте, Абай, не посещавший театр, не знавший об опере Чайковского, сочиняет эти номера в оперном жанре. Его музыкальные фрагменты драматургически выверены, сюжет строится вокруг главной действующей героини Татьяны, ее знаменитого письма. Творческий гений Пушкина дал импульс другому гению, его художественной интуиции.

— Вы всю жизнь занимаетесь исследованием оперного искусства, наверное, вам обидно видеть нынешнее небрежение к нему, полупустые залы в театрах?

— Недавно в газете «Казах адабиети» полуграмотный журналист задался вопросом: нужна ли казахам опера? И мне пришлось выступить с большим интервью, говоря, что опера — это показатель цивилизованности каждого государства. Я была в Германии: в залах яблоку негде упасть — слушают оперу всех стилей, жанров, эпох. На оперу Штрауса мы не могли билетов достать. Крохотный ребенок при бабочке идет в оперу. Он слушает Моцарта. В Дрездене «Волшебного стрелка» давали, так все именитые советские композиторы стояли на галерке. Прекрасные голоса, исполнение, режиссура. Вот традиция. И был момент — двое юношей заговорили во время спектакля. Вы представляете, что было? Включили свет, велели встать тем, кто говорил, и попросили покинуть зал. Спектакль продолжился. Это высокая культура. А наша казахская опера несет в себе еще и истоки народной, фольклорной культуры, которую мы должны сохранить в веках.

— *Сохранить как? Создавая «Антологию казахской музыки», переиздавая труды Затаевича, способствуя новым исследованиям ученых? Или все-таки пытаться культивировать изначальную среду ее обитания — народное творчество?*

— И то, и другое. Пока жив казахский аул, ни с нашим языком, ни с нашей культурой ничего не случится. Они питаются исконной средой как вечно живым родником. Только не надо считать аулом пригородные села, где вспыхивают, и небезосновательно, социальные стычки. Здесь уже живут полулюмпены, глядящие в город. В глубинке народ терпеливый, но и ему нужна настоящая поддержка. Конечно, и медики, и учителя в селе нужны, но главное — создать условия не только приезжим, но тем, кто живет там, задержать в аулах свою молодежь, наследников и хранителей языка и традиций, чтобы они вырастили там своих детей и достойно дали состариться своим родителям. Надо возрождать дома культуры, библиотеки, чтобы людям было где собираться. Ведь даже в войну они собирались, чтобы попеть. Если бы люди вместе пели, они не подняли бы друг на друга руку. У нас в стране 14 тысяч библиотек. Тираж «Антологии казахской музыки» — всего три тысячи экземпляров. Конечно, она не дойдет до районных библиотек, хотя там она нужнее всего.

— *Вы, видимо, говорите из опыта своей работы в Аркалыке, куда уехали в начале девяностых, будучи уже ученым с именем, поработав проректором Алматинской консерватории?*

— Музыкально-педагогическое отделение, открытое в Аркалыкском педагогическом институте имени Алтынсарина, одну из своих задач видело в подготовке кадров для открывающихся на селе музыкальных школ, домов культуры. Но потом все рухнуло. Мне пришлось жить в Аркалыке, когда там отключали электричество, не было воды, зияли выбитыми окнами покинутые дома. Но мы продолжали работать, у нас был замечательный ансамбль народных инструментов, студенты участвовали и побеждали в республиканских конкурсах. Уехали мы из Аркалыка в 2000 году. Мне так хочется пожелать, чтобы в нашей глубинке были музыкальные школы, чтобы наши выпускники нашли себе хорошую работу, чтобы они были востребованы, чтобы их труд был по достоинству оценен. Ведь низкой оплатой престиж профессии музыкантов, педагогов очень подорван в общественном мнении.

— *Сара-апай, а как вы относитесь к высказываемой идее избавиться от академических институтов и перенести все исследования на вузовские кафедры, как это водится в практике Запада?*

— Академия — это очень серьезное завоевание научной русской школы, как известно, далеко не худшей в мире. И наша академия в истории национальной науки сыграла важную роль, о чем сказал на прошедшем ее юбилее глава государства. Наш институт — это колыбель национальной духовности. Я так считаю. Статус его очень высок в истории культуры. Тут великие люди работали, начиная с Мухтара Омархано-

вича Ауэзова. Традиции заложены ими. Но в последнее время, видимо, от какой-то неуверенности и новых веяний каждый год у института новые темы. В том числе в нашем отделе. Они не успевают созреть, систематизироваться, собраться, обрести глубину. Ведь это же фундаментальные исследования, где желательно избегать ошибок. Кстати, «Антологию казахской музыки» мы уже готовили вместе с Казахской национальной консерваторией.

Несмотря ни на какие сложности, я верю, что мир держится на добре. У Всевышнего чуткие весы. Да, наука равносильна колодцу, который копают иглой. Трудная, не высокооплачиваемая, но очень нужная работа. Духовная сфера никогда сытно не кормила. Только придворным поэтам и музыкантам что-то перепало. Но кто сюда пришел, уже не уходит. Знаете, как я первый раз в оперный театр попала? Первое время, после того как я осиротела, меня взяла к себе моя тетя. У нее умерла дочь, которую тоже звали Сарой. Тетя была солисткой оперного театра и хотела, чтобы я любила то, что было любимо ею. Она сажала меня в третий ряд в зале, и я то слушала, то засыпала. Я видела всех артистов, они до сих пор живы в моей памяти. Вот Куляш-Жибек запекает свою «Акку», вот Жандарбеков — Тулеген начинает свою прощальную песню. Именно тогда, ещё в детские годы, я познала и полюбила это великое искусство. И теперь мне хочется со всеми поделиться своим богатством, чтобы для всего нашего народа не переставала петь прекрасная Жибек и чтобы никогда не умирал мужественный Тулеген. В народной музыке — величие духа каждой нации.

Любовь ШАШКОВА

Надежда ЧЕРНОВА родилась в селе Баянаул Павлодарской области. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Редактор отдела поэзии журнала «Простор». Автор книг стихов и прозы: «Возраст августа», «Цветущий саксаул», «Солнцеворот», «Приди и останься», двухтомника «Картины бытия» и других. Стихи и проза Надежды Черновой публикуются во многих журналах, газетах, сборниках: «Дружба народов», «Юность», «Литературная газета», «Нева», «Яшлык» (Туркмения), «Литературный Азербайджан», «Литературная Киргизия», «Струны домбры» (Украина), других. Лауреат Международной литературной премии «Алаш».



ПОЭЗИЯ

Надежда ЧЕРНОВА

И утро, и вечер

В травках

1
В заречных лугах до небес
Поднялся ромашковый лес,
Поднялся в томительном гуде
И синий шалфей, и чабрец —
Принявшие смертный конец,
Взошли травостоями люди.
И птицы, и кони земли
Травой полевою взошли.
И бабочек лёгких зарницы,
Лежавшие вечность в пыли,
Взошли
 золотой медуницей...

2
Не бойся!
Мы тоже взойдём,
Мы тоже вернёмся однажды.
Губами, сухими от жажды,
Дождя молодого попьём.

Стремятся купальницы ввысь,
С подводной травой обнялись,
И каждая завязь крылата.
И вновь обнимает плетень
Зелёная, нежная мята!
Ты помнишь, когда-то, когда-то
И мы обнимались весь день,
И ночь, и до самой зари,

Пока с тополей сизари
Не падали в лог сыроватый.

Объятий вовек не разъять —
Я буду с тобою опять
И там, где забудется имя.
Взойдёт одуванчиков рать,
А мы с тобой станем сиять
Огнём-купиною над ними!

3
Новенькая свитка,
Рожки для красы —
Смотрится улитка
В зеркальце росы.
Держит на ладони
Модницу лопух.
В шумной его кроне
Бродит Летний Дух,
Весь пропахший сеном,
Мёдом луговым.
Над вселенским тленом
Жизнь проходит с ним,
Вечно молодая —
Как не полюбить?
Платье — до Валдая,
Косы — до Оби.

4
Вечерние травы поют...
Ты слышишь ли эти хоралы
Левкоев и клеверов алых,
Рождённых на пару минут?

За синей рекой, за горой,
Где мёду полно молодого,
Так пела вечерней порой
Моя кочевая родова.
Сначала вели старики,
Степенно, всё ниже и ниже —
Так бешеный норов реки
Смирятся к осени ближе.
Не ропот, а рокот небес
В раскате той песни вечерней...

И ангельский голос дочерний,
И плач овдовевших невест
Взвивался над рощей раки,
Вплетался в распев стародавний,
Где столько великих страданий,
Но песня сердца исцелит...

5
В травах, высоких травах
Так хорошо:

Мак зацветает — справа,
Слева — ковыль взошёл.
Кто-то тебя узнает,
Может быть, василёк —
Вспыхнет листва резная
Возле степных дорог!
Кровная плоть, цветочек,
В мире мы не одни:
Синие смотрят очи
Курской моей родни.

Песнями оглашая
Затравеневший шлях,
Едет родня большая
В Азию на волах.
А из степи полынной,
Чтобы развеять грусть,
Всадники ночью длинной
Скачут в святую Русь.

Где-то и появлялись.
Где-то и разошлись.
В поле перемешались.
Травами назвались...

В песках

1

Глазами чистого ребёнка
Глядит окошками мой дом,
Как с облаков по нитке тонкой
Сбегают солнце пауком,
Как два холма, набычась лбами,
Глотают ящериц на спор,
Как птица вьётся над песками
И держит в клюве эхо гор.

2

Глухая провинция. Лето.
Жара и горячий песок.
Край света?
Конечно, край света.
Россия, а всё же — Восток.

Две пушки. Орёл на лафете.
Здесь крепость.
И в царской тюрьме
Возносятся сорок мечетей,
И церкви — на каждом холме.

Базары. Лабазы. Верблюды.
Китаец в халате цветном,
С улыбкой загадочной Будды.
И — солнце за каждым окном!

За каждым окошком — портреты.
Поэты с портретов глядят.
Край света. Казачьи пикеты.
Восточный форпост Семь Палат.

Недаром Россия ссылала
Великих строптивцев сюда —
Великой провинция стала,
Как в пойме иртышской вода.

3
Он песню тянет про степной поход,
Протяжную, такую, чтоб хватило
На всю дорогу — до порога милой,
А там он песню новую начнёт.

Закончен караванный переход.
Верблюды опустились на колени,
Закрыв глаза от радости и лени,
И по губам слюна у них течёт.

А милая воды набрала в рот
И притворилась, что певца забыла.
Но будет ночь.
 Как золотое шило,
Проколют звёзды крепкий небосвод.

Певец в Степи любимую найдёт,
Горячую, дрожащую от страсти.
Сверкнут во тьме старинные запястья,
Где высечен любовный приворот.

Протяжна песнь, а ночка коротка.
Желты бока верблюжьи от песка.
И снова — в путь,
 чтоб кровь не остывала!
До новых юрт.
До тихого привала.
До сладкого, как губы, родника...

Герольд БЕЛЬГЕР — прозаик, переводчик, публицист, эссеист, критик, литературовед, исследователь культуры и литературы российских немцев. Родился в 1934 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1941 году вместе с семьей был депортирован в Казахстан. Рос в казахском ауле, окончил русско-казахское отделение литературного факультета КазПИ имени Абая и аспирантуру при нем. Лауреат нескольких литературных и журналистских премий. Заслуженный работник культуры Казахстана. Автор романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также более двух тысяч публикаций на русском, казахском, немецком языках, вошедших в десяти томный избранный сочинений. Награжден орденами «Парасат» и «Крест за заслуги перед Германией». Живет в Алматы.



ПРОЗА

Герольд БЕЛЬГЕР

Дедушка Сергали

Рассказ

Пришло от отца письмо. Как всегда, обстоятельно, по пунктам изложены все аульные, совхозные и районные новости: сведения о сенокосе, о надое молока, об обязательствах, неизменно повышенных, о ремонте тракторов, о строительстве родильного дома, о последнем собрании сельского актива, на котором с радикальными предложениями выступил мой активный отец, и все эти новости подтверждены вырезками из районной и областной газет. И, как всегда, ни слова о себе, о матери, о доме. А в конце письма приписка: «Умер дедушка Сергали. За несколько дней до смерти я навещал его, и он интересовался тобой, спрашивал, пишешь ли ты и передаешь ли ему привет...»

За окном тосковала глубокая осень. Серая промозглая мгла плотно окутала дома, деревья, горы. Зябко поживались ветки на обезлиствевших тополях. И я подумал, что летом, когда приеду в аул, я уже не зайду в маленький приземистый домик у дороги и не услышу больше стихов дедушки Сергали.

...Мы, аульные мальчишки, называли его ата. За домом дедушки тянулся огромный пустырь, на котором малышня резвилась, играла в чижик, гоняла мячи с ранней весны, когда едва появлялись темные проплешины, до глубокой осени, пока пустырь не заматали снежные сугробы. Выходя из дома, дедушка Сергали иногда наблюдал за нашей возней, потом вдруг подзывал нас всех к себе. И мы уже знали, о чем он начнет сейчас спрашивать.

— А ну-ка, малец, скажи, как тебя зовут?

Первым отвечал Аскер, самый бойкий, самый смысленный среди нас. Вопросы шли всегда в одном и том же порядке. А сколько тебе годков, балакай? Так. А как зовут твоего отца? Так, так. А деда? А отца твоего деда? Очень хорошо. А отца прадеда? Э, молодец! Джигит! Аскер отвечал без запинки: он знал своих предков до седьмого колена, а дальше дедушка Сергали уже не спрашивал. Он считал, что из человека, знающего своих предков до седьмого колена, непременно выйдет толк.

И остальные все мои сверстники без особых затруднений отвечали на немудреные вопросы дедушки, хотя иные и путались в именах своих пра- и прапрадедов. До меня очередь доходила последним, наверное, потому, что я держался сторонкой и страшно волновался, как, впрочем, и потом, когда отвечал на экзаменах, которых в моей жизни было великое множество.

— Ну, а тебя как зовут, Сары-бала?

Видно, среди моих скуластых, черноголовых сверстников я казался дедушке рыжим, потому он и называл меня Сары-балой.

Я, запинаясь, называл свое имя, так непохожее на имена моих приятелей. Дедушка задумывался, жевал губами, соображая, как бы переделать его на казахский лад: «Керойт, Карра, Керой, Керей... — шептал он и, наконец, останавливался на совершенно неожиданном для меня варианте: — Кира».

— А теперь, Кира, скажи, как зовут твоего отца?

Я называл.

— А дедушку?

И имя дедушки я называл.

— А отца дедушки?

Тут у меня вспыхивали уши, и голова моя невольно опускалась еще ниже. Уже с третьего колена предки мои погружались во мрак неизвестности. Обласкав нас по очереди, одарив куртом и иримчиком из кармана своего камзола, дедушка Сергали уходил по своим делам.

Рассказывали в ауле, что в молодости ата был лихим джигитом, весельчаком и акыном. Вскоре мы в этом сами убедились.

Как-то по аулу прошел слух, что в нашей школе состоится айтыс — поэтическое состязание акынов нашей области. И вот однажды перетаскали из интерната в школу все столы, соорудили сцену, застелили ее коврами. Народу наехало — тесно во всех домах стало. Просторный зал и коридор школы были битком набиты. Мы еще в обед прокрались в класс и просидели, затаившись под партами, до самого вечера.

Начался айтыс. Акыны, человек семь, сидели на сцене полукругом, поджав ноги. Все были одеты ярко и пышно. На коленях акынов лежали красиво отделанные домбры. Первым запел седобородый грузный старик. Он вяло пощипывал струны домбры, долго-долго тянул: «О-о-о-о-о-е-е-е-ай!» — и, перестав вдруг играть, заговорил что-то быстро и отрывисто, и борода его при этом смешно подрагивала. Потом, когда у него уже кончилось дыхание и он перешел почти на шепот, старый акын как-то странно дернул плечом, мотнул головой, набрал побольше воздуха и снова затянул свое бесконечное «э-э-э-о-о-о-ей...» и опять, как бы нехотя, побренчал на домбре. В зале раздалась одобрительные выкрики.

Вторым запел молодой еще черноусый акын, сидевший на краю сцены. Он привстал на колени, весь преобразился, сверкнул глазами и запел сразу же во весь голос увлеченно, заразительно, страстно. Зал всколыхнулся, пришел в восторг.

— Уа де!

— Ай, джигит! — неслось со всех сторон.

Сильный у него был голос, звучный, да и сам он был красив в своем вдохновении, и мы, мальчишки, решили, что этот певец, несомненно, займет в айтысе первое место.

Дедушка Сергали пел третьим. Он пел совсем не как первые — пел тихо, протяжно. И голос у него был слабый, с хрипотцой. Видно, для него важным было не само пение, не голос, а слова, смысл. В зале стало тихо, старика не подзадоривали так рьяно, как того черноусого, а слушали внимательно, напряженно и кивали при этом. Нас как-то незаметно оттеснили, мы очутились вдруг у самого прохода и почти не слышали, о чем поет наш ата.

Говорили тогда, что в айтысе победил дедушка Сергали. Что значит побеждать в айтысе, мы представляли плохо. Думали, что побеждает тот, кто просто громче и дольше поет, кто не устает и запросто складывает стихи в то время когда остальные акыны уже выдохлись, иссякли. А оказывается, в поэтическом, словесном состязании побеждают настоящие акыны, которые понимают силу и значение истинного, умного красноречия. Впрочем, этого я тогда не знал, это я понял значительно позже.

А потом был День Победы — самый яркий, самый памятный день нашего детства. Великую долгожданную новость узнали с утра, а уже в обед, после шествия с флагами и песнями, весь наш аул собрался на широком открытом лугу возле Ишима. На свой страх и риск зарезал тогда председатель колхозную овцу. И закипел той. Все были в тот день счастливы: и старики, и дети. И все же как-то тихо было вначале. Отвыкли, должно быть, люди за долгие годы войны от шумных и веселых тоев. И тогда поднялся дедушка Сергали и объявил, что в такой счастливый день он покажет народу оин — игры. Подвели ему лучшего колхозного коня. Крепко-накрепко затянули подпруги. Сел дедушка в седло, приник к гриве, гикнул, пустил жеребца вскачь. Он сделал два-три круга и вдруг начал резко наклоняться с седла то в одну, то в другую сторону так низко, что руками касался земли. Кто-то бросил на обочину тропинки платок с кольцом, и ата, разогнав коня, ловко нагнувшись, поднял его. Потом так же, на всем скаку, перелез под брюхо чубарого жеребца. Толпа ликовала.

— Сейчас он будет скакать стоя на седле! — закричал кто-то.

Но на этот трюк дедушка не отважился: ему шел тогда уже шестой десяток.

Мы, мальчишки, восторженно глядели на лихого наездника.

А потом, отдышавшись, ата взял домбру, ударил по струнам, выпрямился, расправил плечи и, уставившись куда-то вдаль, неожиданно зычно пропел зачин, чтоб овладеть вниманием собравшихся на лугу аулчан. Запел дедушка Сергали. Слова той песни не остались в моей памяти. Я еще слишком слабо знал тогда казахский язык. Но я увидел странно притихших аулчан, слезы на запавших лицах вдов, еще не успевших выплакать своего горя. Видел, как закрывали старухи рты кончиками жаулыков, как застыли вдруг с разинутыми ртами мои сверстники. Слышал, как вздыхали старики. Видел, как гневно пылали глаза фронтовика-бригадира, и в этот первый мирный день не слезавшего с кургузой лошаденки. Пел дедушка Сергали, и тихо было вокруг, даже Ишим внизу, под обрывом, не ярился, не швырял пену на камни Тас-уткеля. Я не понял тогда слов. Но смысл той песни ощутил всем своим мальчишечьим сердцем. И запомнил на всю жизнь.

Когда я окончил десять классов аульной школы и собрался поехать в Алма-Ату на учение, отец зарезал овцу и пригласил всех стариков. После трапезы дедушка Сергали позвал меня к столу и сказал, что хочет мне дать бата — благословение. Он обвел глазами комнату, ища домбру, но домбры у нас не было, и тогда он попросил балалайку. Осторожно коснулся струн и поморщился от резкого непривычного звука. Потом быстро отпустил струны, чтобы балалайка звучала глуше, и, слегка пощелкивая по ним, произнес бата в стихах. Старики провели ладонями по лицам, сказали: «Аминь». С полевой отцовской сумкой за спиной, набитой книжками и бельишком, и с благословением дедушки Сергали я покинул ранним летним утром родной аул.

С тех пор я каждый год неизменно приезжаю домой и, поздоровавшись с отцом и обняв мать, бегу скорей с салемом к дедушке Сергали и к другим старикам.

Любая весть распространяется в ауле мгновенно. И если я почему-либо не захожу к дедушке Сергали в день приезда, то уже на следующее утро после

намаза и чая он спешит ко мне. Он идет мелкой, старческой походкой, далеко вперед закидывая посох, и издали кажется, что впереди вприпрыжку несутся черный посох, а уж его, протягивая руку, догоняет сухой, поджарый старик с белой острой бородкой. Он без стука открывает дверь, снимает галоши с мягких сапожек, кричит слабым, надтреснутым голосом:

— Где Кира? Он приехал, что ли?

И, деловито постукивая посохом, не оглядываясь по сторонам, идет напрямик через все комнаты в зал. Я бросаюсь к нему навстречу, протягиваю обе руки, смущенно бормочу извинения. Но дедушка суров и сдержан, смотрит на меня испытующе строго, медленно опускается на диван, ставит посох к стенке.

— Ну как? Жив-здоров? Руки-ноги целы? Аул-то не забыл? Э-э, жаксы, жаксы.

— А вы как, аке? Как здоровье?

— Э, дорогой. Какое у нас может быть здоровье? Ноги еще немного ходят, глаза еще чуть-чуть видят. Ну и ладно.

— А бабушка?

— Ну и бабушка, слава богу, еще шебуршит в своем углу.

Дедушка Сергали прикрывает красные веки, смотрит куда-то поверх окна. Я знаю, что сейчас он сочинит стих.

— Э, вот слушай:

Подкралась старость и зубы источила,
Лишила бодрости, кровь выстудила в жилах,
Глаза ослепли, в руках нет прежней силы,
А скоро и меня, родной, запрут в могилу.

— Вот так-то, дорогой Кира...

Сидит он недолго. Коротко расспросив обо всем, берет посох, встает.

— Ну, ты здоров, и я рад. Пойду-ка домой. Ты, однако, заходи. Бабушка тоже видеть тебя хочет.

И, все так же постукивая посохом, мелкой, суетливой походкой спешит к выходу.

Есть какая-то непостижимая, удивительно обаятельная доброта, мудрость, человечность в натуре казахских стариков. Я не знаю, что это, откуда, но всей своей жизнью, добротой и ласковой внимательностью заронили эти старики в наши души что-то хорошее, доброе. Вот придут они к нам, спросят о том, о сем, и у нас уже щемит сердце, мы становимся серьезней, взрослей, что ли. И нам становятся еще дороже, еще роднее наши земляки, наши старики, наш аул.

Казалось бы, кто я и что я для дедушки Сергали или для других стариков. Аульный мальчишка, к тому же не смуглый, круглоголовый соплеменник, а, как говорится, иной по природе и языку. Ну, играл, бегал с их внуками, по аулу мотался, в школе учился, а теперь живу в городе, работаю где-то, ну и бог со мной... Так нет, он пристально и ревностно следит за каждым моим шагом, он знает обо всех моих делах, он считает себя ответственным за каждый мой поступок или проступок, радуется моей радости, сочувствует моей беде и искренне желает, чтобы я был хорошим человеком, добрым и честным и к тому же не забывал свой край, свой родной аул.

И эти старики становятся в чем-то мерилом твоей жизни, твоей совестью и честью. И надо еще заслужить их благословение. А потом попробуй обмани их надежду, их доверие, тебя всю жизнь будет сжигать стыд, будто ты предал родного отца.

Прошлым летом, приехав в аул, я узнал, что дедушка Сергали занемог. Я зашел к нему домой. Он сидел по обыкновению у окошка передней комнаты на старенькой алаше, в черных плюшевых штанах и камзоле, в неизменных мягких сапожках. Рядом лежал черный посох. Старушка жена, обложенная подушками, восседала на кровати, вязала пуховую шаль, держа спицы у самых глаз. На стене потикивали почерневшие от времени часы. На потускневшем циферблате сиротилась одна часовая стрелка.

— Эй, глянь-ка, кто к нам пришел, а? Проходи, проходи, дорогой. — Дедушка Сергали чуть подвинулся, показал на место рядом с собой.

Старуха заулыбалась, отчего ее маленькое личико, сплошь покрытое морщинками, еще больше сморщилось, и, постанывая, держась одной рукой за поясицу, прошаркала в угол, где у нее испокон веков стоит такой же древний торсык*. Я, как положено, отдал дедушке салем. Он расспрашивал о моем здоровье, потом о здоровье дочери, всех родных и знакомых. Старуха поднесла мне большущую деревянную чашу с кумысом.

Я пил кумыс, а дедушка Сергали уже в который раз начал рассказывать о том, как я в детстве здорово бегал, был настоящим жел-аяком — быстроногим как ветер, и однажды во время игры, должно быть чем-то недовольный, выхватил из рук обидчика мяч и побежал во весь дух в сторону Ишима. За мною с криком и улюлюканьем погналась ватага мальчишек вместе с собаками, но никто, даже аульные собаки, не могли меня догнать. Рассказав об этом случае, который почему-то в моей памяти не остался, дедушка вздохнул и, как всегда, заметил: «Сглазил тебя кто-то. Да, да, точно, сглазил».

Я осилил лишь половину чаши и отставил ее. Дедушка Сергали удивился:

— Что так? Или кумыс моей старухи нехорош? Или у вас, городских, кишка тонка стала, а? Э, плохо, плохо... А знаешь, сколько мы, бывало, в молодости за день кумыса выдували? По пятнадцать чашек. Что, не веришь? Утром встанешь — одну-другую выпьешь. Потом соберемся — мальчишки, подростки — и айда на стригунках в соседний аул. И там угощают кумысом. Поиграем, порезвимся и давай скакать в следующий аул. Там тоже опрокинешь пару чашек. За день обскачешь пять-шесть аулов. Приедешь вечером, посчитаешь, бог ты мой, пятнадцать чашек — целое ведро кумысу за день выпил! Каково? — и дедушка весь затрясся, радостно рассмеялся.

— Почитайте, аке, стихи Шал-акына, — попросил я.

— Э, — почему-то грустно улыбнулся дедушка, — большой акын был Шал, большой... Много мудрых слов нам оставил. — И, глядя по-старчески затуманенными глазами куда-то вдаль, часто покашливая, дедушка Сергали читал мне Шал-акына.

Акын Тлеуке, прозванный в народе Шалом, жил двести с чем-то лет назад на берегу Ишима, в каких-нибудь тринадцати верстах от нашего аула. Его стихи о быстролетной юности, о тоскливой старости, о смерти, о женщинах знают в наших краях все старики.

— А теперь прочтите что-нибудь свое.

— Я прочту тебе только одно стихотворение. А ты запиши, запиши.

Дедушка Сергали извлек из-за пазухи знакомую мне пухлую записную книжку вместе с какими-то квитанциями и рецептами, полистал пожелтевшие странички, заполненные арабской вязью, и откашлялся.

— Вот, записывай. «Слово старца Сергали, обращенное к молодым».

*Торсык — сосуд из козьих шкур для жидкости (каз.).

В «Слове» говорилось о том, что молодость подобна яркому цветку, ее нужно беречь и ценить, ибо она полна радости и счастья. В молодости нужно учиться, стремиться к знаниям, не прожигать впустую жизнь, потому что не успеешь оглянуться, как подкрадется беззубая старость, похожая на заросший жимолостью глухой овраг.

— Ну как? — спросил он.

— Верно говорите, аке. Очень верно.

Дедушка помолчал, полистал свою затрепанную книжицу-неразлучницу, показал ее мне.

— Вот это все, что я после себя оставлю. Состояния никакого не нажил. А жить осталось уже немного...

— Ну что вы, аке...

— Нет, нет, я точно говорю. Скоро уже, скоро, я чую... Здесь записаны два дастана и некоторые мои стихи. Не все, конечно. Кому нужен бред старика? А кое-что, может, и пригодится. Может, почитает кто и скажет: вот так, бывало, говаривал старик Сергали...

Дедушка уронил голову на грудь, зашелся в кашле, потом задышал тяжело, хрипло. Задумался.

Одинокая стрелка на часах незаметно переползла на соседнюю цифру.

— И-и, ал-ла-а... — вздохнула старуха.

Дедушка очнулся.

— Надолго приехал?

— Недельки две, пожалуй, побуду.

— Э, хорошо... Захаживай, кумыс пей, дорогой. Спасибо, что нас, стариков, не забываешь...

Грустно как-то стало. Я простился, встал, тихо прикрыл за собой обитую войлоком низенькую дверь.

И вот письмо...

Уходят старики от нас. Нет уже в живых Жайлаубая, Сейтходжи, Нуркана, Абилямажина. И с их уходом все более пусто становится на душе, вместе с собой забирают они в черные объятия земли и частицу нашей души.

Приеду летом в аул, пройду мимо опустевшего приземистого домика у дороги, постою молча у черного холмика с серым камнем-стояком. А потом пойду по широкой аульной улице, и навстречу мне выйдут из домов юноши, подростки и совсем еще малыши, которых я узнаю лишь по сходству с их отцами. Они учтиво протянут мне обе руки — почтительный салем.

— Здравствуйте, ага!

А иные эдак солидно, врасстяжку, ломающимся баском скажут:

— Ассалаумагалейкум!

«Вот, я уже ага этим юношам», — думаю я и грустно и радостно улыбаюсь.

— Алейкум салем, мой дорогой. И тебе мир, аул мой!

Писатель-фольклорист Александр ЯЛФИМОВ — потомственный уральский казак. Детские и юношеские годы его были пропитаны станичным духом, влияние на формирование личности писателя оказали приобщение к старине, духовным традициям казаков. Свои литературные пробы он назвал «Зарубки на память». В начале творчества выступал в двух ипостасях: как мастер устного исполнения рассказов, как автор малых жанровых форм — литературных сказов, миниатюр, баек. Труды этого автора печатались в журнале «Дон», альманахе «Гостинный двор» (Россия), журнале «Простор» (Алматы). Он член Союза писателей России. Дипломант Всероссийского конкурса, посвященного 100-летию М. А. Шолохова.



ПРОЗА

Александр ЯЛФИМОВ

Орлы прияицкие

(Отрывки из романа)

3.

Яик ты наш, Яикушка, сын Горынович!
Про тебя, про Яикушку, идёт слава добрая.
Про тебя, про Горыныча, идёт речь хорошая.
Старинный гимн яицких казаков

Сверкая чешуёй, колыхаясь могучим телом, будто сказочный дракон, вытянулся на тысячу вёрст Яик Горынович. Тонким хвостом упираясь в Каменный Пояс, припал жалом-гирлом к морю Хвалынскому. Тянет из него жадно в утробу свою громадных белуг, пудовых осетров, юркую севрюгу. А тем в радость. Рассекая волну сладкую, яицкую, устремляются прочь от воды солёной, мечут в тёплых водах икру, множат богатство запольной реки.

От Илез-реки [1], от горы Солёной и до моря Каспицкого раскинулись по Яику гнёзда казачьи, коши-зимовья. В заросших лесом и кусьями урёмах, по протокам и безымянным речкам, нарыли казаки землянок. Из камней и валунов печуры ухитили, лёжки камышом и войлоком застелили, зимуй — не хочу.

Вода есть, в ней рыба. Мясо рядышком ходит, толокна с ячменём вдоволь. Из корней солодского и дикой ягоды торна буза, крепка, забориста, в дубовых бочатах пыжится.

Наедятся казаки убоинки, бузы напьются, песни горланят. Ржут, будто стоялые жеребцы, слушая побаски бывалого шарпальщика о промыслах на море, на Волге. О богатстве добытом, а главное — о чудных девах, в нежные руки коих он угождал. Врёт, конечно, но складно, да и время быстрее бежит.

С времён атамана Гугни [2] послабка в укладе казачьем, иные с жёнками, у них свои лачужки. Помалкивают до время, ждут вёсну, чтоб место поискать для жизни осёдлой, семейной, а не матущей.

А от Титка Фёдорова, казака злого, который дочку утаил и готов был смерть через то принять, вовсе узду холостяцкую отпустили.

Тогда на Круге, специально по сему случаю собранном, чуть до волосовщины не дошло. Кто зявал, ушибить Титка с дитьём и жёнкой и делу конец. Кто, мол, тока Титка и дочерю, а бабёнка ещё сгодитца. А иные, выворачивая бельмы и за сабли хватаясь, гулом гудели, улалокыть без речей и Титка, и бабу яво с дитьём, а заодно и тех, кто пожалал жёнку казачью на дуван [3] пустить.

Не миновать бы кровищи, да вышел в круг Демид Кулак, по всем рекам силой и разумом известный.

— Чаво орёте! — рявкнул гневно. — Два века жить хотите? Иль жа, думыти, до утлых лет в силе будити? Ты, Авдей, мохом взялся, руку тебе стрялой избидали, а ты рот на Титкову бабу разяваш. Свою-та што ни завёл? А вдруг тебе жилы и на другой руке подрежут, хто в твой рот кусок сунет?

Загалдели разом:

— Нету такова побыта у казаков, штыб с бабыми...

— Оо-о-на ты об чём...

— Дело говорит...

— Нету, нету и обратна нету!

— Тих-ха! — возвысил голос Демид. — Замолкну, тада и орить. Я так мекаю, нашему роду казачьему не должно быть переводу. А раз так, пущай кто пожалат бабу берёт и детей плодит, лишь бы остальным ни в тягость.

— Нету, нету и обратна нету.

— Чаво гарланишь? Знаю, тебе мудя отшибло...

— Мине? Мине? Ды я, ды я, — цоп за ножик.

— Правильна, баб давай, в монахи ни стриглис!

Ватажный атаман Меркул Фролов руку поднял, внимания требуя:

— Казаки, неча орать и смуту заводить. Кто согласный Тита зарубить, шагай ко мне.

Казаки глаза вылупили:

— Ты што, атаман, брата нашива рубить?

— Ну вы жа так жалати, — атаман оглядел посмурневших казаков, — идити убейте отступника...

Епифан Григорич, заросший белой, длинной, как у апостола, бородой, прошаркал в круг, шапку снял:

— Братие мои, я среди вас самый старший. Состарился на ваших глазах. Где тока не бывал, чаво тока не пил, какех тока девок не щупал. И вот душа моя покою требыват. А где он, покой-та, нету яво. Хыть вы меня и жилети, а всё одно я вам в тягость. А ведь можно было маненько переиначить мою стезю, када годов помене было. Сидел бы теперича в зимовье, со старухой какой, ды Богу за вас молился. Думую, братцы мои, Демидка верно глаголит, роду нашему жить и жить надо. А как без бабы? То-то и оно. Помолимся, братие, простит нас Господь за грехи и благословит на рода продолжение.

— Любо! — заорали казаки.

— Пущай живёт Титок...

— Ды ладна, чаво уж там...

В круг выскочил год назад приставший к казакам молодой ногоаец Сибей Кулембетов, сверкая чёрными глазами, завертелся на каблуке.

— Паси Крестос, батька Пифан. Лист, трава жёлтый будит, вода лёдым станит, скачу степ, ташу сыбе девка, тыбе баушк, цалуй!

Взорвался Круг гоготом, враз ушла злоба с души. Кинулись распутывать Титка от верёвки, коей опутан был перед смертью. Подбегла жена с дитьём, вздрагивая от пережитого страха, к груди прилипла.

Приговорили на Круге придать забвению обычай жизни холостой. Кто жалат, живи семейно.

Епифан Григорич, грамотей и молитвы Божьи разумеющий, не тока приговор благословил, но и от себя прибавил:

— Помянем, братие, атамана Василия Гугню и жену яво Гайшу, татарку ногоайску. Она, Гугниха, Праматерь наша, от неё Род Яицких казаков ведётца, в нас кровь её.

И пошёл с тех пор плодиться народ казачий, обличьем и статью особенный, ибо брали в жёны на выбор, каких хотели. Черноглазых, сдержанно-страстных татарок, смуглолицых, дерзких калмычек, трепетно-дивных персиянок, прекрасных, как зори, азиатских красавиц.

Правильно приговорили. Оно и понятно. Одно дело, когда долгой, зимней порой рядом хари свирепые, а другое — взойдёшь с мороза в натопленную землянку, ляжешь, а она вот, рядышком, мягонька да горяча. С тех пор и присловье родилось — «Казачьему роду нет переводу».

С переломом закона этого неизбежно другое вылезло. Кто семьёй обзаводился и детьми обрастал, поманеньку отставали от холостых казаков. На промыслы шарпальные если и бегали, но редко. Оседали на земле по Яику, притокам, на Узенях, кучно — подальше от мест опасных. Ясное дело, какой промысел, когда жёнка с дитями на шее!

4.

По крутым берегам
Вдоль Яика-реки
Видны здесь, видны там
Казаки, казаки.
Всё то вольный народ.
Всюду сабли стучат.
Нет печали, забот
Всюду песни звучат.
Здесь и там тумачи,
Чёрный волос до плеч.
И шумят казаки,
И свободна их речь.

А. П. Хорошкин

Остороженько, не торопясь, ощупывая тёплой ладошкой посеревшие снега, подбиралась весна. Весна не дружная, 7051 лета от Сотворения Мира.

Но вот холодные ветра сменились тёплыми. Снег осел, таял на глазах, рождая звонкие ручейки, сбегające в шумные потоки.

Птицы робко, будто пробуя застуженные в холод голоса, с каждым днём всё звонче и звонче оглашают лес свистом, стрекотом, пением. Пали туманы, верный признак скорого тепла. Воздух загустел, наполнился присущим только весне запахом прели, оттаявшей травы, терпким духом вот-вот готовых лопнуть древесных почек. Зимовали в этот год казаки в Ньюишной уреме. Огибая Кирсанов яр, протока дугой прорезывала непролазный пойменный лес, позволяла вплыть на стругах, скрыться от зоркого глаза непрошенных гостей. Одним боком зимовье к Яику, другим к протоке. Зимовали вольготно, как мышка в коробе.

И вот долгожданная весна.

Нудились казаки в лачужках. Хлопая дверьми, бегали наружу и обратно, задирая бороды, щурились на солнышко, от скопившейся за зиму силы бесились, зявали.

Давным-давно всё готово к отвалу. Струги, подновлённые и сработанные заново, лежат на бревешках на краю зимовья. Легкие, подбористые, с поваленными внутрь мачтами, готовые ринуться в речную и морскую волну.

И вот, когда терпячка совсем кончилась, сна не было и кусок не лез в горло, вздрогнули казаки на ранней заре от могучего, протяжного гула. Тут же подпрыгнули на лежаках от истошно-радостного вопля караульщика:

— Казаки, лёд вспёрло!

Хмылом вышибло из лачужек, выбегли на берег Яика, замерли зачарованные ежегодно виденным, всегда ожидаемым, но всё равно неожиданным.

— Экося краса и силища какая!

Мчатся по мутной воде льдины, наползая друг на дружку, гулко лопаются. Режут с дурной силой выступающие береговые рынки, деревья и кусья, выросшие за лето у самой воды. Котлом кипит у заторов, гулкий шелест вспученного льда, удар подлетевшей громадины, скрежет, рёв освобождённого, могучего потока.

Ломоть выглянувшего на востоке солнца, будто огненным мечом Архистратига Михаила, ткнул светом, просквозил безлистые деревья за казачьими спинами, выплеснул пламенеющую ярь на простор беснующегося Яика. Полыхнуло нестерпимым блеском крошево льда, закраины отполированных водой, встающих на дыбы льдин. Казаки, сливаясь воедино с бушующей стихией, готовые прыгнуть в самое месиво, затряслись рона в лихорадке, распираемые силой, диким восторгом, метнулись к воде.

— Брыт, орнём! — взвыл старый Зузан.

Бешено сверкая белками глаз, упал на коленки, дергаясь, как в падучей, пополз к воде. Приотставшие Игнат Заруба и Маркуша Каратай, такие же старики, пригибаясь, словно хоронясь от ногойской стрелы, в два прыжка настигли его. Поползли рядом, вихляясь, мотая косматыми башками, сарапая бородами по мокрой земле.

Вползли в воду по локоть, трижды макнули головы в ледяную купель. Зузан, смаргивая льющиеся по глазам струи, гаркнул:

— Брыт, живой!

— Живой, брат! — заходясь в рёве, ахнули казаки.

Здравши мокрую бородину, простирая руки к небу, к летящей воде, выдохнул из самой утробы:

— Брыт, паси!

— Спаси, брат! — выплеснули казачьи глотки.

Залитые водой, содрогаясь телами, багровые от натуги, выхрипнули старики:

— Брыт, храни!

— Храни, брат! — взревели казаки. Сбрасывая шапки, одежду, кинулись в дикую, жуткую пляску.

Агромадный, будто верблюд-нар, Тимоха Пуд выдернул за шивыртки исходящих рычаньем стариков из воды, подпрыгнул, пошёл колесом с рук на ноги. Устин Черной, голый по пояс, упал на четвереньки, на них же подпрыгнул на локоть вверх, боком, позвериному рыкая, попёр, вихляясь, вдоль орущих казаков. Вскочил на ноги, опрокидываясь наотмашь, ахнул через голову на ноги, на руки, с рёвом завертелся кубарём, страшный в дикой, языческой пляске [4].

В гнезде караульщик Емельян Шапка, наслышав рёв казачьих глоток на берегу, взбрыкивая козлом, заревел:

— Брыт, орнём! Брыт, спаси!

По тот бок зимовья, чуть не вываливаясь из гнезда, вторит ему Кондратий Пачколя. Сотрясая хилую площадку на вековом осокоре, беснуется в пляске, жарит по ляжкам широченными, как верблюжья лапа, ладонями.

Через неделю схлынул лёд. Сгинула грусть-тоска, ладили скорый отвал. В сухую яму, вырытую в лесу, сложили вывернутые из лачужек оконца и двери, туго-натуго скрученные войлочные подстилки, посуду из-под ячменя, толокна, проса. Посовали разную, не нужную в походе, но необходимую для зимовки рухлядь.

На ранней заре с радостным огнём в глазах сволокли струги на воду. Вышибли затычку из сбережённого для этого случая бочонка, расплескали по посудинам бузу.

Ватажный атаман Григорий Алексин, суровый, крепкий, как жеребец, руку поднял:

— Марк Семёныч, твори молитву отвалю.

Маркуша Каратай шапку долой, пригундосивая повёл молитву. Гулко припечатавая ко лбу двуперстие, истово отбивая земные поклоны, закрестил на четыре стороны, на небо, на землю, воду.

— Господи благослови, Господи благослови, Господи благослови, — довели казаки.

— Аминь, — завершил Каратай.

— С водой, казаки, — поднял посудину атаман, — за Микулу, он был тут [5].

— За Миркулыча, — подхватили радостно, — спрыснём путь-дорожку.

— С водой, с отвалом, за Миркулыча! — опрокинули бузу в волосатые рты.

Распустив захапные [6] паруса, заскользили к Каспию. Впереди, причмокивая яйцкой волной, урезывает ертаульная будара [7] с четырьмя казаками. За ней, по стремнине, на видимом попреще [8], будто лебеди, три струга, по два десятка казаков в каждом.

Яик Горынович, радуясь горластым детушкам, вваливат в брошенные за корму нитяные сети красную рыбу [9], схожих с чушатами золотых сазанов, пуды серебряной воблы. Плыли, кормились, растревляли истомлённые зимним бездельем косточки.

Там, где в Яик впал Чаган, у старинного казачьего коша-зимовья, обнаружили два струга, так же готовые к отвалу. На зёв выбегли свои, яйцки. Спиридон Уфинец, коновод ватажный, поведаль:

— Летось, как от вас отстали на Волге, купцов скоблили всяких-разных. Два полона на перелазях отшибли. Не успели матри трипицыми раны пирматать да своих питярых схоронить, третий гонют...

— Которы сгинули?

— Спря Кузнец, Витошка Ульян, Гриня Полорот ды Копеечка с Филимоном.

— Отлёт казаки. Царство им небесное, — закрестились, поминая.

— Ну вот, третий гонют. Ай стерпим, христьянски душеньки на казню вядут. Подняли струги выше, на них казаков горсть оставили для наскока, истальны с двух сторон с пищальным боем. Пока етыт отбили, пока то, пока друго, холода подступили. Через Иргиз [10] на Яик перелезть не осилим, мало нас. А главное, всякой трень-брень всклень, а хлебца нету. Как зимовать? Айда по ветру ды по струе к Астрахани. А тама у татар буза кака-та своя. Тихим молчаньем пырск в море. Малый кус толокна да ржи добыли. Ядва-ядва поднились к Чагану, а тут и зима пала. Иссье трое, изрублены, исколоты, померли, пока вясны дождались.

— Кто?

— Матюша Свечка, Авдей Антипов ды Чапура, дай им Бог на лёгкой бударе прям в рай...

Распустив паруса, на пяти стругах ринулись к сине морю местельно. Ведёт стаю лихую Григорий Алексин, сам лихой, орёл яйцкий.

5.

Широка и развалиста Русь, а схорониться от нужды негде.

Суетится добышной мужик, лыком подпоясанный, во всяки дыры лезет, а всё всколлизь. Тут в рыло ткнут, там за волосья оттаскают, а в ином месте и палкой избобьют.

Взбегёт замытаренный в курную, прогорклую от дыма и вони избу, ржаной калач, добытый в тягости, рвёт на куски, суёт хилым чадам. А те хмыл его и обратно в рёв. Из богатества коровёнка одна, и та чуть более собаки. Лежит тут же, в избе, в говённых засавах, рогожку, хозяевами обронённую, жуёт. Мохнатой тряпицей вымя пустое. Молоко у коровы на языке, а с соломы гнилой да рогожки какой прибыток.

Жёнка, от угара и нужды одуревшая, грязна, всклочена. На погребнице, окромя редьки, хоть шаром кати, мыши и те откочевали. Это ль жизнь? Это ль доля для дерзкого и отважного? Нету, изжога одна.

Лыкову опояску долой, лапти в печку, правдой ли, кривдой ли сапоги на ноги, кушак на пояс потуже, за него топор. Сбившись в артель, айда в разбег счастья искать. Исполон веку славна Русь сбегам да шатунами.

Вот с такой артелью и ушёл Кузьма Строганов за Волгу, в поисках землицы пустой да куска хлеба не горького. Выделяясь среди прочих умом и хваткой, дело повёл тонко, более на разум уповая, а не на горб.

Вскорости прибрал к рукам хлебный припас, торг малый завёл. Пёрли к нему на двор полудикие людишки разных племён драгоценный мех, духовитый дикий мёд, взамен, причмокивая от восхищения, получали скобяной товар, иглу, котёл, ножик железный.

Утесняя доверчивых, неразумных охотников, столбил землю. За ради куска ставил к работе пригблých, шатающихся, во всяко время в избытке блукающих по всем углам обширной Руси.

Одна хлябал щи с говядиной, недосол почуял. Вместо лая на стряпуху ложку отложил, ажник взопрел от догадки:

— Вот оно богатство, соль!

Кинулся мелкие солевари скупать, выменивать, инструментом оснащать, новые рассолы сыскивать. Умасливая казённых доглядчиков, на рассолах выисканных варницы ставил. Где куском, где кнутом люд работный к делу приставлял. Закипело дело, соль повалила, куды без сольцы-та? Облapiла фортуна Строгановых, веками из жарких объятий не выпускала.

Соль-Вычегодск, гнездо свое, обнёс земляным валом, срубил церковь, хозяйством расширился. Пустил во все стороны прикормленных цепных псов — приказчиков с товаром. Отправляя, за бороды драл, приговаривал:

— Знамо, уворуешь хозяйско добро. Знамо, пить-кутить учнёшь на хозяйску деньгу. Но ведай одно неотступно, пропьёшься до креста, сдохнешь где-нито с проломленной башкой. А вот ежели на копейку уворованну рублик мне положишь, жить будешь в доверии, своим добром обрастать. Уразумел, харя поганая, што толкую?

— Уразумел, отец родной, вовек не забуду, — ощеривал зубастую пасть приказчик.

Дерзким да смелым удача в руки. Попёрло богатство Строгановым неслыханно. Кузьма-то в курной избе, почитай, жизнь прожил. Щей восприимет, квасом кислым запьёт и довольный. Урвёт копеечку, радостный. Варницу оттяпает, охотника с землицы сгонит, за собой застолбит, счастливый. А теперя?

Сидит Аника Строганов в дому, из вековых лиственниц срубленном. Крыльцо высокое, палаты чисты, светлы, пол скоблёный, жёлтый. Ковры на нём, не рогожка. На столе не щи с квасом, а окорок медвежий, оленьи губы в уксусе мочены. Птица, целиком томлёная в печной утробе, яблоками обложена. Рыба всяка, копчёна, варёна, вялена, грибки малосольны. Пирог да витушки горой, пышны, румяны. Вместо кваса бастр да романея. Аликant желтеет, рейнское краснеет. То ли не жизнь? Но томится душа Аникея, потомка Кузьмы.

Девка ядрёная, прислужница домовая, вспорхнула в палату, потянулась рукой пухлой, посуду прибрать. Зыркнул на грудь её, чуть не до сосцов выпирающую, крикнул хрипло:

— Чаво эт титьки вывалила? Чаво смущаш до время?

— Тясно им, — прыснула девка, брызгая синим светом довольных глаз.

— Тясно, — хлопнул по круглому девкиному заду, — иди отсель, не до тебя...пока.

Выпил романея, задумался. Вот и мне тясно здесь. Рассолы оскудели, от земли прибыток малый. Народишко промысловый, меха добывающий, в глубь ушёл. На Камуреку надо, там рассолы не тронуты, там богатство. Не раз толковали ему про них люди доверенные. Мой, мой должен быть Пермский край. Там надо встать твёрдо, дело повести широко. Рази зазря слал на Каму сольщиков, рудознатцев. Приказывал землю желаемую на бумагу срисовать, знаками пометать рассолы, руды, кои обнаружатся. Реки, озёра и всё, што глаз ухватит.

Да, дело великое. И труды велики. Не миновать в Москву отправляться, самому царю Ивану челом бить, увлечь интересом, примануть. А самовольством?.. Подумать и то боязно, враз башка долой. Нет, в Москву надобно, к царю. Пошто лизоблюдов, ярыг шныряющих и зыркающих насыщать? Прорва ненасытная, успевай только рты затыкать.

Маялся Строганов, маялся, решился. Навалил в двое саней, крытых кожей, мехов драгоценных, в санный возок, к дальнему пути приготовленный, сам уселся. Под задницу мамон кожаный, золотом набитый, на шею гайтан с камешками самоцветными. По первому снегу айда с молитвой в Москву за удачей.

6.

Ах, бывало мы, казаки-братцы,
На морских волнах лихо плавали
На лёгких стругах за добычею,
За персиккою, за хивинскою.
Старинная казачья песня

Ярилась перекатная волна. Доигрывал весенней, разливной силушкой Яик Горыныч. Нёс на широкой спине казацьи струги к Хвалынскому морю.

Ожила степь. Бирюзовый подстил сочных трав пятнился алыми разводами тюльпанов. Степная полынь, одурманивая терпким духом, серебряными волнами набегаёт на склоны древних курганов. Лысые, солончаковые взлобки, с махонькими цветками на макушках, плавают в тумане, будто бритая башка кочевника в пёстром тюбетее.

Торопились казаки. Булгачили друг дружку.

— На Волгу, братцы, надо. Тама кус ухватим.

— Эва, хватилса. На каку Волгу, на неё с Чагана на Иргиз ходют. А мы где?

— Море, море тоску развееет...

Чтобы засветло еду сварить, огнём внимания не привлекая, в полднища [11] от Сарайчика пристали к берегу. К берегу азиатскому, именуемому казаками Бухарской стороны. Развели бездымные костры, заварили рыбу.

Не успели дохлябать жирное, духовитое хлебково, зазывал караульщик с высокого осокоря:

— Ай, гли-ка, по тот бок Яика мутня кака-та!

Хлебково долой, взором на тот берег. Мечется кто-то по безлесному яру, уворачивается от верхового, мотающего над головой арканом.

— Никак ногаиц полон багрит, — загалдели разом.

— Ну-к, — разлепил губы Алексин, — пособи́те мытарю.

Тимофей Пуд в вёсла, Черной за пищаль, айда на ертаульной бударе поперёк воды. Вёсла дугой, вода ключом за кормой.

— В коня бей, — кричит вслед Алексин, — языка бирити. Афоня, — поворотился к караульщику, — один тока батырь иль ещё виднеютца?

— Один. Лес редкий, никаво, белы биряга [12].

— Ну и ладно, знытца двух хватит.

Кондратий Пачколя, смачно сморкаясь, пожалковал:

— Пумат. Ни поспет Тимоха. Живым хотит взять, ни бьёт...

Ревёт Тимофей с воды, башку оборотя, отманиват:

— Ый батырь, кара мында. Исанме! [13]

Черной в носу будары пищаль угнездил, целит.

Беглец перед конником вильнул обманно, метнулся к яру, прыгнул вниз, покати́лся к воде. Ногаец аркан долой, лук сдё́рнул, вымахнул на край подмытого яра. Грянул выстрел с подлетевшей будары, конь, обрушивая землю вниз, крикнул истошно всад-

ник. Казаки из будары, Тимоха к воину, Черной за шиворот из воды ошеломлённого беглеца выволокли.

Дёргаясь, вздрагивая, хрипит конь. Задними ногами бьёт, сучит по прибрежной сколизи, жёлтые кости передних ног в нитках сухожилий наружу. Придавленный конём батырь без звука, недвижимый.

Пуд полоснул ножом по горлу загубленного коня, вытащили ногойца. Высокой передней лукой седла смяло воину грудь, сокрушило рёбра. Сняли с коня седло, узду, утелец, вьюнош возрастом, прихрамывая, рядом суетится.

— Чаво хромаш? — зыркнул на него Черной.

— Ногy зашибил, када с яру прыгнул.

— Ништа тожа прирежим? — вспарывая лошадиную шкуру, скроил страшную рожу Тимоха.

— Ясно дело, прирежим, — скривил Черной, — он нам зачём, хромой-та...

— Дык заживёт, — стушевался парень, тут же расплылся в улыбке, глядячи на заготовавших казаков.

Ходко подошли ещё две будары с четырьмя казаками. Казак-ногаец Багман Ерма-нов ловко разделал тушу лошади, пока таскали мясо по бударам, занялся покойником. Заунывно подвывая, помолился, завернул тело в лошадиную шкуру, крикнул казаков. Положили воина повыше, в береговую промоину, обрушили землю над ним. Багман притоптал могилу, воздел руки к небу, мазнул ладонями по лицу:

— Лежи с миром.

Нагруженные мясом, тронули на Бухарскую сторону, к своим. Спасённый, бойко поглядывая на казаков, стараясь угодить, смахивает с мяса невесть откуда налетевших зелёных мух. Угнездывает то и дело сползающие на затоптанное дно будары скользкие, пахучие куски конины.

Охальник Ермолай Перша, перебравшийся в будару к Пуду и Устину, заметил усердие парня. Притворно вылупив глаза, цапнул его за плечо, с хрипом, с присвистом в ухо:

— Живой? Итлягло от жопи? Сказывай, ты зачом ит батыря убягал, а? Он вить аряным хотел тибя попотчивыть, а ты бигчи? Рази ни знаш, што ета яму в досаду?

Парень закрутил головой, перескакивая взглядом с Тимохи на Устину, испуганно заморгал, а Перша дальше:

— Ну даржис. Таперь батырь етыт кажну ночь к тибе приходить будит, кумган с аряном в рыло сулять учнёт...

Пуд могуче захохотал, сотрясаясь огромным телом, Устин рукой махнул:

— Всё, пропал ты, брат.

— Чаво горланити, — одёрнул подплывающих казаков Алексин, — до время в драку хотити. С батырем што?

— Конем яво раздавило, — ответил Черной, — упокоился.

Казаки окружили спасённого, Алексин выпрос повёл:

— Кто таков? Сказывай не таясь, всё едино с нами будишь. Иль жа тут тебя бросить?

— Нету, нету, с вами буду. Микита я.

— Какем побытом на Яик угодил?

— Отец ды дядья на перелазе сидели, на Дону. Весной ранней купца запонадобилось на Волгу переволочь, меня тож взяли. Када перетащили, да купец вверх ушёл, поохотили дядья с отцом на Ахтубе [14], на торжище разжиться чем-то. Переплыли через Волгу, отдохнуть решили. Костёр зажгли, наелись да спать повалились. Тут нас ногаи и похватили, они полон рядом гнали. Отец с дядьями отбитца хотели, зарубили их, а меня заарканили ды сюда.

— Тут на яру чаво бегыл?

— Так нас, пригнанных, по ямам рассовали, отсель недалеча. А нынче утром вынули нескольких, деревья рубить погнали. Уразумел я, што плоты ладить хотят, нас через

воду переплавить и дальше гнать. Думую, бигчи надо. Улучил момент и сбёг. А ногаиц зтыт...

— Вона што, — перебил его Алексин, — значит, в Сарайчике полон есть [15].

Зашумели казаки:

— Отбить, отбить нада! Ай бросим христьянски души!

— Тих-ха! — поднял руку атаман, — помекаем, в печали мучеников не бросим.

Пока Маркуша Каратай по-стариковски заботливо кормил Микитку горячим хлёбом да примерял на парне бешмет, взамен махряной одёжки, казаки решили ударить по Сарайчику на заре, в самое сонное время. Учитывая, что после холодной и голодной зимы ногаи давно откочевали в степь, на многолюдный отпор не рассчитывали. Да и Микитка божится, воинов не много. Кроме двух десятков, кои гнали полон и теперь стерегут, еще с полсотни выюжат, да вроде уходить собираются.

— Оне всягда так-то, — прокашлялся Игнат Заруба. — Хто и набагрил ясыря, тут жа, на месте стараютца яво продать иль обминять на што, а сами в степь...

— Да знам об етим, — перебил старика Афоня Полоз, — што раскумековать-та.

Используя время до налёта, протрухнули сольцой мясо лошадиное, оружие проверили. Григорий Алексин Микитку крикнул, дал ему оружие, с ногайца снятое. Лук, саа-дак со стрелами, нож. Старенькую азиатскую шашку с приговором вручил:

— На, Микита, владей, твой приз [16]. Оборотис назад, видишь, казак сидит, ножик точит?

— Вижу.

— Ванька Бубен яво кличут. Скажи, штоб научил тебя с етой лиходейкой управлятца.

Ночью снялись, хлынули вниз по течению. По уговору струги приткнули не доходя. Три десятка казаков, ведомые Агеем Брянчиком, зашли слева, без звука прошмыгнули внутрь городка, затаились, ожидая сигнала. Спиридон Уфинец с частью казаков зашёл справа. С остальными Алексину предстояло ударить от Яика, в середину. Микитка, не отставая от атамана, должен указать ямы с полоном.

Чуть порозовевшее небо на востоке высветило остатки кое-где сохранившейся городни, разбитой ещё воинами Тимура, свежие заделы из камыша, плетней, обмазанных глиной [17]. В глубине ряд целых и полуразвалившихся построек. Несколько кибиток, десяток коней, привязанных к волосяной верёвке, натянутой между двух врытых в землю толстых кольев. Дальнее скрыто темнотой, не разглядеть.

Без шума миновали грань городка, огляделись.

— Где ямы? — прошипел Алексин в Микиткино ухо.

Тот завертел башкой, привстал и вдруг истошно заорал, указывая рукой:

— Вона! Вона! В избе бабы, а достальны в ямах!

— На слом! — гаркнул рассвирепевший атаман, выстрелил из пищали в ногайца, выскочившего из-за угла.

Из кибиток, построек выбегли пешие воины, кинулись на казаков. Иван Бубен, пробегаая, полоснул саблей по верёвочной коновязи. Кони, привязанные к ней чумбурами, взбрыкивая, путаясь между собой, сбились в пыльное кобло. Крик, рёв, ржанье коней, лязг железа, выстрелы наполнили воздух.

Ловкие батыри растащили коней, прыгнули в сёдла, с воем ударили на казаков, отпрянули назад, встреченные огненным боем подоспевшей ватаги Агейки Брянчика. Тимофей Пуд с побратимом Устином крушат крепкие, из вязового кругляка, покрышки ям-зинданов. Плечом, рона бревном, вышиб Тимоха дверцу в глинобитной землянке, в которой криком кричали женщины. В клубах пыли сунулась наружу крупная девка, в огромных, налитых ужасом глазах вспыхнула радость.

— Не вылазь! — рявкнул Пуд. — Сиди тут! — побёг догонять Устина.

Справа казаки Спиридона Уфинца сцепились с ногами, бежавшими навстречу своим коням, при первых выстрелах пригнанных табунщиками в город. В пылище, поднятой лошаадьми, в сумерках начинающегося утра гремят выстрелы, с воем и кри-

ком рубятся яростно, вусмерть. Сумевшие поймать коней выпустили в сторону казаков веер стрель, умчались в степь.

Не встречая сопротивления, побегли к зиндану. Напуганные налётом жители-бедняки попрятались, в драку не лезут. Галдящие казаки вытащили из ям измождённых мальцов, в синяках и ссадинах молодых ребят. Тут же тряслись от страха и неизвестности три молодые женщины, пяток девчат-подростков, крупная, рослая девка.

Вывернулся из-за угла Алексин, принёс на спине чуть живого, залитого кровью Фрола Погодаева. Сёмка Засуха с Першей подвели стонущего Ивана Муху, сам приволокся, опираясь на пику, перепачканный кровью Ларион Долгой. Казаки приняли безмолвного Фрола, положили на вышибленную Пудом дверцу.

Григорий, оборотясь к Микитке, тяпнул его по шее, цапнул за грудки, подтянул к своим налитым бешенством глазам:

— Шкуру спущу другой раз, езлива заорёшь ни к месту. — Оттолкнул, склонился над Погодаевым:

— Живой, брат?

— Живой, — еле слышно Фрол.

— Ну-к, оглядись, все тут? — крикнул атаман. — Айда к стругам.

— Ништа пошарим по углам, — предложил кто-то из казаков. — Ништа пробежим по Сарайчику-та?

— Кто ет там на гнилы кошмы заритца? К воде, к стругам шибче ходи, — рявкнул атаман.

Тимофей Пуд, рона ребёнка, понёс небольшого, жилистого Погодаева к воде. Девка ясырька рядом, заглядывает в побледневшее лицо раненого:

— Раны ба пыгыльдеть. Я травы знаю, выличу...

Тимоха, ещё давеча приметивший девку, насколько возможно приглушая рык глотки, сощуривая чёрные, шалые глаза, спросил:

— Тебя как кличут, ясная?

— Ариной кличут.

— Отколева таку на Яик принясло?

— Сколь себя помню, на Узенях [18] жили.

— Какова-же ты кореню?

— Казачьего.

— Но-о! И чья жа?

— Ямановых. Тока сирота я, кругла, — поникла девушка.

— Куда ж папаня с родительницей подявались?

— Папаня с казаками на промысле в море сгинул, а маманя помярла вскоре. Чужие люди меня растили, шабры [19] наши, дедынька Меркул ды бабака Аганя с семьёй своей.

— В полон-та как угодила?

— Растеплилось когда, с зимовья на разливы пошли, скотину погнали. А тялок-бычишка подхватис, хвост трубой ды убёг. Я за ним вдогонячку. Пока гонялась, тут ети откуда ни возьмис, царап меня ды в связку.

— Тряпали поди ногойцы?

— Нету. Полез было один настойчиво, тык яво постарши который годами нагайкой отстягал.

— Ну, девынька, подвязало тебе. Теперь моя будишь...

Казаки, оставленные на стругах, успели подогнать их к взвозу у Сарайчика. Быстренько погрузились, прихватили годные к сплаву лодки ногаев, не мешкая погребли вверх.

Вызволённых из полона высадили выше Сарайчика, на Бухарской стороне, в давно известной глухой урёме. Вытесали вёсла для уведённых лодок, вооружили кого постарше оружием, снятым с убитых ногаев, дали запас еды.

Бойкий, востроглазый мальчишка взялся коноводить, объясняя, что знает местность. Настаивал подняться ещё выше, до речки Баксай, которая в Яик падает, и уже по ней перебраться на Узени, где люди живут, а там видно будет. Хотели Микитку с ними отправить, тот ни в какую, с вами буду. Куда идти, один на свете остался, как палец. Пожалели, оставили.

С Фролом Погодаевым другая статья, как быть? Шибко порублен, то в памяти, то в забытьи. Ещё новость, старый Зузан выпрягся. Чуть не всхлипывая, что казакам в диво, запричитывал:

— Простити Христа ради, казаки, не пойду далё. Ета дела ли, што со мной? За вясло цапну, пальцы сосклизнут. Бягом побягу, ножиньки ни бягут. Всё, спелый видать, отбегылса. Истаюс с Фролом, с няво нынчи тожа какой воин.

Каратай с Зарубой к нему, а он и говорить не хочет.

Девка Арина от могучего тридцатилетнего Тимофея не отходит, в разговор вклинилась:

— Дозвольте мне при стариках быть. С бударой управлѣтца могу, рыбы пумаю. С луком и огненным боем зналась. Дедынька Меркул приучил к оружию на случай набега. И травы знаю, выличу яво, — на Погодаева указала.

— Ну ты, девка, прям казак! — восхитился Пуд. — С промысла вярнус, к сердцу прилиплю.

— Буду ждать, — вспыхнули радостью Ариныны глаза.

Тимоха за плечи её, к себе привлѣк:

— Ну тык ладна. Блюди себя, вярнус, слюбимса.

— Помоги тебе Господи, Тимоша, молитца буду.

— Яры [20]. Жди меня. Разыщу. Слово моё верное.

Пока сварили еду, пока поели, время к сумеркам. Благословѣнные Каратаем, придерживаясь азиатской стороны, погребли освобождённые в верх к Баксаю. Пока по пути, поплыли с ними на вместительной бударе Зузан, Фрол и Арина. Прощаясь, устроили казаки удобную лѣжку болящему. Отсыпали Зузану зелья, свинцом снабдили.

Арине Тимоха самолично повесил на пояс свой бейбут [21], кривой кинжал с затейливой вязью по клинку, с костяной рукоятью. Посовали в будару одежонку разную, сеть рыбацкую, соль, топор, посуду. Григорий Алексин поклонился Зузану и лежащему в бударе Погодаеву. Посоветовал лето переждать на Медвежьем острове, обещая по возвращению разыскать, взять на зимовье. На Микитку указал:

— Вона замена вам. Ревок славуцѣй [22], чуть было налѣт ни сгубил горлом своим.

С молитвой, благословясь, поплыли. Принял Яик Горыныч на свою спинушку детей своих, понѣс по волне мягонькой. Одних, оберегая в извивах и урёмах, к спасению, других, лихих да отчаянных, к морю синему, к морю Каспицкому...

[1] Река Илек, приток Яика.

[2] Атаман Гугня славен тем, что оставил себе жену — факт, послуживший забвению холостой жизни казаков.

[3] Делѣжка.

[4] ОР — древний обряд поклонения речному Божеству Горыновичу, сопровождаемый в данном случае так же старинной пляской яицких казаков — Бышенька.

[5] На Яике есть предание, что здесь во время оно был Микула Селянович. По казачьему обычаю постоянно вспоминается перед дорогой и на пирах: «За Меркулыча! Он здесь тоже был!»

[6] Захাপные — обширные.

[7] Плыущая впереди лодка с казаками-разведчиками.

[8] Поприще — старинная мера длины — 1,5 км.

[9] Рыба осетровых пород.

[10] Река Иргиз — приток Волги.

[11] Пол-днища — 18-20 км.

[12] Белы беряга — пусто, безлюдно.

[13] Батырь, смотри сюда! Здравствуй (татар.)!

[14] Древнейший торговый центр между Волгой и Ахтубой.

[15] Ногаи в Сарайчике имели лодки. Полон переправляли на азиатскую сторону на плотах, в сопровождении воинов в лодках, кони плыли сами.

[16] Добыча.

[17] Сарайчик никогда не имел крепостную стену, ров и т. д. Обнесён был городнёй, два плетня с засыпкой землёй. В 1395 году разрушен Тимуром. Ногаи в нём пережидали зиму, весной уходили в степь. Оставались те, кто не имел скота, бедняки. В Сарайчике, в тюрьме-зиндане — накапливали пленных для дальнейшей продажи.

[18] Реки Большой и Малый Узень в степи. В сильные разливы Яика, через речки Кушум и Мухор, Узени соединялись с Яиком. С древних времён место проживания (зимовки) осёдлого населения.

[19] Шабры — соседи.

[20] Ладно. Хорошо (татар.).

[21] Бейбут — персический, кривой обоюдоострый кинжал.

[22] Славушэй — славный.



Ануар ЖОЛЫМБЕТОВ родился в Алма-Ате в 1952 году. Служил в армии, работал строителем. Участник семинара «Мастер-класс» общественного фонда культуры «Мусагет». Постоянный автор журнала «Простор».



ПОЭЗИЯ

Ануар ЖОЛЫМБЕТОВ

ТОПОТ КОПЫТ

Туркестан

Дивлюсь твоей изменчивой судьбе,
Мой древний Туркестан. Хвала Творцу!
Не помнили мы долго о тебе,
Но вот вернулись к милому отцу.

Земля моя, прости, — я ныне гость...
В диковинку мне рёв ослов, дувалы.
Тенистых улочек саманные кварталы,
Где на стенах — лоза за гроздью гроздь.

И чайхана — террасой у воды,
Тягучий чай и старцев мудрых лики.
В тени плакучих ив журчат арыки,
Дорожки в зарослях серебряной джиды.

И купол голубой вдали парит,
Иду к нему почтить я аураха.
С муслима сердцем и с душой казаха
Ступаю на узор священных плит.

Под этой сенью — храм и цитадель.
И склеп, и пантеон ушедших ханов.
Из полутьмы речь слышится фирманов...
Топот копыт!.. Свист стрел, летящих в цель!..

Ван То

Опять без электричества. Картошка на столе.
Вот ты, вот я — при тусклом пламени свечи,

Как в «Едоках картофеля» у раннего Ван Гога.
Еще бы трель сверчка да в полумгле
Таинственные тени. И в ночи —
Совиный крик. Собака у порога.

Учуяла кого-то за порогом,
Ворчит. Трепещут блики на груди стола.
Ты так мила в чепце, на поясе ключи.
О Саския, задуй огонь свечи,
Задууй, и да обступит ложе мгла
Любви, — увы, не встреченной Ван Гогом...

Отвергнутого женщиной, угрюмого Ван Гога,
Застывшего навеки у порога
Жилища в Арле, в сизой полумгле,
Где тяжелеет бритва на столе,
Не светит лампа. Филин не кричит.
И на полу ненужные ключи...

К молчанью времени не подобрать ключей.
Влачится дым над трубкой, вечен взгляд Ван Гога —
Поборника огня небес, а не свечей,
Дорог — а не скамейки у порога.

Осень

Промозглый день всё шепчет о любви
Слова пьянящие. Но это ложь пустая...
Вот осень пышная и золотая,
Что бурей чувств откликнулась в крови,
На самом деле — умирая...

Простителен её святой обман,
Ушла она — как улетела стая...
Она сияла, словно кущи рая,
Лаская блеском обмирающий туман,
На самом деле — опадая...

Её хлестали ветры и дожди...
После побоев серых стылых струй
Она лежала, тусклым взглядом тая
В грязи, не чуя лада иль вражды.
Последний свой нам слала поцелуй
Сквозь наледь слёз, как будто Пресвятая...

Сергей КОМОВ — поэт, прозаик, живёт и работает в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. Автор сборника стихов «С вечной верой в добро» и книги «Бухтарминская лилия». Лауреат премии «Золотое перо России». Публикуется в литературных журналах Казахстана и России.



ПРОЗА

Сергей КОМОВ

Над высоким берегом залива

Рыжая песчаная дорога полудужьем сломанной подковы огибает этот край села возле дома Петьки Кудряшова — улица Береговая. А за ней — бугристый пустырь с выжженной азиатским солнцем травой. Шагов сто до обрывистого берега, стена которого густо усеяна норами береговых ласточек. Внизу, под яром, — темно-синяя рябь залива, вправленная в песчаный обод. Кувшинками зарос мелик у бережка напротив, горбы барханов на том берегу. Десяток раз на дню выходит Петька на этот краешек. Колышутся на ветру оттопыренные коленки выцветших от времени советских трико. Калоши — в рыбной чешуе, не в навозе: нет у Петьки хозяйства — только плодовая кошка да пес с нудным надрывистым лаем. Над солнечным яром легко дышится уставшей душе. Прямо из-под Петькиных ног выстреливают из нор быстрые ласточки. Внизу, у самого берега — прозелень волнующейся, словно дышащей воды. Солнце, пробиваясь сквозь рябь волны, вяжет на дне мелководья золоченые колышущиеся петли, солнечные сети.

Пообтрепала жизнь Петьку крепко. К своим шестидесяти годам напоминал он собой невысокий корявый карагач, выросший на вершине бархана на том берегу. Лицо у него — говорящее: чего стоит один только нос! В бурной молодости его неоднократно ломали, правили железными кулаками и чем ни попадет под руку. Видать, не знал этот нос хирурга и заживал без постороннего вмешательства, как на дворовом псе. Оттого он криво, как пьяный, выпирал на лице, сбившись со своего естественного, Богом определенного места. Вспыльчив был Петька по пьяному делу, которое он добро любил, бешеным становился, неумным и сам частенько сбивал казанки кулаков о чужие подбородки. Спрашивал я в деревне у одного местного старожилы про их породу, и тот вспомнил в версте от современного села затопленную станицу, разложил на пальцах всю обозримую родословную Кудряшовых, шибко нигде в пути не останавливаясь, отрезал коротко: «Кудряши-то? Как же! Наши они, коренные. Дед Евсей сам дураковат был, под старость совсем помешался. Володька, его сын, тоже недоумца был. И Петька их туда же подался».

Остался от прежнего Петьки только не тронутый сединой, богатый, чесанный ветром да пятернею чуб. Мелкими слезящимися глазами смотрел он на жизнь пусто и

безрадостно. Притупились за нелегкую жизнь бывлые чувства, выгорели, как эта редкая трава на палящем солнце. Ходит он на берег не морем любоваться, как принято называть в селе родное водохранилище, и не ребристым Колбинским хребтом. Смотрит он на затон ближе к тому берегу, метки выглядывает, где стоит его сетушка, кормилица Петькина. Не так давно сняли у него сетку деревенские мальчишки, рыбу выбрали, а сеть на другом берегу бросили. Петька в тот день на своей пластиковой лодке в поисках сети впустую избородил с «кошкой» вдоль и поперек все побережье. Лишь через пару часов подслеповатым своим глазом заметил на берегу подозрительный клубок из лески. По метке и поплавам сразу опознал свою сеть. Детские следы цепочкой тянулись по мокрому песку в село. Не стал Петро чинить разбор с малышкой, махнул на то рукой, ведь в детстве он и сам озоровал на соседских огородах, да и чужие сетки, бывало, тряс на затоне.

В другой раз рыбнадзоры на катере вытащили его сеть на берег, облили ее бензином и сожгли вместе с рыбой возле Петькиной лодки. Целую неделю после того он не выходил на море. А вскоре подобрал на другом берегу затона выброшенную кем-то ненужную сеть, перебрал ее, подлатал дыры и опять «выставился». Улов уносил к родне и продавал по щадящей цене. Вырученными от продажи крохами денег и рыбой жила семья Кудряшовых. С работой после разлома страны в селе было туго.

А были когда-то и у Петьки хорошие заработки. Работать он умел. Когда уехал из родного села, одно время работал в лесхозе, возил лес. В те времена всем хватало — и государству и людям. Так что про себя он тоже не забывал: позволял иногда умыкнуть воз досок налево. Но от этого дармового добра проку было мало, все спускал Петька подчистую с закадычными друзьями.

С первой женой пожил Петро недолго, сбежал, оценив свои возможности и способности жены. Без передышек, как безотказная машина, напластала она ему трех погодок. Вторая тоже трех родила, правда, с небольшими промежутками. Кроме этого добра имелся у нее старший сын от другого брака. Когда произошел крах империи, Петька, которого односельчане прозвали Кудряшом, как и большинство граждан исчезнувшей страны, стал гол как сокол. Небольших и к тому же обесцененных накоплений на книжке хватило только на то, чтобы купить жене сапоги. Устав от Петькиных запоев, жена его Катерина приняла жесткие меры — определила буйного во хмелю Петьку под контроль милиции. Пока он сидел своих пятнадцать законных суток, она продала дом и отправила контейнер с вещами в Россию, куда-то в Сибирь, к старшему сыну. Петькино барахло она не поленилась, скинула в погреб и попросила соседа трактором сровнять его с землей. Когда Петька отсидел свои пятнадцать суток, то его жена с детками были уже далеко, а из вещей у него осталось только то затрапезное белье, что находилось на нем. А меньше чем через год сварливая супружница, не найдя общего языка с сыном, подалась обратно, в родные места. Она сама нашла Петьку и прилепилась к своей горчайшей половине с прежней силой, как это заповедано нам свыше. К той поре он уже проживал в родном селе на берегу Бухтармы.

Над яром стоял домишко Петьки Кудряша. Не дом — саманная избушка из трех комнат, каких на этом берегу большинство. Ступишь на порог — шибает в нос крепкий рыбий запах, коим уже насквозь пропитались стены и вещи жилья. Даже дальняя узкая кельеобразная комнатка, отведенная дочке, нагулявшей себе в селе грудничка, и та не может противостоять крепкому рыбному духу. Растворились в нем бесследно и крепкий кошачий душок, и устойчивый с виду запах детского горшка. «Принюхались» домочадцы к такому воздуху, не чувят совершенно, что не годен он для нормального существования. Раньше частенько заходил к ним сосед дядя Коля Горшенин. Но после первого чаепития решил дальше порога не ходить. Постоит на крыльце, поговорит — и домой. А в последнее время стали над яром встречаться, на вольном воздухе. А поговорить им было о чем, как-никак сетки рядом ставили, вместе от рыбнадзоров бежали. Стоя над яром, показывал дядя Коля на тропу, которая почти отвесно поднималась к их ногам:

— Этой ночью проверился, карабкаюсь по тропе домой, тащу на загорбке рыбу в мешке, с ведерко, наверно, поймалось. Линьков добрых пару штук зашло, судачок застрял, а остальное — все окуня и сорога. Уже почти наверху голову поднимаю, а там надо мной стоит кто-то, вот на этом самом месте, где ты, Петро, сейчас стоишь. Отдыхать не могу, сердце зашло, как-никак уж семь десятков отдежурил на свете. Меня будто в серединку саданули, думаю: «Попался». А он молча в темноте стоит, а потом с ехидцей спрашивает: «Что, напугался, дядя Коля? Свой я, Женька Варгин». Вот тут меня и понесло: «Черт тебе родня, а я не «свой» тебе». И так разошелся, что будь там рыбнадзор поблизости, и его бы отчитал. Ведь специально подкараулил меня этот полуношник, шарится ночами по берегу, и ему даже невдомек, что сердце от этого остановиться может.

Поддерживал Петро соседа и даже не пытался защищать своего родственника, блуждающего по ночам. Однако заметил, что все равно, хоть и напугаться можно, только уж всяко лучше, чем рыбнадзора встретить. Неугомонный и несговорчивый по характеру дед Горшенин оставался при своем мнении, обещал и Женьку Варгина при случае отругать умеючи, и с рыбнадзорами биться за свою краяху.

— Я им все равно живьем не дам, пойду на крайность, утяну с собой на дно хоть одного, — брызгал слюной крепкий еще старичишка, и знал Петька, что с этого может статься и такое. В прошлом году у берега чуть было не загребла дядю Колю инспекция. Из-под самого носа ускользнул тот от них, прыгнув в лодку. Не ожидали они от старика такой прыткости. Один обошел затон по берегу, поджидая на том берегу, а двое у села. А он остановился посреди затона, встал в лодке навтыжку, как бывалый солдат, и затряс кулаком в сторону берега: «Ну что, поймали? Мелко плаваете!»

Долго не мог уняться старик, он хорошо знал, что не на чем им к нему подплыть. Дело, как он считал, было принципиальным, и потому готов был сырую рыбу есть в своем затворе, а не сдаваться. Садился на седушку, но в ярости своей тут же подскакивал, словно не на доску, а на раскаленную каменку в бане живым местом усаживался, не остывал: «Плывите сюда, я вас рыбкой угощу. Не можете? Ага-а! — кричал он, откровенно злорадствуя. — Видит око, да зуб неймет!»

Они в ответ стали ему грозить, что все равно домой приплывет. Старик отбрехивался сразу от двух берегов, подливал масла в огонь: «В жизни меня никто не ловил, и ты не поймаешь! С каких пор ты хозяином тут стал? Мой дед еще тут рыбу тягал, и тятка, и я. И не было такого, чтобы я у себя дома у кого-то спрашивал рыбы на уху».

За тем противостоянием вся окраина наблюдала, мало кто поддерживал инспекторов, хотя и такие нашлись. Бабки заступались за родного старичишку, перемывали кости молодым охотникам за браконьерами: «Ну, что к старику привязались? Много он там наловил рыбы, шибко государство обтрескал! Вон у кого деньги есть, километрами сети ставят, а этого прижучили, пенсионера. Как не стыдно!» Рыбнадзоры с бабками не связывались, а ершистого старика все же решили выловить. Но в этот раз отвернулось от них рыбнадзорское счастье. Опыт играючи взял верх над молодостью. Вечер был темный, зашумела волна. Полив на уключины водички, чтобы не скрипели весла, старик бесшумно причалил выше по берегу и притащил-таки свой улов домой.

Так жили на побережье два соседа — Петька Кудряшов и дед Горшенин.

В сентябре приехал из города и зашел в гости к Кудряшовым здоровый паренек Володя — зять не зять, одним словом, отец ребеночка. Он так же приехал к родне в гости в прошлом году и схлестнулся с Танюшкой, отчего произошел крепыш Ярик, Ярослав. Когда отец Ярика, пригнувшись под косяком, ввалился в избу — в ноздри ударило рыбным запашищем. Больше так сильно он ничего не запомнил. Вроде как даже чай не предложили выпить новоиспеченному зятю. А может, и предлагали, да он пропустил мимо ушей, ему не до того было — искал повода быстрее выйти на свежий воздух. Что с горожанина возьмешь: один у мамы рос, лелеемое дитя, не то что Танька, дере-

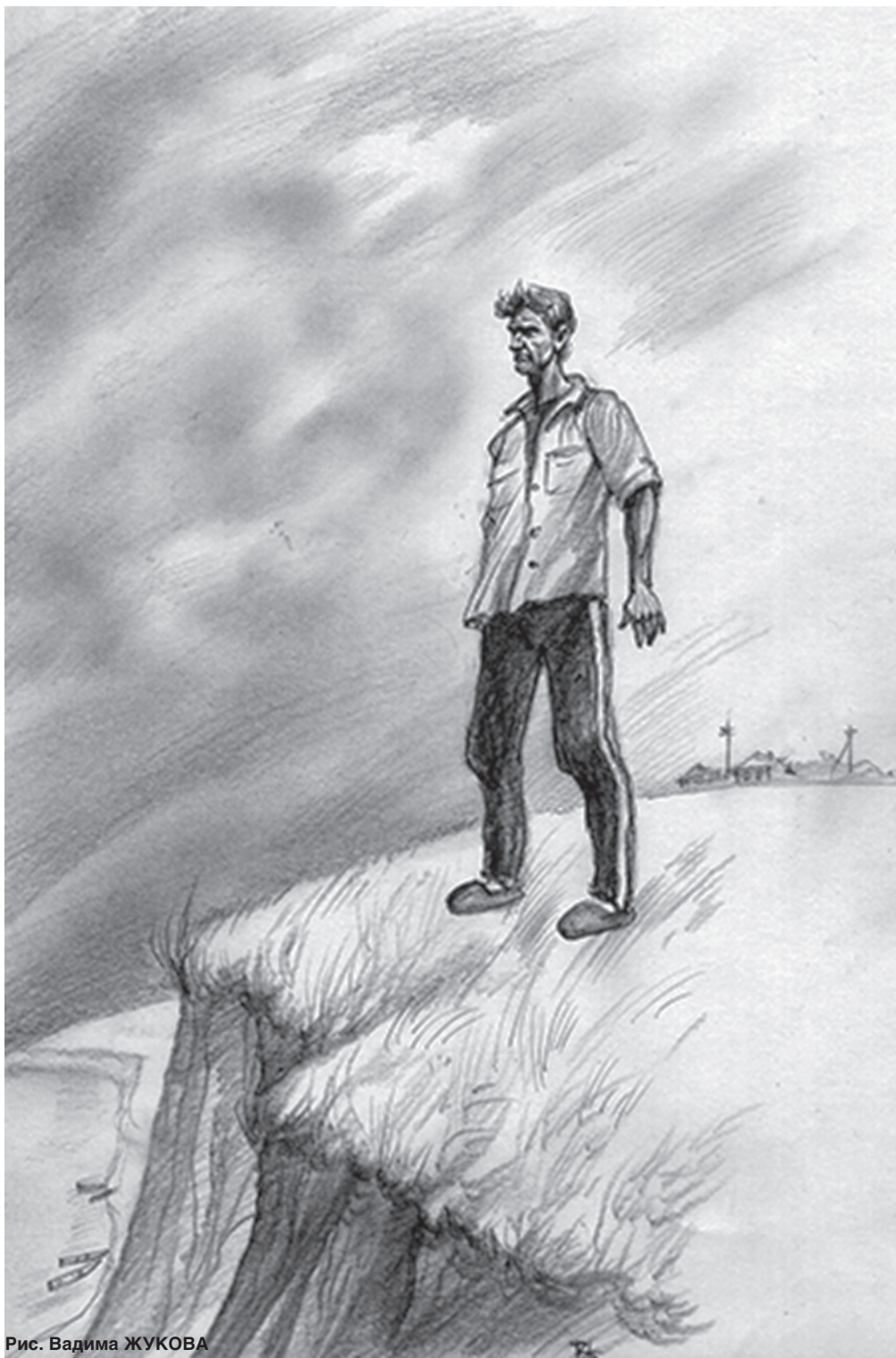


Рис. Вадима ЖУКОВА

венский последышек, четвертая в семье. Танюшка при встрече сунула в руки отцу его дитяtko. Володя усердно рассматривал сына и признавался себе: «Надо же, словно под копирочку вывела сына, весь в меня, не придерешься и не откажешься!» Даже такая малость, как укрупненная шишечка на ухе, была повторена в малыше. Пока он неумело держал сына на руках, Танька по глупому бабьему недомыслию, говоря словами Володи, «стала его лечить» — задавать неуместные вопросы, тон назидательный приняла: «А ты почему жевательную резинку душистую такую жуешь? Думаешь, я не чую, что ты выпимший?» Тут в Вовчике все разом и перевернулось: «Если она, не выйдя замуж, так себя ведет, то что же будет дальше!» Как говорится: не поймала, а ошипала. «Да и как такие серьезные дела решать «невыпимшему», только для храбрости и принял немного», — оправдывал себя паренек. Но на Вовкино счастье Татьяна решила пока в зиму в город не ехать, а как потеплеет — «еще подумает, ехать или не ехать». Лучшего выхода парень и придумать не мог, обрадовался, внутренне возликовал: «Слава тебе, Господи!» Сунул опрудившего его ребенка в руки матери, достал из кармана денег «на первое время» и второпях вывалился из дома. Больше его нога через этот порог не переступала.

Придя к родне, Володя, перебирая в памяти все, что пережил за последние полчаса, делился наболевшим со своим дядькой Евгением Варгиным:

— Ты представляешь, ее отец (он решительно избегал слова «тесть», потому что все акценты у него уже были четко расставлены — никаких женитьб!) предложил мне пожить у них пару месяцев!

— Ну и что? — ехидничал дядька, докучая родному племяннику.

— Как что? А ты был у них дома?

— Был. Дом как дом, — с ухмылкой подначивал родственника Варгин.

— А запах! Крепче только нашатырь бьет в ноздри! Рыбный завод. Крематорий! — Володя сделал паузу, вбирая воздух полными ноздрями. — Я у них в доме уже сунул в рот жвачку, чтобы хоть немного перебить запах, а она мне: «Ты — пьян, поэтому и жвачку жуешь!» Буду я еще перед ней исповедоваться, как перед гаишником, пьян не пьян.

В тот день новоиспеченный отец и он же несостоявшийся, к собственному удовольствию, муж от счастья набрался проклятушей водки и, катая во рту тяжелые слова, трагедийно бормотал:

— Бедный Ярик! Куда же ты попал?! Вот так семейка! Я и сам чуть было не вляпался...

А утром он уехал в город — пора было собираться «на севера», на очередной заезд в Якутию.

Между тем в селе разыгрывалась мелкотравчатая борьба конкурентов с крепким капиталистическим духом. Старик Горшенин после смерти супруги подался в соседнее село и не попал в эти передряги, а вот Кудряшу сполна досталось.

Проверившись как обычно, Петька забирался по крутой тропе к дому и натолкнулся в темноте на возвышающуюся над ним фигуру. Думал, что это опять родственничек, полуночник Женька Варгин, но на этот раз оказался рыбнадзор. Рыбу не забрал, но дал понять, что он здесь старший, а те начальники, которые «причаливают на огонек к Розе, что живет на краю села, не имеют законного права штрафовать никого. Посылайте их!» Петька пообещал, что обязательно «пошлет» незаконных кровопийц, и с тем был отпущен.

Той же ночью окончательно спившийся Яшка Гарденин, давно утерявший свой человеческий облик, за бутылку водки согласился на грязное дело. Худой и сутулый, пригнувшись к земле, он тенью проскользнул по окраине села, похожий на старого волка, спустился по логу Сухой речки, направляясь к лодке Кудряша. Посидев минут двадцать на лодке Петра, к которому он лично не питал никаких злых чувств, Яков опорожнил бутылку, выбросил пустую тару в залив и несколько раз ударил в носовую часть молотком, который еще в селе ему всунула в руки женщина.

Ничего не подозревающий Кудряш на следующий день, как обычно, в сумерках отправился в море. Сначала лодка шла хорошо, а потом стала носом зарываться в воду. Вовремя сообразив, что с лодкой творится что-то неладное, рыбак повернул ее к берегу. Вода между тем поднималась все выше и выше. Сидя по колено в воде, он едва дотянул до берега. Несколько дней Петька со старшим сыном латали дыру. Было ясно, что кто-то сделал это по злобе. Перебирал в памяти односельчан и совершенно не мог зацепиться за что-нибудь путное. От этого на душе становилось горько и совершенно непонятно, за что и кто мог его так наказать.

После ремонта лодки Кудряши плавали на ней еще пару недель. Казалось, что снова все идет по-старому, без перекосов. Только в одну из темных ночей в лог Сухой речки снова спустился Яшка Гарденин. В одной руке он нес бутылку водки, а в другой бутылку с бензином, которым снабдила его женщина. Неяркое зарево осветило в ту ночь затон — горела пластиковая лодка Кудряшовых. Поутру Петька обнаружил огарок своей лодки. Он сел рядом с нею на песок, прикрыл обветренной рукою слезящиеся глаза и негромко надсадно застонал. А через несколько дней и этот оплавок кто-то спихнул в воду, добивая отчаявшегося мужика.

Еще в первый раз, когда пробили лодку, Катерина почувствовала, что этим дело не закончится, и надела на мужа, предложив продать лодку и переехать в районный центр к своей матери. Петька каждый раз уходил от разговора, пока не сожгли лодку. Весь день после этого пожара он пролежал на кровати в каком-то глухом оцепенении. Словно внутрь него плеснули кислоты и выжгли все чувства. Не злился и не двигался, будто он умер. Хотел забыться, но сон не шел. Еды не касался. Заснуть удалось только к утру.

Утром следующего дня жена снова напомнила ему о переезде. Она без его ведома стала собирать свои вещи и написала объявление о продаже дома, вывесив его возле центрального магазина. Ближе к обеду Петька хотел было по старой привычке прогуляться до берега залива, вышел за калитку, но тут же повернул обратно, вспомнив, что там сгорела его лодка.

Пресной на вкус стала Петькина жизнь после того случая. Одна только кровная привязанность крепко держала его на этой земле — внук Ярослав. Надо же было малышу среди всего большого семейства облюбовать своего морщинистого кривоногого деда. Уросил он без Петьки, не ложился спать, пока тот не придет к нему и не станет щекотать внука усами. Кудряш нерасторопно, хриплым своим голосом заводил потешку, которая досталась ему от своего отца:

— Заинька, зайнька,
Где ты был?
— Был я на меленке.
— А что ты там делал?
— А я мучку молол.
— А где та мучка?
— Я калачик испек.
— А где же калачи?
— За окошко помечи.
Приезжали хохочи,
Забирали калачи.

Внук хватался за усы деда, теребил их пухлыми ручонками и заходиллся колокольчиковым смехом. Так, в играх с внуком, Петька забывал о своих проблемах и отвечал взаимным чувством этому крохотному существу. Доходило до того, что, разыгравшись с внуком, он не сразу замечал, как по его обветренной щеке скатывалась щекочущая слеза. Стоя на коленках возле кровати, Кудряш жесткой ладонью вытирал мокрый глаз и хрипло смеялся, не отставая от внука.

Надвигались холода, а дом никто не покупал. Теща уже поджидала семью дочки к себе, купила для нее дом по соседству, приготовила на зиму дров и угля. В конце октября, устроив на прощание обычный скандал, Катерина с детьми и внуком переехала в район, где сразу же устроилась на работу. Петька, который упорно противился переезду и говорил, что он никуда с места не сдвинется, остался в своей избе один. В опустевшем доме стало тихо и безжизненно. Он сразу же стал скучать по любимому внуку, детям, не стало хватать привычного ворчания жены. И Петька ударился в глухую пьянку. Пил, как приговоренный на смерть. Спал в нетопленном доме. Просыпался и снова валился в пропасть. На огонек к нему чаще всех заходил родственничек, полуночник Женька Варгин и другие неприкаянные личности. После недельной глухоты Петька разгонял собутыльников, закрывался на крючок и отлеживался под прожженным окурками одеялом. Одному было еще страшнее. Жутко было Петьке заглядывать в свою измоленную душу, как в пересохший колодец. Пусто было там и темным-темно.

Ровно три дня Кудряш никого к себе не впускал. А на четвертый, придя со двора, забыл запереться на крючок. И тут же в проем по-воровски просочился Варгин, словно поджидал за дверью. Войдя, он увидел следующую картину: пух из вспоротой перины рассыпан по всей кровати и Петька, облепленный с ног до головы этим пухом, утопает в мягкой ее глубине. Острый на язык родственник тут же заметил: «Ба-а, Петька, да ты уже совсем оперился, тебе пора из гнезда вылетать». Молчанием ответил на приветствие Женьки хозяин. Пряча колючую улыбку в усы, многозначительно помалкивая, Варгин сидел на табурете и ожидал, когда Петька с ним заговорит. Все в утреннем госте говорило о том, что он неспроста пришел. Но не дождавшись, выплеснул с болезненным внутренним удовольствием, окатил ледяным: «Катка звонила, сказала, что дом продала. Сказала, чтоб выметался. Назавтра новые хозяева приедут». Умел Варгин перевернуть, напиться ядом чужие слова, крепкие клинья вбивал меж людьми. Такой это был человек. Хорошо помнил он и другие слова, переданные ему по телефону, но притаил их. Совсем забыл Женька сказать о том, что Катерина нашла мужу работу и ждет его, что внук его совсем не хочет засыпать без деда, воюет, требуя его к себе.

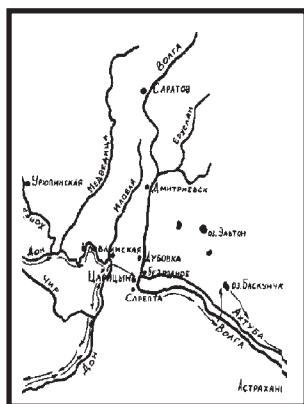
Поднявшись, Петька попросил у Варгина лопату «червей копнуть» (свое добро, в том числе и лопаты, Катерина предусмотрительно увезла с собой). Хотелось напоследок ему сходить на родной бережок, закинуть кармачок по старинке, развеяться, а самое главное — попрощаться со всем, что было близко и дорого его сердцу. Снова смеялся над Петькой Варгин, мол, какие там черви, скоро снег вывалит, но лопату все-таки дал.

В этот солнечный прозрачный день неожиданно оттепело на душе у Петьки: «Слава богу, все к одному концу. Завтра поеду».

В огороде, под старой облетевшей яблоней, разгреб он руками желтую и багряную резную листву, загнал штык подальше от ствола, вывернул ком земли. Еще пару раз поднял и опрокинул давно не видавшую дождя землицу. Запустил в нее руку, напрасно просеяв сухой ворох травяных былок, листвы и песка. Червей в таком месте не могло быть. Напоследок взял ближе к облупившемуся стволу, надавил ногой на штык и почувствовал, что лопата уперлась во что-то твердое. Взял подальше, вывернул песчаную россыпь, запустил граблей раскоряченную пятерню, нащупал предмет. Это была небольшая медная иконка. Она аккуратно легла во всю Петькину растоптанную рабочей ладонь. «Вот так дела!» — выдохнул удивленный Кудряш. Было чему удивляться, ведь он здесь сотню раз проходил с лопатой. В песке икона хорошо сохранилась, стояло только слегка ее протереть.

По яру знакомой крутой тропой спустился Петька Кудряш к морю, омыл икону водой и вытер углом рубахи. Поднявшись к дому, отдал Варгину лопату, похвастал находкой, поделился: «Завтра утром поеду. Внуку увезу! Видать, он меня заждался...»

Владимир ПРОСКУРИН — писатель, публицист, историк-краевед, автор десятков справочно-энциклопедических изданий. Член творческих союзов журналистов и архитекторов. Занимается исследованиями в области истории и охраны памятников архитектуры Средней Азии и Казахстана. В. Проскурин — профессор истории университета «Туран», заслуженный работник культуры Республики Казахстан. В настоящее время живёт и работает в Берлине.



ЭКСПЕДИЦИИ

Среди многочисленных отечественных и зарубежных естествоиспытателей, чьи интересы в той или иной степени связаны с путешествиями по Казахстану и Средней Азии, были личности, представлявшие эти контакты в самом широком аспекте. Среди них, например, этнограф Г.-Ю. Клапрот и поэт В. П. Жуковский, авторы предполагаемого «Проекта Азиатской Академии», в начале XIX века представлявшего будущее России в соприкосновении со многими народами Европы и Азии. Возрастающие цивилизационные российские интересы сочетались с практическими задачами в области образования, науки и просвещения, вплоть до сохранения и умножения восточных библиотек и книжных фондов, переиздания уникальных рукописей, музеефикации археологических городищ.

Тюркская составляющая велика в трудах ученых А. Гумбольдта, А. И. Левшина, А. Шренка, Г. С. Карелина, Г. Бонвало, дипломата П. И. Пашино, в творчестве художников Н. Н. Каразина и В. В. Верещагина, обращавших свои писательские, художнические, книгоиздательские таланты к делу популяризации тюркского мира. К концу XIX века ориенталисты Н. И. Веселовский и С. М. Дудин издали первые художественные альбомы, посвященные охране мусульманских памятников архитектуры Центральной Азии. Были и другие примеры обращения к этому богатейшему историко-культурному наследию.

Аткинсон попал в Копал



Путешественник Томас Аткинсон

Отважному англичанину Томасу Аткинсону семь лет и семь месяцев путешествий по городам и весям Азиатской России и кочевьям Великой степи принесли славу путешественника, сравнимую с подвигами Марко Поло. Он преодолел около 60 тысяч верст (из них 35 тысяч в повозке, 7100 в лодке, 20 300 верхом). Вернувшись на родину, в тиши кабинета своего английского замка Аткинсон сел писать и оформлять книги, посвященные Уралу, Алтаю, Казахстану, Западной Сибири и Дальнему Востоку: «Восток и Западная Сибирь» («*Oriental and Western Siberia*») и «Путешествие по Нижнему и Верхнему Амуру» («*Travels in the regions of the Upper and Lower Amoor*»). В едином призвании и беллетрист, и художник, и книжный иллюстратор, Аткинсон в творческом союзе с издателями Лондона и Нью-Йорка, выбрав лучшие из 560 акварелей, написанных в путях-дорогах, снабдил свои тома роскошными цветными и черно-белыми иллюстрациями, с описанием народов кочевий Среднего и Старшего жуза (группа из трех родоплеменных структур казахского народа), станиц и выселков Сибирского линейного казачьего войска (в ту пору началось освоение верховьев Иртыша и Приилийской долины, строительство крепостей внешних округов Кокпекты, Аягуз, Копал). Среди них — зарисовки картин природы (озера Алаколь и Балхаш, источник Копал-Арасан, водопад Бурханбулак), сцены бытовой жизни и охоты на животных.

Аткинсон сблизился с людьми различных наций, вероисповеданий и слоев общества. Он был на одной ноге с казахскими султанами и царскими чиновниками, дружил с декабристами, географами и писателями, общался с русскими каторжниками и казахами-барымтчами, офицерами и простыми казаками, с нищими дервишами и промышленниками-миллионерами. Словом, его воспоминания и рисунки были первым художественным, этнографическим альбомом и сводом историко-географических памятников о Казахстане времени начального процесса административно-территориальных и политических преобразований Степи, военно-казачьей колонизации края.

В старой Англии Аткинсона называли «настоящий сын Альбиона», «человек-самородок». Рано потеряв родителей, он с шести лет воспитывался у родственников. Учился в деревенской школе. Работал каменщиком, но постоянно занимался самообразованием. Преуспел в искусстве, особенно в написании акварельных пейзажей, литературе — сочинениях и рассказах. Талант художника и чертежника позволил ему к тридцати годам стать преуспевающим архитектором. В 1831 году он издал сборник образцов готического орнамента и построил церковь в Манчестере. В 1844 году в Гамбурге принимал участие в конкурсе на лучший проект перестройки Николаевской церкви, уничтоженной пожаром.

Вариант архитектора Аткинсона успеха не имел, зато он подружился с немецким ученым Александром Гумбольдтом, путешествовавшим по Азиатской России в 1829 году. Великий географ предложил ему посетить Урал и Алтай, легендарное озеро Семиречья Алаколь. Когда-то здесь, по ныне засыпанному песком городам и весям, пролегли купеческие и миссионерские маршруты Великого Шелкового пути. По рассказам ученого, в огромной горной подкове, в которую заключен Алаколь, таятся до поры огромной силы ветры, природа которых мало известна в мире. Между прочим упоминания о свирепствующих здесь ураганах находим в трудах Плано Карпини, путешествовавшего в этих местах в 1245—1247 годах. В эпоху тюркского государства кимаков (IX—XI вв.) на Алаколе бытовал парусный флот. Во время шквального ветра, несущегося по долине реки Эмель, — восточного, по местному Евгей (Эби), и северо-западного Салкын (Сайкан или Сойкан), — стихия поднимает вверх и низвергает на дно озера все встречающееся на ее пути, перемешивая берега друг с другом. Так откладываются на берегу археологические древности — бронзовые казаны, монеты, майоликовые чаши, оружие.

Увлеченный рассказами о Нагорной Азии, Томас Аткинсон решает отправиться в путь. Он подает прошение Российскому императору с просьбой разрешить поездку,



Султан Сюк и его семья

чтобы увидеть величие Степной страны, запечатлеть её живописные просторы в акварелях, рассказать о них в очерках.

В 1847 году Томас Аткинсон совершил поездку в Петербург, Москву и Екатеринбург. В Питере ему довелось бывать в доме графа Н. Н. Муравьева. Впоследствии Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, окажет ему услуги, будучи благоустроителем Амура. В доме графа Муравьева Аткинсон познакомился с Люси, гувернанткой его семьи, и очень скоро сделал ей предложение. В результате молодая жена отправилась с ним в Нагорную Азию в свадебное путешествие не на месяц, а на семь долгих экспедиционных лет. По словам современников, Аткинсон женился на настоящей «амазонке». Она была худощава и мала ростом, владела истинно женским искусством кройки и шитья и могла с помощью иглы и ножниц создать настоящее самобытное рукоделие. При этом она была смелой наездницей, могла передвигаться на верблюде, на лодке или на плоту, не боялась холодной воды, купалась в горной реке, а на бивуаке искусно готовила у костра. Словом, отважно переносила походную жизнь.

В Азии Аткинсоны, вместе с девятью спутниками и 25 казаками конвоя, с транспортом до 50 лошадей, посетили Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Приилийский (Кульджинский) край, Алаколь и Балхаш. Ходили на лодке по Бухтарме, Нарыму, Иртышу; посетили Ридеррские и Зыряновские заводы; города и станицы: Усть-Каменогорск, Барнаул, Зайсан, Кокпекты, Аягуз, Копал; кочевья каратайских казахов; пешком исходили горные долины, совершили восхождения на вершины Джунгарского Алатау и Алтая.

В Семипалатинске Аткинсон встретился с губернатором Западной Сибири П. Д. Горчаковым, в беседах с которым они наметили дальнейший путь через казачьи станицы, только-только возникшие и строящиеся в Семиречье. Горчаков посоветовал иностранцу обратиться к высокому правителю султану Сюку (даты жизни его определяют примерно 1780 — 1855 гг.), последнему сыну хана Абылая, правителю каратайских казахов северной части Средней Орды, родов Джалаир и Шапрашты. В горах Алатау жили его родственники султан Тезек и его сестра Айсары, будущие родственники

Чокана Валиханова. В том самом известном ауле Тезека, где и был «...похоронен Чокан, сын Чингиза, сына Валия, сына Абылая, знаменитого хана Средней Орды и потомка Чингиз-хана...». В своей повести о Чокане «Идущий к вершинам» писатель Сергей Марков отметил знакомство Аткинсона с семьей Сюка: «...под конец своей жизни Чокан — он скончался в весной 1865 года — взял себе в жены сестру султана Тезека, предводителя казахов-атбанов Большой Орды. Отцом Тезека и тестем Чокана был султан Сюк, которого англичанин почему-то именовал «Зукой». Во время пребывания в Копале губернатор Западной Сибири Горчаков сместил старшего султана Большого жуза Камбара, назначив на эту должность Сюка Аблайханова».

В пути английская чета Аткинсон пробралась караванными тропами в сопровождении спутников, конвоя и казахов в живописную долину Биен и верховья реки Кору, посетила водопад Бурхан-булак, воспетый ранее буддистами. Путешественников окружали сыпучие пески и богатые живописные долины и горы, вершины которых прячутся в облаках, и мрачные глубокие ущелья, на дне которых с ревом бегут потоки Семиречья — Лепса, Баскан, Саркан, Аксу, Каратал, Коксу, Или. Кажется, несчетным было число прозрачных речек и ручьев, звонко спешащих по ущельям из самоцветных камней и орошающих страну живительной влагой; примечательным растительный и животный мир — еловые леса на горах и нежные плоды в Приилийской (Кульджинской) долине, медведь — обитатель Джунгарских гор и тигр — в непроходимых камышовых зарослях Балхаша и Алаколя.

20 сентября 1848 года путешественники вышли к Копалу, столице «северных станиц» сибирского казачества, что возникла у подошвы Джунгарского Алатау. Станица только что стала административным центром Пристава Большой Орды казахов, признавших подданство России. Впереди было возведение Верного (ныне Алматы), стольного града «южных станиц» будущего Семиреченского казачьего войска. Начальник Семиречья барон Врангель и казачий офицер Абакумов радушно встретили английских гостей. Аткинсон в своей поярковой шапке, зеленой охотничьей куртке и высоких сапогах играл на вечеринке на флейте, барон вторил на гитаре, офицеры пели русские и английские песни. Больше ничего не скажем в нашем очерке о коменданте Копала, личности достаточно известной. А вот о казачьем офицере и его окружении поведаем намного больше.

Степан Михайлович Абакумов (1815—1865), будущий семипалатинский генерал, был из казаков Сибирского линейного казачьего войска, служил сотником в отряде Тимофея Нюхалова (1836—1851). Они были выпускниками Омского кадетского корпуса, прославились в ратных делах, стали благоустроителями сибирских казачьих поселений Аягуз (1831—1847) и Копал (1848—1850), пикета Карасу (1857). Абакумов впервые посетил и изучил край Семи Рек совместно с естествоиспытателями А. Шренком (1840—1843) и Г. Карелиным (1842), о чем беседовал с путешественником Аткинсоном долгими зимними вечерами или сопровождая англичанина по горным сыртам, перевалам и вершинам Джунгарии.

Зодчество в Копале было скорее кошмовое, нежели деревянное или каменное. Даже не было дома коменданта крепости, казарм и сооружений, не было и православного храма. Томас вдвоем с беременной Люси зимовали в землянке. Тем временем казаки срубили замерзающей семье первую избу. По заказу молодой жены в доме поставили единственные в станице кровать с постелью из войлока, столы и стулья, кресло, то есть обставили богатой в ту пору утварью. Здесь у Аткинсонов 4 ноября 1848 года родился сын, названный по-тюркски Алатау-Тамчибулак. В суровую зиму миссис Аткинсон по совету жен русских казаков спасала младенца, заворачивая его в тесто, как начинку в пирожок, отогревая в русской печке. Пополнение семьи, да и здоровье младенца задержало Аткинсонов в Копале на год, и глава семьи начал изучать горные окрестности, прежде чем отправиться в Алтайский край. Однажды султан Сюк приезжал в Копал, и ему понравилась молодая англичанка Люси. Он предлагал



Водопад Тамчибулак в горах Джунгарского Алатау

Аткинсону солидный выкуп — стадо овец или табун лошадей, дабы взять Люси в жены. А когда получил решительный отказ, обиделся, а позднее стал предъявлять права на новорожденного сына Аткинсона: дескать, тот был вскормлен на молоке и мясе из его каратальского аула.

Алатау-Тамчибулак сохранил воспоминания о своём походном детстве, играх на высокогорном джалау и стоянках в живописной долине. Всюду его встречали как ханского сынка, каждый старался сделать ему подарок. Офицеры и барон Врангель навещали копальское чадо, подарив матери кусок синей шелковой материи, а в придачу чай и сушеные плоды. Люси шила сыну прекрасные наряды из тканей, продаваемых проходящими мимо купеческими караванами. Уже будучи в Сибири Аткинсоны были приглашены на новогодний карнавал. Взвесив все и за и против, решили и ребенка взять на праздник с собой. За два дня до Рождества Люси сшила ему костюм степняка — красные китайские чембары, полосатый бухарский халат. Томас сделал для сына красную шапку-малахай, который мать украсила цветными бусинками и перьями. Словом, опоясали его шарфом, заткнули ему за пояс кнут и в таком виде привезли на новогодний праздник. Когда он вошел в комнату, все страшно взволновались — дети решили, что это механическая кукла...

Аткинсоны не жалели сил и фантазии на развлечение и обучение малыша. В его походном зверинце, среди других подарков, появился маленький олененок, взятый отцом на охоте. Кстати, Аткинсон первым из европейцев описал травлю диких животных пернатым орлом: «Мы ненамного продвинулись, когда увидели пасущееся в степи стадо маленьких антилоп. И снова птица взлетела, поднимаясь кругами, — на сей раз поднимется высоко, подумал я, — и опять беркут упал на свою жертву. Когда мы подросли, антилопа уже была мертва. Беркут не знает промаха — если преследуемое животное не успеет спрятаться между камнями, как иногда получается у лисицы, он сама смерть».

Люси оберегала пойманного олененка, кормила его в загоне и даже шила для пятнистой особы фантастические наряды, украсив малыша голубым ожерельем. Однажды к загону подошла олениха и протяжно позвала своего детеныша на свободу. Аткинсоны сжалились над животным и отпустили быстроногого олененка, оставив ему на память ожерелье. Поступок Аткинсонов, нравы, традиции европейской семьи подвигли местных акынов на создание романтической национальной музыки в их честь, на песнопения под домбру, которые вспоминались и много лет спустя.

Тем временем наступил последний день пребывания Аткинсонов в Семиречье. 24 мая 1849 года семья покинула зимнюю копальскую квартиру. Сотник Степан Абакумов проводил Аткинсонов до местных предгорий Джунгарского Алатау и навсегда попрощался с дружелюбными английскими гостями.

Аткинсон оставил нам описание и изображения последних султанов — потомков хана Аблая, султана Сюка, его семьи и окружения, а также памятников природы Семиречья: Тамчибулак, водопад Джунгарского Алатау, написанный кистью отца, дал турецкое имя его сыну — Тамчибулак-Алатау. Память о путешествии осталась в работе Томаса Аткинсона «Беседа», написанной в 1847 году в станице Копал (фонд Государственного Музея изобразительного искусства имени А. Кастеева Казахстана).

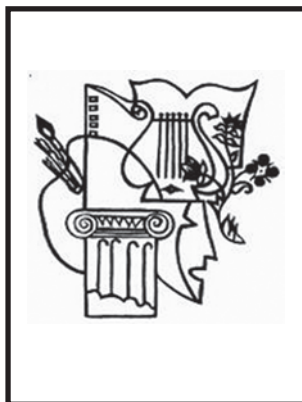
Художественное наследие Аткинсона хранится в Государственном Русском музее и в Красноярском музее имени В. Сурикова, в других музейных собраниях и частных коллекциях. Книги и альбомы его факсимильно изданы на английском, немецком и русском языках, бережно хранятся в книжных фондах библиотек Старого и Нового Света, пользуются спросом в Российской и Баварской государственных библиотеках, университетских библиотеках Калифорнии, Гарварда, Мичигана, в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Оригинальные труды Томаса Аткинсона имеют непреходящую ценность, являются памятниками литературы и искусства, материальной культуры Казахстана.

Владимир ПРОСКУРИН

*Материалы раздела «Русское слово Казахстана»
подготовлены к публикации Виталием Смирновым*

Последний кадр фильма. На экране титры с именами его создателей. Взгляд зрителя привычно выхватывает строки «роли исполняют» и «режиссёр-постановщик». Прочие, как правило, остаются без внимания. Но истинный киноман знает, что фильм только тогда становится явлением в кинематографии и вообще в культуре, когда он снят ярким, интересным, талантливым оператором.

Вспомним «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Солярис», «Я шагаю по Москве», «Не горюй»... И, конечно, «Они сражались за Родину» — фильм, который снимался в наших краях, на берегу Дона ровно сорок лет назад. Оператор всех этих фильмов Вадим ЮСОВ — большой мастер, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, народный артист РСФСР.



ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ



Тайна остаётся

Он пришёл на «Мосфильм» в 1954 году и почти шестьдесят лет не выпускал из рук камеру. Огромный опыт творчества не мешал Вадиму Ивановичу вновь и вновь задаваться одним и тем же вопросом: какова роль оператора на съёмочной площадке? Он должен лишь максимально точно отражать идеи режиссёра или может использовать камеру как собственное «око»?

«Нет, всё-таки место оператора не лидирующее, — считал он. — Все режиссёры разные, каждый живёт в своём мире, и это мы вступаем в его мир, а не наоборот. Но бесспорно, все участники процесса должны быть единомышленниками. И очень ценно, когда режиссёр понимает фильм не только как портретный, актёрский, но и как

изобразительный вид искусства. Мы же не выбираем, что снимать. События фильма для оператора начинают жить не на страницах сценария, как для актёров, а лишь непосредственно на съёмочной площадке.

Камера как техническое средство бесстрашна, но нельзя забывать, что всё снятое потом воспринимается глазами зрителя. Вместе с тем нельзя и чувства выпускать наружу. Я видел режиссёров, которые впадали в восторг на съёмочной площадке. Или как осветители, ассистенты аплодировали игре актёров. Это лишнее. Каждый просто должен заниматься своим делом. Если ты художник по костюмам, смотри, правильно ли одет актёр, так ли работает костюм в мизансцене. Если гримёр — как наложен грим. В общем, там много чисто профессиональных моментов, которые требуют постоянного внимания. У оператора тоже своя задача — постоянно видеть границу кадра, ракурс, поворот актёра, его место в кадре».

Творческая биография Вадима Юсова необычайно богата. Сколько знаменитых режиссёров доверяли именно ему снимать свои творения! Ему довелось работать с выдающимися мастерами: Андреем Тарковским, Львом Кулиджановым, Сергеем Бондарчуком, Георгием Данелия, Иваном Дыховичным... И сказать однозначно, с кем из них было наиболее интересно, он никогда не мог. Кулиджанов удивлял эрудицией. Данелия всегда требовал, чтобы в кадре была некая поэтичность. Например, в фильме «Я шагаю по Москве» он хотел, чтобы оператор показал какие-то тёплые, типично московские пространственные черты. Может быть, как раз ими и запомнился этот фильм-новелла о Москве шестидесятых...

Огромную роль в киношной жизни Вадима Юсова сыграл Андрей Тарковский. При всей своей творческой неординарности этот всемирно известный режиссёр многое отдавал на откуп фантазии оператора. На съёмках «Андрея Рублёва» перед группой стояла задача: продраться сквозь время, показать не просто историческую канву повествования, а именно ту далёкую жизнь без завесы веков, людей с их интересами и заботами, увлечь зрителя реальностью этой эпохи.

Но как это сделать, какими художественными средствами? Находки рождались прямо в процессе съёмок. Например, что такое природа в историческом фильме? Это нечто вечное: меняется жизнь, приходят новые поколения, а она, природа, казалось бы, всё та же. Но не совсем — объектив камеры должен был «увидеть» места, как будто нетронутые, естественные в своей простоте, чтобы зритель поверил: мы возвращаемся на пять веков назад, но всё равно понимаем свою землю и друг друга. Режиссёр и оператор неизбежно сходились в спорах, убеждали один другого, каждый отстаивал своё мнение. И, наконец, находили решение. Как вспоминал Вадим Иванович, «это было безумно, захватывающе интересно».

В картине «Иваново детство» он предложил Тарковскому один режиссёрский ход, которым впоследствии гордился. Там есть такой герой — боец Касатонов, который обещал Ивану перед последним походом «ножичек сделать». Иван ждёт, и зритель ждёт. Так не хочется, чтобы Касатонов погиб, но по сюжету уже ощущается, что героя нет. Это предчувствие беды слишком преждевременно для зрителя. Как сгладить его? И оператор Юсов предложил сцену: вдали появляется фигура бойца, и зритель думает: вот он, Касатоныч! Когда же боец приближается — нет, не он. Но остаётся впечатление, что герой может быть жив, и это словно нивелирует страшное предчувствие.

Вадим Иванович много рассказывал о совместной работе с Тарковским. Что и неудивительно: творческие единомышленники, они впоследствии стали близкими друзьями. Юсов вспоминал: «Как мы встретились? Помню узкий «предбанник» одного из мосфильмовских объединений и вписанного в эту тесноту элегантно одетого молодого человека: серый, холодноватого тона костюм в мелкую клеточку, аккуратно завязанный галстук, стрижка ёжиком... Он был ежистый — свою ранимость защищал подчёркнутой элегантностью, педантичной аккуратностью. Мы встретились, когда Андрей готовился снимать дипломную картину «Каток и скрипка». Я был на три года стар-

ше его, уже окончил институт и успел снять два фильма. То есть я был опытным человеком рядом с Тарковским-студентом. И вот этот студент ищет меня и находит, чтобы предложить сотрудничество. Я согласился снимать этот первый фильм Тарковского и не пожалел. Маленькая и наивная картина дала мне огромную радость — я понял, что можно не просто накручивать на кассеты какое-то изображение, а выражать то, что ты уже сумел понять в этой жизни. После «Иванова детства», «Андрея Рублёва», «Соляриса» это чувство если не полного счастья, то хотя бы надежды на счастье с каждым разом усиливалось».

Насколько кинооператор может полагаться на своё воображение? Имеет ли он право на свой, особый почерк, на свою манеру художественного повествования? Вадим Юсов часто задавался этим вопросом и сам себе отвечал на него утвердительно. Конечно, взгляд оператора на события фильма тоже может представлять интерес. Но это не самоцель. Оператор должен органично вписываться в творческий тандем на съёмочной площадке, предлагать свои идеи.

Он часто приводил такой пример: «В каждом фильме приходится снимать природу. Трудно представить себе что-нибудь более совершенное и богатое в своей первозданности. Как же снять? Кажется, что ни придумаешь, всё это уже было в жизни, причём куда ярче и богаче. Любой световой эффект есть в природе. Вот первый снег, который часто возникает в нашем воображении или в сновидениях. В фильме «Иваново детство» мы должны были предложить зрителю что-то такое, что в литературном произведении обычно читается между строк. Тогда по предложению Тарковского и Кончаловского в фильм были введены сны Ивана. Зритель как бы читал между строк — вот жизнь одна и жизнь другая. И поскольку я сны вижу, то, наверное, и моя фантазия отчасти запечатлелась в этих кадрах. Так что именно воображение иной раз является основным в творческом поиске.

В том же фильме была и такая ситуация. Я снял этаким вальс берёз. То есть в реальности камера «вальсирует» среди деревьев, а в фильме получается, что опьянённая счастьем героиня танцует на фоне качающихся ветвей.

Помню, на просмотр картины приехала министр культуры Екатерина Фурцева. Из создателей фильма присутствовали Тарковский, Богомолов и я. Богомолов не растерялся, сделал ей галантный комплимент. Она посмотрела фильм, обратила внимание на эту сцену и спросила: «Вадим, я не понимаю, зачем Сергей Павлович это снял?» То есть она решила, что эта находка принадлежит Урусевскому, самому знаменитому тогда оператору. Я не стал разубеждать Фурцеву, авторитет Урусевского сработал, эпизод остался в фильме. А я оказался вроде бы и ни при чём».

Считается, что многих известных актёров, и особенно актрис, в значительной степени «сделали» операторы. Найти тот ракурс, который поможет подчеркнуть внешние данные актрисы и выразительность её игры, — тоже искусство. Перед камерой Юсова прошло много интересных мастеров сцены.

Сам он считал, что более требовательны к работе оператора иностранцы: «Например, мне пришлось снимать швейцарскую актрису Урсулу Андресс, причём по сценарию снимать её нужно было обнажённой. У неё была безупречная фигура, и мне удалось это подчеркнуть. А ещё был интересный случай, когда снимали теперь уже забытую картину «Тревожная ночь». Главную роль играла Елена Кузьмина, жена Михаила Ромма. Мне, молодому оператору, нужно было снять её так, чтобы на экране она смотрелась естественно, соответствовала возрасту героини. Отснятый материал пришёл смотреть сам Михаил Ильич. И вот он сидит в первом ряду, придирчиво всматривается. Наконец встал, замечаний не последовало. А для меня это был настоящий экзамен. Сейчас другое дело — много светотехнических средств, есть высокочувствительная плёнка».

Любой фильм, как считал Вадим Юсов, нужно оценивать как кинематографическое произведение. Вспомним, например, «Войну и мир» Бондарчука. Лев Толстой писал,



На съемках фильма «Они сражались за Родину»



что у каждого из миллиона читателей рождается своё собственное видение истории. Но когда эта история оживает на экране, благодаря режиссёру, оператору и игре актёров, рождается миллион первый взгляд.

«Другой сценарий, — вспоминал он, — может быть, лишь история в двух словах. И как бы ярко она ни была подана, я вижу: работа оператора здесь выше, чем предлагаемый материал. Человек с камерой решает свою задачу лучше сценариста, режиссёра, актёров. Но только этим вытянуть картину до приличного уровня, к сожалению, невозможно. То есть в целом этот фильм не состоялся. Но бывает и наоборот. Вспомним фильм «Неотправленное письмо» Калатозова и Урусевского. Он построен в основном на изображении. А какие актёры играют — Самойлова, Ливанов, Урбанский! Вот один эпизод. Двое, мужчина и женщина, копают яму, ищут алмазы. Урбанский работает ломом, его лицо в тени, и оператор снимает крупным планом только его плечо. Плечо лоснится от пота, вздрагивает. Оператор высвечивает героиню. И не надо больше ни слов, ничего — всё и так понятно. Удары лома перекликаются с ударами сердца, и лом замирает... Я не думаю, что это снято случайно, это осмыслено драматургически».

Удивительно, с особым почтением отзывался Вадим Юсов о режиссёре фильма «Они сражались за Родину» Сергее Бондарчуке: «Он был человеком с потрясающим чувством собственного достоинства. Я видел, как с ним разговаривали директора предприятий, секретари обкомов. Он никогда ни перед кем не суетился, даже если что-то просил. Это они разговаривали с ним как с начальником».

К 30-летию Победы было принято решение поставить масштабное кинополотно о Великой Отечественной войне. Ответ на вопрос, какому режиссёру доверить это важное государственное дело, был очевиден: конечно, создателю «Войны и мира» и «Ватерлоо» Сергею Бондарчуку. Оператора тоже долго не выбирали: им стал уже известный своими работами в кино Вадим Юсов. Именно на съёмках этого фильма и сложились их творческий тандем.

В основу сценария лёг незаконченный роман Михаила Шолохова. Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду измотанные и обескровленные батальоны советских войск ведут тяжёлые оборонительные бои, несут огромные потери. Они вынуждены отступать. А впереди Волга... Какова она, истинная цена будущей победы? Об этом должны знать сегодняшнее и грядущие поколения зрителей — примерно так представлялась основная задача создателям картины..

Именно писатель, придерживаясь принципа, что «в фильме всё должно быть правдиво до боли», настоял на проведении съёмок в тех местах, где разворачиваются события его произведения. Так было выбрано Придонье, территория нынешнего Клетского района Волгоградской области, хутор Мелологовский. Действительно, здесь всё — осколки снарядов, поросшие травой окопы, забытые холмики скороспешных военных могил — сохраняло героический дух, который словно витал над пространством бывших боёв.

Вадим Юсов вспоминал: «Мы рыли окопы на полную глубину и находили человеческие кости. Их было очень много. Мы вынимали эти кости и отдавали на перезахоронение. Земля там вся начинена остатками мин, которые постоянно находили сапёры. Помню, в газетах писали, что на съёмках чуть не пострадал оператор. Это действительно было так. Однажды во время перерыва я обнаружил, что прилёг отдохнуть рядом с неразорвавшейся миной. Её тут же откопали сапёры и отвезли подальше, чтобы обезвредить».

Первый кадр фильма — крупным планом растрескавшаяся земля, выжженный ковыль. Угадано точно: именно эти природные детали более всего ассоциируются с подавленным настроением вынужденных отступать бойцов. И ноги солдат в истоптанных, прошедших многие мили войны сапогах. Обзор с единственным пулемётом уныло тянется за горизонт. Это ещё тот период войны, когда войска рейха сильны и уверенно

наступают. Война катится к Волге, и кажется, нет конца этим армадам фашистских танков.

Действие фильма происходит возле «затерявшегося в беспредельной донской степи хуторка». Вопрошающие глаза хуторских баб и смущённые лица отступающих бойцов: что ответить им? Кажется, именно крупный план — излюбленный приём оператора в этом фильме. Вот Стрельцов, этакий носитель философии войны и мира, в исполнении Вячеслава Тихонова. Его герой говорит зрителю гораздо больше, чем содержат его скупые реплики. Он говорит глазами, в которых и боль, и тревога, и лишь где-то чуть-чуть — сомнение.

Вспоминается и крупный план Глаши — Лидии Федосеевой. Смеётся казачка над споткнувшимся незадачливым ухажёром Лопахиным, но в глазах её — неизбывная тоска: скоро придётся покидать хутор, прятаться в задонских лесах.

Непродолжительные мирные моменты так хрупки, и вот уже батальону приказано занять оборону. На заднем плане — уходящая «мирная» натура: белобрысый хуторской мальчик, провожающий бойцов, да стайка ничего не подозревающих гусей.

Ещё несколько мгновений — и разгорится бой. Наступающие гитлеровские танки и прикрываемая ими пехота. И вновь крупный план: Стрельцов кладёт наизготовку оружие, поправляет гимнастёрку, удобнее умащивается в окопе — в этом и решимость принять бой, и готовность к смерти. В тот момент не задумываешься, где оператор, где камера, как идёт съёмка. Видишь одно: вокруг тебя — война, война, война...

Бойцы рвутся в атаку, и лишь раненый Стрельцов остаётся в окопе. В его глазах — всепонимающее небо и тонкий серпик месяца. Огнём объята степь, на её фоне — тонкие обожжённые колоски неубранной ржи. А где-то за кадром — голос из патефона, из далёкой мирной казачьей действительности. Наступают фашистские танки, а на переднем плане — сухие кусты репейника. Сравнение символично: чем ещё выразить зло, несущееся от фашистской брони. А сцена, когда Лопахин из автомата сбивает немецкий самолёт. Уж как они приятны взору, эти клубы чёрного дыма от вражеского самолёта. Оператор понимает ощущения героев, и камера, словно нарочно, задерживается близ взрыва, снимает вновь и вновь этот смачный, клубящийся фашистский дым. Эти детали, находки режиссёра и оператора, красноречиво подчёркивают настроение и смысл происходящего.

Атака гитлеровцев отбита. Из окопов показываются головы оставшихся в живых, а сколько их товарищей остаются лежать неподвижно! Камера оператора устремляет «око» ввысь: над степью кружит орлан — то ли скорбь о погибших, то ли злой рок...

Съёмки проходили летом и осенью 1974 года. Творческая группа жила на теплоходе, пришвартованном на берегу Дона. Его как некую плавучую гостиницу «Мосфильм» арендовал у Ростовского пароходства. Может быть, не все знают, что для воспроизведения военной обстановки, разрывов бомб и снарядов пиротехники израсходовали пять тонн тротила. Многие взрывы приходилось снимать со значительного расстояния, чтобы не пострадали оператор и актёры.

Интересно, что даже при жёсткой цензуре советских времён из фильма не было вырезано ни одного эпизода. Лента, вышедшая на экраны в мае 1975 года, особенно впечатлила фронтовиков — многие непосредственные участники военных событий отмечали её реалистичность и даже документальность.

В 1976 году на XX Международном кинофестивале в Карловых Варах фильм был удостоен премии Союза антифашистских борцов Чехословакии. А в 1977 году режиссёр Сергей Бондарчук и оператор Вадим Юсов стали лауреатами Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

От войны — к миру, любви, обычным бытовым радостям, от реальности — к сказке, романтической легенде. Различные стили повествования, национальный колорит, условия съёмки, требования режиссёра заставляют оператора перестраиваться. Иной раз нужен просто крутой поворот.

В Таджикистане случилось Вадиму Юсову снимать балет «Лейли и Меджнун». Это история Ромео и Джульетты, только по мотивам Низами, Фирдоуси, классиков восточной литературы. Он всегда с восторгом относился к людям другого типажного свойства, к удивительной цветущей природе. Но одного личного отношения мало, нужно понять культуру Востока как совершенно новую, уникальную среду. Нужно изучать колорит, знакомиться с искусством вплоть до того, какой цвет предпочтительнее в кадре.

Вадим Иванович вспоминал: «Невозможно забыть работу на Кавказе. В Грузии мы с Данелия делали картину «Не горюй!». Автор француз, Клод Телье. Но материал переработан на грузинский мотив, и надо было этот колорит отыскать и включить в кадр.

Ещё бывал в Осетии, Дагестане, Чечне. Помню Кубачи — высокогорное село. Там в некоторых домах сохранились знаменитые ультрамариновые стены, тарелки на этих стенах и афоризмы на очагах. Расул Гамзатов писал целые поэмы из этих изречений. Для того чтобы «понять тему», мы ходили в музеи, рассматривали предметы национального быта. Они бережно хранят всё это, и сразу понимаешь, что теперешние кавказские проблемы на самом деле очень давние. Конечно, весь этот национальный колорит, все тонкости — это часть общечеловеческой культуры. Оператору важно понять это, и тогда он сможет снять убедительно, не оставит зрителя равнодушным».

Искусство стремится быть понятым. И всё же произведение кинематографии тем привлекательнее, чем более в нём удаётся сохранить отзвук некой тайны. Именно в кино, как считал оператор Юсов, ещё очень много сокрытых возможностей. Порой необъяснимых: «На съёмках «Андрея Рублёва» мы нашли такой ход. Снимаем кадры набега татар. Изображение на экране даётся замедленно, чтобы подчеркнуть ошеломлённый взгляд князя-предателя, который привёл врага на родную землю. Перед съёмкой вижу, Тарковский несёт откуда-то... гусей. Зачем, почему, мы ни о чём таком не договаривались. И ведь я знаю, что эта домашняя птица не полетит, только создаст в кадре сумятицу. Но спорить на площадке не стал. Снимаю, а Андрей бросает этих гусей перед камерой. И что мы увидели на экране? Получилось, что гуси падают — замедленно падают! — и поражают неловкостью и беспомощностью. Такой трогательный, щемящий образ! Но ни сам Тарковский, ни кто другой не мог объяснить, как его нашли. Поэтому тайна всегда остаётся».

Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ



ПРОЗА

Анатолий ЕГИН

Ополченец

Венька Крашенин лежал в «корыте» плоской крыши многоэтажки на окраине Славянска и мысленно проклинал проектировщиков и прочих причастных к созданию таких крыш, где летом температура доходит до шестидесяти градусов. Однако, замаскированный под рулон кровельного материала, он терпеливо, не шевелясь, ждал украинский вертолёт, иногда успокаивая себя: обзор-то какой хороший, всё небо как на ладони, такого с шатровой крыши не увидишь. Пот стекал на шею и мокрую спину, но он не смел даже моргнуть. Единственный раз сделал движение правой рукой, чтобы прикрыть корпус раскалившегося на солнце переносного зенитно-ракетного комплекса.

Вчера Венька был в разведке. Ополченцы из его батальона засекли, что на одном из блокпостов, контролируемых украинскими силовиками, вертолёт высадил дюжину накачанных и до зубов вооружённых парней в хорошей униформе. Что нужно спецназовцам на этом стратегически не очень важном блокпосту, пока было непонятно.

— Сгоняешь, послушаешь и назад. Да смотри без шуток! — приказал Крашенину комбат, которого все по-свойски называли Дым Дымычем.

— Конечно, товарищ полковник.

Вениамин в разведку всегда собирался не спеша. Оставил всё лишнее, взял запасной рожок для автомата, несколько гранат для подствольника, поправил форму, перевязал ботинки, попрыгал, покувыркался и незаметно исчез из расположения батальона. Тихо, как учил его отец на охоте, пробрался к самому брустверу блокпоста и замер — он умел замирать так, что дыхание и пульс становились реже.

Часа два слушал пустую болтовню украинских гвардейцев. Их мова напомнила Веньке Кокшаровку, его родное дальневосточное село, которое спряталось в долине Уссури между сопок хребта Сихотэ-Алинь. Крашенины были старообядами, предки Вениамина ещё в шестидесятых годах семнадцатого века бежали из-под Нижнего Новгорода на восток, не желая принимать никоновских реформ в православии, и постепенно пересекли всю Сибирь, из поколения в поколение ища лучшей доли и земли. Наконец к началу двадцатого века добрались до Приморья, где и стали первыми поселенцами в деревне, названной в честь землемера Кокшарова. Годом позже эти места наводнили переселяемые по столыпинским планам жители Черниговской губернии, и село заговорило и запело по-украински.

Старобрядцы, или, как их называли в народе, староверы жили обособленно, закрывали свои большие двухэтажные дома на запоры, не подпускали посторонних к своим колодцам и домашней утвари, опасаясь какого-либо вредительства.

Предки Вениамина были охотниками и мастерство своё передавали от отца к сыну. Венька уже в десять лет мог бесшумно сидеть на дереве у водоёма в ожидании косуль. Потом метким выстрелом укладывал одну из них и тащил домой. По осени вылавливал из притоков Уссури до сотни икрёных самок кеты.

Семья жила натуральным хозяйством, даже одежду и обувь шили сами. «Магазинное» брали лишь для детей в школу. Вениамин родился в конце шестидесятых, но родители его всё продолжали сеять, мять и трепать лён — ткали половики и полотно на простыни да рубахи.

Воспоминания Крашенина прервал шум винтов «вертушки», которая плавно опускалась рядом с блокпостом с противоположной стороны. Бойцы нацгвардии зашевелились.

— Генерал! — сказал лейтенант.

— Какой генерал?

— Какой, какой? Наш генерал Близнюк.

При упоминании этой фамилии у Веньки пересохло во рту.

— Неужели он, сержант Близнюк?

Вениамин весь превратился в слух.

«Эх, ещё б вполглаза глянуть на него», — подумал он.

По суете внутри блокпоста он понял, что гвардейцы построились, и тут же прозвучал до боли знакомый голос:

— Здорово, придурки и бездари.

— Здравия желаем, товарищ генерал! Слава Украине!

— Героям слава, — нехотя ответил Близнюк. — Вы что, идиоты, заставляете генерала пасти вас? Я же пообещал премьеру притащить живого или мёртвого этого подлеца Дым Дымыча. Сутки тут хреном груши околачиваете и всё без толку.

— Товарищ генерал, — начал оправдываться командир гвардейцев. — Мы всю ночь пытались как-то приблизиться к базе сепаратистов, но не смогли — охрана слышит любой шорох, вон Сердюку руку зацепило.

— Не Сердюк он, а пердюк! Нечего ему было делать в спецназе. Ещё Чапаев говорил: «Ранен — значит дурак». Хоть и москаль Чапай был, но командир неплохой. Значит так: сегодня ночью сам посмотрю, где можно пролезть к этим недочеловекам. А не сможем, завтра утром перелетим в другое место. Я там ходы-выходы знаю. Сейчас всем отдыхать.

В этот самый момент, понимая, что все взгляды сейчас устремлены к генералу, Венька, ориентируясь на голос, резко выпрыгнул вверх, на долю секунды поднявшись над бруствером, и увидел знакомую фигуру, облачённую в генеральскую форму. Да, это был он, заклятый «друг» Крашенина бывший сержант Близнюк.

Вениамин затих: минута, две, три — реакции никакой, значит, не заметили. Пора уходить. Он тихо скатился в придорожный кювет, незаметно прополз к посадке и через полчаса стоял перед своим командиром и другом, которому был обязан жизнью.

— По вашу душу прибыли сюда хлопцы-спецназовцы, самого Дым Дымыча в плен мечтают взять. А знаете, кто руководит операцией? Сам «генерал-сержант» Близнюк.

— Да ты что, Вениамин Осипович? Сколько же лет вы не виделись?

— С того самого восемьдесят восьмого и не виделись. Я тогда и представить себе не мог, что нам предстоит воевать друг против друга. Но теперь этого бандеровца не упущу. Думаю, в эту ночь они при всём желании к нам не пролезут, а с утра я с ПЗРК подкараулю вертолёт, который за ними прилетит.

— Хм, — усмехнулся Дым Дымыч. — Гляди, генералом стал твой сержант. А с вертушкой ты хорошо придумал, как в сказке может получиться — одним ударом семейных. Ты уж постарайся, чтобы получилось.

— Ох, как буду стараться, Дмитрий Иванович!

— Ладно, пойдёшь выспись хорошенько и никому ни гу-гу. Понял?

Спал Крашенин или не спал в ту ночь, он так и не понял. Снились ли ему события детства и юности или он просто перебирал их в памяти...

Вот Веня подросток: копна льняных волос ладно спускается на лоб, уши и шею, бирюзовые глаза светятся чистотой, к мышцам прибывает сила, он лёгок в движениях, как уссурийский тигр. Что для одних горка, для Венчика — пригорочек. Что для кого-то бурная река, для молодца речка, и перемахнуть её можно в три шага, место только правильно выбрать нужно. Словом, в здоровом теле здоровый дух, все помыслы устремлены на созидание. Жизнь! Жизнь юная, беззаботная. Эх, если бы так всегда...

Но вот, как говаривал отец, пришла пора Вениамину становиться на крыло. На семейном совете решили отправить отрока в железнодорожный техникум в Уссурийск. Пусть выучится на механика, а то и на машиниста, поколесит по стране, увидит новые станции, города. Веня обрадовался — он и сам мечтал посмотреть мир. Учился с интересом, любил познавать новое. А вот в городскую жизнь вписался не сразу. Хотя и небольшой Уссурийск, но всё же город, и народец живёт там разный. Поначалу «шестёрки» из небольшой хулиганской шайки выманивали у него деньги под предлогом займа и, конечно, не отдавали. Тогда Веня тряхнул одного и тем же вечером был жестоко избит местной шпаной. Поколотил другого — опять крепко побили. Вот тогда начал думать: вычислил главаря — сволочного шибздика, макнул головой в бочку с водой и уверенно сказал:

— Ещё раз твои пацаны ко мне прикоснутся, утоплю, как щенка!

Главарь глянул в глаза Крашенина — они выражали такую решимость, что сомнений не осталось: вправду утопит. С тех пор Вениамина стали обходить стороной, прозвали «бешеным».

Жизнь шла. Веня влюбился в однокурсницу Лиду, бегали на танцы и даже целовались. Но всё это оказалось детством по сравнению с тем, что произошло во время летних каникул. Крашенин решил подзаработать и записался в отряд проводников. Летом их всегда не хватало, вот ребята и отправлялись в рейсы в паре с опытными проводницами. У Венки была наставницей Нина — шустрая, стройная, лет тридцати пяти. «Наставлять так наставлять, обучать — так всему» — решила она и уже во второй поездке соблазнила Венку. Он воспринял их отношения всерьёз, Нина не выходила из головы, он страдал. Но для неё это был лишь эпизод, и однажды она сказала ему без обиняков:

— Молод ты ещё, Венчик, а я уже на этом свете видела много, и детей у меня двое. Зачем мы тебе нужны? Найдёшь себе молодую. Действуй.

Но действовать Крашенин не стал, замкнулся в себе, обиделся на весь женский род, досадуя, какой он простофиля. Месяца через три горечь в груди улеглась, наш молодец занялся спортом. Упорно тренировался, бегал, прыгал, качал мускулатуру, в результате стал чемпионом Приморского края в беге на пять километров.

Закончив техникум, Вениамин поехал домой. Но расслабиться не успел — под самый конец весеннего призыва забрали в армию. В Чугуевском военкомате капитан спросил:

— В сержантскую школу не хочешь, Крашенин? Всё-таки диплом механика имеешь.

— А что, пойдёшь, пожалуй. Только отправьте меня куда-нибудь на запад, хочется посмотреть, как там люди живут.

— Можно и на запад, — ответил капитан, — только, как люди живут, будешь смотреть из-за забора части.

И поехал Веня в общевоинскую «учебку», в карпатские леса. Привезли их, новобранцев из Сибири и с Дальнего Востока, переодели, распределили по взводам. Началась служба. Только кому служить? Выяснилось вскоре.

В первую же ночь новоявленных курсантов разбудили, велели обуть сапоги и построиться, как были, в трусах и майках. Перед строем в кресле развалился босоногий старший сержант Близнюк, по бокам сидели ещё двое с лычками на погонах.

— Так, салаги. Те, кто служит уже три дня, научите вновь прибывших присяге.

Новичкам зачитали текст: «Я салага, бритый гусь, я торжественно клянусь сало, масло не рубать, а сержантам отдавать! Служу советскому народу, старшине и помкомвзводу!» И добавили главное:

— А помощник командира взвода — старший сержант Близнюк.

— Так что мне служить будете! Ясно вам? — Близнюк оскалился блестящей фиксой и заржал. — Ну, а теперь хором, всем учебным взводом выдайте присягу. Три, четыре...

Взвод вразнобой начал «присягать». Близнюк рассердился:

— А ну-ка, набрали воздуха — и три, четыре!

Во второй раз получилось лучше, но всё равно не то. На четвёртый старший сержант заметил, что во второй шеренге один широкоплечий солдатик молчит...

— А ну-ка, выйти из строя! — скомандовал Близнюк.

Вениамин согласно уставу вышел из строя.

— Ты что, занюханный хлопчик, мовчишь? Или язык сглонул?

Тот продолжал молчать.

— Отвечать, кацап вшивый, когда с тобой помкомвзвода говорит! — вскочил с кресла Близнюк.

— Да не нравится мне всё это, вот и молчу. Нам спать положено.

— Ах, ему не нравится! Ты, скотина безрогая, в армии или где? Сержант, преподай урок салажонку.

Тот медленно поднялся со стула, подошёл к новобранцу и резко ударил его кулаком в грудь. Венька покачнулся и молниеносно ответил ногой по мошонке — уроки уссурийской шпаны не прошли даром. Сержант заскулил, схватившись за больное место. Лицо Близнюка побледнело.

— А ну, салаги, всем отбой, кроме этого уroda.

Крашенина били несколько сержантов. Венька тоже оставил кое у кого хорошие отметины, но ему ввалили здорово, лицо не трогали, но всё тело было в кровоподтёках.

— Хватит, — скомандовал Близнюк, — а то забудём насмерть, нам этого перед дембелем никак делать не можно. А ты, падаль, — прошипел он, склонившись к Венькиному уху, — ещё не раз испытаешь наш бандеровский кулак, отольются вам слёзы наших матерей по убитым чекистами отцам и дедам. Иди, сучонок, спи, тебе же спать положено... А я пока прикину, что с тобой завтра делать.

Вениамин умылся и еле дошёл до койки, ночь не спал, каждое движение вызывало боль.

Утром была зарядка, уборка, завтрак, потом учебные часы. Все вели себя как ни в чём не бывало. Крашенин не стонал и виду старался не подавать. Последнее занятие было по оказанию первой медицинской помощи во время учений и боевых действий. Проводил его старший лейтенант медицинской службы Белоусов. Он сразу заметил, как Венька сидит, как поворачивается, встаёт. Вопросов не задавал. После занятий скомандовал:

— Все свободны, кроме рядового Крашенина, он поможет мне доставить учебные пособия в медпункт.

Вышли. Доктор шёл не спеша, понимая, что рядовой быстро идти не может.

— Вы откуда, рядовой?

— Приморский край, Чугуевский район.

— Смотри-ка, земляк! Я родился в Уссурийске, отец мой там служил.

— А я в Уссурийске железнодорожный техникум закончил, — обрадовался Венька.

Пришли в медпункт, старший лейтенант пригласил Крашенина в свой кабинет и приказал раздеться.

— Да-а, такого я давно не видел. Думаю, не сдался ты на «милость» сержантов. Я тебя дня на три-четыре положу в лазарет, анализы сделаем кое-какие, отлежишься, боли поутихнут. Как фамилия твоего помкомвзвода?

Вениамин молчал.

— Зря молчишь, Крашенин. Для меня нет ничего проще узнать его фамилию. Я, наоборот, не хочу лишний шум поднимать, разберусь по-своему. Понял?

— Старший сержант Близнюк.

Уложили Вениамина в лазарет, дали обезболивающие. Анализы показали, что есть разрывы на почках.

«Значит, ногами били, подлецы», — возмущённо подумал доктор Белоусов.

На следующее утро вызвал к себе Близнюка.

— Скажите, сержант, вам сколько до демобилизации осталось?

— Три с половиной месяца, товарищ старший лейтенант.

— Так вот, Близнюк, если я ещё хотя бы раз увижу на теле Крашенина царапину, не говоря уже о синяках, тебя демобилизуют 31 декабря в двадцать три часа сорок пять минут! А может, и через год из дисбата. Усвоил? Свободен.

Близнюк плыл к казарме на волне ненависти ко всем москалям. «Ну, ничего, это мы ещё посмотрим, кто кого! Придумаем какую-нибудь казнь этому салаге — без синяков, но с позором».

Венька отлежал пять дней, боли ушли, синяки стали бледно-жёлтыми и почти незаметными. Его отправили в роту. На прощанье доктор Белоусов посоветовал:

— Ты, Крашенин, не будь прямолинейным и не торопись. Иногда ради победы можно чем-то и пожертвовать, а потом, всё обдумав, пойти в наступление и победить. А то, что ты не жалуешься, это по-мужски.

В первую же ночь после отбоя солдат разбудили, приказали построиться. Близнюк восседал в кресле.

— Рядовой Крашенин, выйти из строя! Вот эта гнида кацапская решила угрожать нам, сержантам, на которых держится вся наша могучая Советская Армия. Мы не позволим тебе, Крашенин, разрушать основу нашей военной машины! Мы научим тебя дисциплине! Ты поймёшь, что такое беспрекословное подчинение старшим по званию! И потому назначаю тебя, рядовой, главным санитаром моей задницы. Первый показательный сеанс сегодня, сейчас же. Взвод, направо! На выход шагом марш!

Место «гражданской казни» Вениамина выбрали между могучих дубов, которые росли у высокого забора войсковой части. Крашенина душила ненависть, она чуть не выплеснулась в ответные действия, однако молодой солдат вовремя вспомнил наставления доктора Белоусова «а ты стерпи, потом подумай, как победить». И стерпел...

Ночь прошла без сна. Товарищи по взводу молча сторонились Крашенина, боясь гнева Близнюка. А Вениамин думал и думал, перебирая в голове варианты. На следующую ночь был снова показательный сеанс для сержантов, те откровенно смеялись. Днём Крашенин сбежал в медпункт и раздобыл верёвку.

В очередной раз после отбоя сержант пинком разбудил Веньку и скомандовал:

— Подъём, москалёк! Пора помкомвзводу мыть...

Крашенин, опустив голову, плёлся за Близнюком. На экзекуцию шли вдвоём, старший сержант был уверен в том, что салага уже сломлен.

Вениамин с отвращением ждал окончания «спектакля». И вдруг неожиданно хватил Близнюка лопатой по затылку, тот потерял сознание и сел в своё дерьмо. Солдат ловко скрутил ему руки и ноги, в рот запихал кляп из нестираной портянки, верёвку перекинул через большой дубовый сук и подтянул, повесив сержанта вниз головой.

Не быть бы Близнюку генералом, а Веньке — долго сидеть в тюрьме, если бы на рассвете разводящий караула не заметил висящего на дереве сержанта. Врачам пришлось очень постараться, чтобы привести его в чувство. Крашенина арестовали сразу после завтрака. Три дня сидел он в карцере.

Командир части лично возглавил расследование сего вопиющего случая так называемых неуставных отношений и строго приказал:

— Огласке происшествие не предавать! Часть не позорить!

Что руководило им в тот момент — то ли действительно честь учебной части, то ли какие другие обстоятельства... Решение было принято: молодого солдата Крашенина перевести в войсковую часть, выполняющую интернациональный долг в Афганистане, — «пусть там душманов за ноги вешает».

Старшего сержанта Близнюка уговорили шум не поднимать, а потом рекомендовали в Киевское высшее общевойсковое командное училище. Тем и закончилось: Близнюк поехал за офицерскими погонами, а Венька — за душманской пулей.

Жизнь всегда всё решает по-своему, и никогда не бывает худа без добра. В Афгане попал Крашенин в роту капитана Дымова Дмитрия Ивановича, которого бойцы в глаза и за глаза величали Дым Дымычем. На войне у солдат и командиров отношения совсем другие, чем в службе учебной, там без доброты и доверия нельзя. Дым Дымыч ел и отдыхал с солдатами, пацанов не оскорблял, а главное — под пули по-глупому не гонял.

Венька поначалу кланялся каждому свисту и шороху, потом пообвык, присмотрелся и понял, что на войне, как на охоте, только ещё лучше маскироваться надо и быть более внимательным. Бывалый охотник пристрелял свой «калаш» и работал почти без промаха.

Командир обратил особое внимание на Крашенина, когда однажды рота получила задание окопаться на горке высотой метров в триста. Сделать это нужно было очень быстро. Но наши ребята, в отличие от душманов, на горы поднимались медленно. Правда, как заметил ротный, один рядовой взлетел на вершину не хуже любого афганца, неся на себе, помимо боекомплекта, пулемёт и несколько коробок с патронами. Пока рота поднималась, этот ловкач уже окопался, и вскоре раздался одиночный выстрел его автомата.

— Что за боец? — спросил Дымов.

— Это Крашенин из первого взвода.

— Не понял?

— Ну, тот самый, что сержанта в «учебке» подвесил.

— В гору бежал ловко, а вот зачем выстрелом себя демаскировал, не понимаю. Заканчивайте окапываться, а я пойду посмотрю, что это за Крашенин.

Командир шёл почти в полный рост. Венька быстро сообразил и замахал ему рукой: ложись! Тот только прыгнул на землю, как над ним просвистела пуля снайпера. В ту же секунду Крашенин выстрелил ещё раз.

— Вставайте, товарищ капитан, теперь можно, я их обоих положил.

Капитан прыгнул в окопчик.

— Кого обоих? Ты думаешь, это были снайперы?

— Вы сами посмотрите в бинокль, — Вениамин показал командиру направление.

Капитан рассматривал внимательно, оценивая всё.

— Да ты герой, парень! Из «калаша» двух снайперов положить — это надо уметь.

Ты где так стрелять научился?

— Охотник я, с Дальнего Востока. Но снайперы эти хреновенькие были: не знаю, как стреляли, а маскироваться совсем не умели, вот и получили своё.

— Ну, спасибо тебе, сержант Крашенин! Жизнь мне спас.

— Я не сержант.

— Уже сержант, ещё и к медали тебя представлю: два снайпера — это не шутка.

Вот так и служили. Отдыхать было некогда, ухо держали остро, спали мало, а воевали часто.

Война шла к концу. Согласно Женевским соглашениям в середине ноября 1988 года начался завершающий этап вывода советских войск из Афганистана. Большими колоннами части перемещались к границам СССР. Но противник не дремал и грамотно организовывал нападения.

Полк, в котором служил сержант Крашенин, имел непростую задачу — сопровождать уходящие из Афгана войска. Подразделения полка двигались параллельным дорогом курсом, прикрывая своих. Бои большие и малые возникали довольно часто, ибо душманам уж очень хотелось напоследок побольше насолить русским.

Дым Дымыч знал, что там, где горы близко подходят к дороге, образуя некое «горлышко», будет засада. Рота быстро выбила два десятка солдат противника и окопалась сама. Колонна двинулась дальше, но не успела она преодолеть и половину узкого ущелья, как на роту Дымова началась массированная атака. Бой был жестокий, многих ранило. Но вот вышли на простор, командир распорядился отходить, спускаться вниз.

Крашенин и ещё четверо во главе с капитаном прикрывали отход. Венька выкатился из окопа, и в этот момент левое плечо прошила пуля — рука повисла, боль застила глаза. Друзья оттащили Вениамина в сторону, перевязали. Дым Дымыч приказал:

— Катись, Веня, вниз, кубарем катись, иначе возьмут нас! Всё! Уходим, ребята.

Зимний ярко-красный закат окрасил небо и горы, лёгкий морозец щипал щёки, острые камни били по всему телу, но Венька катился и катился вниз, инерция тащила его к подножью. Пришёл в себя в расселине горы, лежал едва живой и, казалось, забытый всеми. Но командир своих не бросал. Он отправил роту в расположение части, а сам один, в полной темноте, ощупывая камни в месте предполагаемого спуска, искал раненого бойца. Наконец нашёл и пять километров нёс его до медпункта.

Очнулся Венька уже в лазарете дивизии: большая кровопотеря, болевой шок, сложный перелом плеча.

— Кто же меня доставил к врачам?

— Капитан Дымов. Он тебя нашёл, на горбу приволок, — ответил старшина роты.

— Век не забуду, — прошептал Венька.

Раненых отправляли самолётом в госпиталь. Уже перед самым взлётом прибежал командир, каждому пожал руку, поблагодарил за службу. Около Крашенина задержался:

— Не отчаивайся, Вениамин Осипович. Молодой, поправишься. Мы ещё с тобой повоюем!

Тот моргнул в знак согласия, а сам подумал: «Нет, уже не повоюем, эта война заканчивается, а следующей на нашем веку, надеюсь, не будет».

Летел наш герой в Москву, в госпиталь Бурденко. На второй день сделали операцию, соединили все осколки костей, как им положено быть, пронизали раненую руку спицами наперекрест, снаружи кольца укрепили штанги с болтами, которые постоянно подкручивались. Вот с этой конструкцией и проходил Крашенин до самого лета. «Колдовал» над ним начальник отделения полковник медицинской службы Николенко Владимир Кузьмич — врач от бога, к тому же слывший эрудитом. Нередко можно было видеть, как в свободные минуты дежурства читал он толстые современные журналы, архивные и исторические.

Как-то во время перевязки Вениамин спросил:

— Товарищ полковник, не могли бы подсказать, где можно почитать о Галиции, о бандеровцах? В госпитальной библиотеке таких книг нет.

— А что это ты вдруг озадачился бандеровцами?

— Да так, — смутился Венька, — жизнь сводила с одним из них, и впечатления остались не самые лучшие.

— Хорошо, что интересуешься историей. Кто хочет понять, что происходит в жизни сейчас, должен знать события прошлого.

Через неделю Владимир Кузьмич пригласил Крашенина к себе в кабинет и указал на стопку журналов, книжек, газетных вырезок:

— Это тебе на двадцать дней.

Раньше Крашенин не слишком любил читать, злился, когда много задавали на лето по школьной программе. Но тут другое дело — уж очень хотелось понять, откуда происходила эта неизбывная ненависть к русским у Близнюка и ему подобных.

Венька узнал, что украинская земля испокон века была славянской и называли её землёй белых хорватов, что в 1141 году город Галич стал её столицей. А ещё через столетие властителем этих мест стал князь Даниил Галицкий, сын Романа Мстиславича, то есть потомок великого Владимира Мономаха. Храбрым и разумным был Даниил, не зря в 1240 году сел на княжеский стол в Киеве, уважали его за любовь к Русской земле. Был он и среди русских князей, принявших первый бой с монголо-татарами на реке Калке в 1223 году, чудом избежал плена.

Зимой 1240/41 года дружина князя была бита Батыем, Киев сожгли, и Даниил отступил на запад, укрепившись в Галиче. Несколькими годами позже князь понял, что Бату-хан, однажды сходя к последнему морю, вряд ли вновь отправится в столь дальний поход. Съездив на поклон в Орду на Нижнюю Волгу, он ещё раз убедился в этом: «Нет, в одиночку трудно, пожалуй, разумнее перейти в союзники к литовским князьям, польским королям да австрийским герцогам». А тут и Папа Римский Иннокентий IV подоспел с советами:

— Пропадёшь без нас, все русские князья под татарами сидят. Давай укрепим союз, будешь под защитой. Одно условие: веру надо поменять, отказаться от православия.

Задумался Даниил, крепко задумался, непросто всё. Конечно, в таком союзе безопасней и надёжней. Но как народу объяснишь, что веру менять нужно? За два с половиной столетия вера православная выросла в корни русского народа, в его дух. Одним махом в католичество не перейдёшь. Папские легаты придумали внедрить в Галицию нечто среднее — греко-католическую веру, которую позже на Руси назовут униатской.

В январе 1254 года Даниил принял от Папы Римского титул короля Руси. Сын Даниила Лев, в честь которого был назван город Львов, женился на дочери венгерского короля Белы IV, а уже их сын Роман — на наследнице австрийского престола. И пошло-поехало...

В 1340 — 1349 годах Казимир III включил Галицию в состав Польши, позже она вошла в состав Австрийской империи. Первая мировая война 1914—1918 годов вновь перераспределила мир, Галиция опять оказалась в Польше, которая выпала из состава Российской Империи, разрушенной революцией.

Добавим к прочитанному Венькой, что в 20-30-х годах двадцатого столетия в Галиции начал расти украинский национализм, в 1929 году была создана так называемая ОУН — организация украинских националистов. Одним из активных участников этого движения был сын греко-католического священника Степан Бандера. В 1932 году он прошёл курс обучения в немецкой разведшколе и начал активно заниматься подрывной деятельностью. Под руководством Бандеры было осуществлено около десятка террористических актов, в том числе покушения на советского консула во Львове и министра внутренних дел Польши. Бандера был арестован при попытке перейти польско-чешскую границу, а 13 января 1936 года приговорён к смертной казни. Но позже приговор был пересмотрен, террориста определили на пожизненное заключение в Брестскую крепость. В 1939 году Германия без труда оккупировала Польшу, администрация тюрьмы сбежала, и Степан Бандера со своими поделчиками оказался на свободе.

Тайно поселившись во Львове, Бандера писал трактаты по идеологии украинского национализма и создавал специальные батальоны по борьбе с большевизмом на Украине. Но главное — готовил «Акт о возрождении Украинского государства». Несмотря на то, что в 1940 году советские войска полностью завоевали Западную Украину, националисты работали. Бандера знал, что скоро Германия пойдёт войной на СССР, надеялся, что фашисты помогут Галиции вернуть территории. Силы ему придавало ещё и то, что недовольство советской властью в Тернопольской, Львовской, Станиславской и Дрогобычской областях росло. Была упразднена частная собственность, началась зачистка западных областей от «неблагонадёжного элемента», более ста тысяч человек были выселены в Сибирь и казахские степи. Значительно активизировалось подполье ОУН, созданное Бандерой, оно приносило немало вреда Советам.

Грянула Великая Отечественная война, Львов был взят немецкой армией уже 30 июня 1941 года. Вот тогда-то Бандера и вышел на трибуну, чтобы провозгласить «Акт возрождения независимого Украинского государства». Но Гитлеру это не понравилось, это просто не вписывалось в концепцию мирового господства Третьего рейха. Бандеру вызвали в Берлин и арестовали. В концлагере Заксенхаузен он сидел до 1944 года, пока снова не понадобился для подрывной работы на Украине.

В Галиции немцев встречали радостно, как освободителей. Но победный исход войны с Советским Союзом, на который рассчитывали фашисты, как известно, не состоялся. Пришло время, когда война повернула вспять, на Запад. В 1943 году из местных националистов была сформирована дивизия СС «Галичина». Добровольцев в дивизию записалось с избытком, аж 80 тысяч, потому был сформирован ещё и 204-й батальон полиции и СД, который проводил карательные операции против мирного населения на территории Украины и Белоруссии, активно боролся с партизанами.

После победы над фашизмом ОУН ещё долго и активно действовала, нанося вред народному хозяйству, убивая активистов советской власти, врачей, учителей, агрономов, инженеров. Десятки тысяч семей западных украинцев выселялись из родных мест за содействие организации украинских националистов, деятельность которой управлялась и финансировалась Бандерой из Германии. Утихли они лишь к 1952 году, а через несколько лет в Мюнхене был ликвидирован и сам Степан Бандера.

...Отложив очередной прочитанный журнал, Крашенин задумался: «А ведь живы ещё те старики, которые, затаив злобу на советскую власть, воспитали в детях своих и внуках ненависть к русским «оккупантам». Близнюк, скорее всего, из такой западенской семьи. Тайный враг советской власти, он, подлец, так красиво говорил о нашей доблестной Советской Армии. Но можно ли оправдать его жгучую ненависть, желание мстить всем подряд?...»

Прошло две недели. На утреннем обходе Николенко сообщил новость:

— Сегодня у тебя праздник, Вениамин Осипович. Начальник госпиталя будет награждать военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Готовься, тебе будут вручать орден Красной Звезды.

Мероприятие было обставлено торжественно. Тех, кто не мог сам ходить, доставили в зал на каталках. Вручали четыре ордена Красной Звезды и шесть медалей «За отвагу». Вениамин был счастлив и даже произнёс слова благодарности в адрес командира Дмитрия Ивановича Дымова и тех ребят, с которыми довелось преодолеть нелёгкие афганские дороги...

Пятнадцатого февраля Крашенин не отходил от телевизора, смотрел репортажи о выводе советских войск из Афганистана, видел до боли знакомые лица. К его радости, мелькнул на экране сидящий на БТРе Дымов в майорских погонах.

— Да это ж наши мужики последними идут через мост, мои боевые братья! — радовался Вениамин.

Но ещё больше радости было через несколько дней, когда неожиданно в коридоре отделения его окликнул строгий командирский голос:

— Сержант Крашенин! Ко мне шагом марш!

Он обернулся и от неожиданности чуть не сел. Перед ним стояли майор Дымов и старшина роты прапорщик Алексеев. Обнялись, не сдерживая слёз.

— Вот, Вениамин Осипович, прибыли мы в Москву получать награды. — Дмитрий Иванович показал красующийся на груди орден Красного Знамени. — Обмыли немного и сразу сюда. Рады видеть тебя на ногах. Скоро ли здоров будешь?

— Доктора говорят, что в апреле-мае аппарат снимут, а вот что будет после этого с рукой... Так что, похоже, я своё отслужил. А вы как? Куда теперь?

— А мы за своим командармом генералом Грозовым, в Киевский военный округ. Мне там и до моего родного Славянска рукой подать.

Напоследок Дым Дымыч сказал своё коронное:

— Не дрейфь, Венька, мы ещё повоюем.

— Да войны бы больше не надо, командир, а встречаться будем в мирное время.

— Увидимся, мой друг, обязательно увидимся. Я верю.

Аппарат Крашенину сняли в конце мая. Доктора сами были довольны своей работой, срослось всё для такого сложного случая идеально. Теперь дело за локтевым суставом, который требовал долгой и настойчивой разработки. Сержанта комиссовали, выдали проездные документы домой. Так что в самый разгар лета Венька открыл двери родного дома. Мать не могла прийти в себя от радости, отец её корил:

— Полно плакать, успокойся, не нянькайся с его рукой, благодари бога, что живым домой вернулся. А рука... рука разрабатается. Вот отдохнёт малость, отдышится — и на работу. Работа, мать, от всего лечит, сама знаешь. Ты, сынок, где работать-то думаешь?

— Думаю в леспромхоз пойти. Специальность механика есть. Если с тепловозом научили разбираться, с трактором разберусь.

— И то правда!

Вениамин бездельничать не любил, а тут вынужденно полгода просидел без дела! Работники в леспромхозе были нужны, но, прочитав медицинские документы, начальник отправил Крашенина на медкомиссию в районную поликлинику. Местный хирург посмотрел на снимки, внимательно изучил выписки из истории болезни и заключил:

— Вам, мой хороший, не на работу, а на ВТЭК нужно, инвалидность хотя бы на годок получить.

— Нет! Мне инвалидность не нужна, я на печке лежать не умею. Мне на работу надо, руку разрабатывать.

— А я говорю — на ВТЭК!

— А я говорю — на работу!

Они ещё долго бы препирались, но первым сдался доктор:

— Чудак-человек! Ладно, напишу, что ты ограниченно годен для работы механиком. Ну не могу написать, что здоров. Не дай бог что случится!

— Хорошо, доктор, напишите хотя бы так, но через год с уверенностью напишете, что здоров.

Работал Вениамин азартно, забывал про больную руку, правда, иной раз она напоминала о себе, так что приходилось обращаться к врачам.

Как-то вечером зашёл Крашенин в сельский медпункт, поздоровался.

— Здравствуй, Веня! На что жалуешься?

Венька сообразил: это же Надюха Бочарникова с Лесной улицы, вместе в школе учились. Эка девица стала!

— Привет, Надя! Присесть-то можно?

— Да, да, садись. Рассказывай, на что жалуешься?

— Ну что ты заладила! На себя жалуюсь. Вот с рукой раненой никак справиться не могу.

— Нужен массаж, и ещё что-нибудь придумаю, у докторов в районе проконсультируюсь.

Начались их ежевечерние встречи. Надежда делала массаж любовно, движение её рук, дыхание, иногда вроде случайное прикосновение вызывали в нём волны эмоций. Чем дальше, тем больше их тянуло друг к другу, и через полгода Надя стала Крашениной, а Венька прыгал, как молодой тигр, не вспоминая о своём ранении. Родители совместными усилиями поставили им новый дом. Надежда носила под сердцем первенца. Живи и радуйся. Ан нет!

В декабре 1991 года прекратил существование Советский Союз, весной 1992 года растащили леспромхоз, распался он на несколько частных контор, которые бесконтрольно вели вырубку леса. Местное население встало на защиту тайги и рек, Вениамин Крашенин, разумеется, был не последним в этой борьбе. Нужно было трудиться, кормить семью. Его отец и два брата работали государственными охотоведами и еге-

рями, дело знали и вели по закону. Пришлось похлопотать Осипу Федоровичу, чтобы устроить Веньку егерем. Вновь избранный глава района Тарасов, тоже бывший афганец, поддержал. Боевое братство!

Венька работал с удовольствием — завееется с утра в тайгу на весь день, за плечом карабин СКС, впереди сопки да распадки, бесчисленные ручьи, бегущие к реке Фудзин. Новоиспечённый егерь изучил свой участок, как собственную ладонь, пересчитал зверя, определил, что здесь место обитания амурской тигрицы, которую он ласково окрестил Кошечкой. Вместе с отцом и братьями Георгием и Михаилом они обустраивали кормушки, завозили корма, соль.

Года через два беспредел дошёл и до Кокшаровских таёжных земель. Появились незванные охотники на больших японских джипах, вооружённые нарезными стволами с оптическим прицелом, приборами ночного видения. Ездили где хотели, стреляли все, что попадалось на глаза. Братья пытались ловить браконьеров, но куда там дряхлому «уазику» против джипов!

Как-то в январе девяносто пятого Вениамин объезжал на лыжах свой участок. Вдруг услышал отдалённые выстрелы и поспешил в ту сторону. Видит, четверо с хорошими собаками гонят зверя. Посмотрел по следам — всё стало ясно: ранили в лапу тигрицу и преследуют, дураки. Раненый зверь всегда опасен, а тигр — тем более. Что делать? Здесь, как на войне, соображать надо быстро. Венька поспешил к джипу, пробил ножом все четыре колеса, в одно ещё и выстрелил. Сигнализация заорала и эхом понеслась по распадку. Браконьеры прекратили преследование и бросились к дорогой машине. Венька этого и добивался, остался поджидать преступников неподалёку.

— Какая падла это сделала? Где ты, сволочь? Выходи! — заорал хозяин машины.

Крашенин молчал. Через час браконьеры поняли, что транспорта у них нет, а пешком по тайге они ходить не умели, да и не знали, куда идти. Солнце уже спряталось за сопки, вот-вот начнётся долгая зимняя ночь. Паника в стане горе-охотников усиливалась.

— Ну что, господа, может, сложите оружие? — Вениамин тут же перекатился под другой огромный кедр.

В ответ раздалась очередь из «калашникова».

— Выходи, сука, и если выведешь нас, мы тебя, может, и оставим в живых.

Венька молчал. «Гости» отчаянно дискутировали, видимо, собирались его ловить.

— Раз так, господа, тогда спокойной вам ночи! — Вениамин опять перекатился под другое дерево.

Браконьеры пытались натравить на него собаку, но хорошая лайка на человека не пошла. Крашенин встал на лыжи и удалился восвояси, слыша позади стрельбу.

На рассвете все три брата отправились в тайгу. Михаил пошёл посмотреть, что делают горемыки, а Георгий и Вениамин двинулись по следам тигрицы, чтобы определить, далеко ли она ушла. Километров через пять поняли, что уже никто её не достанет. Вернулись.

— Ну как тут наши «бракуши»?

— Сейчас поутихли, но когда я приехал, бранились, чуть друг друга не поубивали. Спорили, идти ли по своим следам или ждать того гада, который им машину повредил. Похоже, они от глубокого похмелья отходят.

— Давай проверим, только нужно окружить их.

Братья неслышно разошлись.

— С добрым утром, братва! — громко поздоровался Вениамин.

— А, это ты, сучонок? — Мордоворот поднялся и направил ствол в сторону голоса.

Венька целился недолго, шапка моментально слетела с головы браконьера, тот механически пустил короткую очередь в сторону егеря.

— Еще хоть одна пуля, и я стрельну чуть ниже твоей шапки.

До мордоворота дошло, он молча опустил оружие и пошёл за шапкой. Не успел наклониться, как её пронизала пуля с противоположной стороны, и Михаил извещал:

— Вы окружены!

Браконьеры вскочили и сбились в кучу.

— Значит так, господа нарушители закона, всё оружие, в том числе и холодное, все боеприпасы сложить в джип и бегом по распадку налево пятьсот метров. Если кто-нибудь что-то утаит, погибнет при попытке к бегству.

Браконьеры переглянулись и четко выполнили команду. Крашенины их надёжно связали и бросили в свой старенький бортовой УАЗ. На прощание Вениамин напутствовал:

— Мы вас не видели и не знаем, машину вы потеряли неизвестно где, нас вы тоже не видели. Но если у вас появятся какие-то претензии, пуль ваших я из стволов деревьев наковырял достаточно, оружие, зарегистрированное на вас, мы надёжно сохраним. Браты мои, подбросьте их до села Уборка, а там, куда хотят, туда пусть и катятся.

Оставшись один, Вениамин замаскировал машину и отправился за тигрицей. Похоже, лапу ей повредили серьёзно, нескоро начнёт сама охотиться, а зимой без мяса и околеть можно. По кровавому следу прошёл егерь километров десять, подстрелил кабаргу, выпустил как можно больше крови — так зверь быстрее добычу почует. Вернулся немного назад, залез на дерево и стал наблюдать в бинокль. Тигрица пришла через час на трех лапах, левую переднюю держала на весу, всё обнюхала и принялась трапезничать.

«Вот так-то, — размышлял Венька, — по ранению мы с ней брат и сестра. Но я-то уже здоровый, вот и буду её тут кормить раз в три дня».

История с браконьерами не прошла для Крашенинных даром. В мае на них открыли настоящую охоту. Первым обстреляли отца Осипа Фёдоровича. Он промолчал, думал — пустяки. Через несколько дней Михаил еле ушёл от нападавших. Собрали семейный совет, прочесали все участки, но никого не нашли, заметили только следы стоянок, их было две и в разных местах. Значит, мстители действовали с подъезда и в разное время, чтобы произвести эффект неожиданности.

— Ладно, — подытожил отец, — будем ловить на живца. Переговорное устройство у нас есть, каждый будет работать на своём участке, а в случае чего подоспеем на подмогу.

Случай представился через неделю, опять атаковали Мишу. Полчаса он водил нападавших по тайге, пока не подоспели отец и братья. Одного мстителя ранили в ногу, незванные гости отступили, увозя с собой раненого. Крашенины жили спокойно всё лето и начало осени, уже стали забывать о мстителях, не брали с собой переговорные устройства — одним словом, бдительность была утрачена. В самой середине сентября Венька пошёл поглядеть, в каких местах лучше собрать лимонник на зиму. Шёл вольготно, напевая, как вдруг над ухом просвистела пуля. Реакция солдата, побывавшего не в одном бою, была молниеносной, он упал на землю, прополз и спрятался за замшелый камень, взвёл карабин: никого. Присмотрел получше укрытие, прыгнул, автоматная очередь не успела за ним на долю секунды.

— Профессионально работают, сволочи. Ну что ж, повоюем, как говаривал Дым Дымыч, — подбодрил себя Вениамин. Замаскировался. Зрение и слух обострились, и по редким шорохам и хрусту веток он понял, что его окружают. Сделал выстрел в ответ на хруст, в свою сторону получил два и с разных сторон.

— Да, неважные ваши дела, Вениамин Осипович. Вам бы гранату — и на прорыв. Но гранаты нет. А коли нет, до обрыва две перебежки, а там под горку кубарем, как в Афгане.

Венька сделал первую перебежку — стреляли уже с трёх или четырёх направлений. Он притих, приготовился ко второй перебежке, как вдруг услышал душераздирающий крик. Всё внимание нападавших сосредоточилось на этом крике, Венька, воспользовавшись моментом, рванул напрямую и исчез в зарослях дикого винограда. Он видел, как сбегались хорошо вооружённые люди, как докладывали старшему, что какого-то Калёного задрал тигр.

— Какой к чёрту тигр? Тигр от выстрелов бежит.

— Ну я сам видел! — утверждал шустрый остроносый парень. — Пойдём, посмотрим.

Калёный лежал лицом вниз с разодранной шеей в луже крови. Перевернули — страшная картина.

— Да... — протянул старший.

В это время раздался грозный тигриный рык, он эхом оттолкнулся от сопок и вернулся на место трагедии, вызывая оторопь у людей.

— Мотаем отсюда, ребята, эти гады и тигров приручили.

— А может, завалим тигра, пацаны?

— Иди завали, а мы посмотрим. Тигра можно завалить, когда мы на него охотимся, а когда он на нас начал, всех по одному положит. Мотаем. Хрен с ними, с деньгами, в другом месте заработаем. Забирайте Калёного, похороним.

Венька вышел из укрытия через полчаса, когда всё улеглось, и пошёл домой не обычной дорогой, а чаще, убедившись, что погони нет.

— Где ты, моя Кошечка? Спасибо тебе! Спасибо!

Тигрица вышла к нему, когда он добрался почти до опушки, посмотрела, вильнула хвостом и скрылась в тайге.

— Почти до дома проводила, спасительница моя.

Так и жил Вениамин Осипович. Наденька родила ему сына Петра, потом дочку Наташку и младшего Василия. Дети учились хорошо, отца с матерью почитали. Пацаны стремились за отцом в тайгу, и он их брал с собой, учил охоте. Но чаще Венька любил бродить по тайге один. Казалось, все звери знали своего егеря, не шарахались от него. Тигрица Кошечка родила и выходила трёх тигрят, те выросли, а их мать нередко провозжала Вениамина в его походах.

Тайга кормила и поила людей. Зверя отстреливали только по лицензиям, кабана и косули было множество, белки, зайца, куницы в достатке. А сколько кедровых орехов да лимонника, дикого винограда, кишмиша! А земляники, жимолости, грибов! Осенью в притоки Уссури заходило много красной рыбы, в речках и озёрах было изобилие рыбы частиковых и хищных пород. Крашенины строго стояли на страже этого богатства, для людей ничего не жалели, но и хамства не допускали.

Минул 2010 год. Сын Петр учился в Институте охраны окружающей среды Дальневосточного государственного университета, Наталья пошла по стопам матери, заканчивала медицинский колледж в Уссурийске, Вася ещё ходил в школу. Вениамин много читал, в Чугуевской районной библиотеке заказывал тематические подборки книг, больше по истории. Но в последнее время затосковал мужик, чего-то ему не хватало. А чего — и сам понять не мог. Собрались с Надеждой да отправились в турпоездку по Японии отвлечься малость.

И тут в очередной раз забурила Украина. Венька не пропускал ни одного выпуска новостей: майдан, побег Януковича... Понял — будет жарко. В одном из репортажей из Донецка увидел Крашенин рядом с народным губернатором Донецкой республики своего Дым Дымыча.

«Нет, Дмитрий Иванович там неспроста, — сразу понял Вениамин, — такие безголовы в дела не ввязываются. Не отдадут шахтёры свои земли Майдану, точно не отдадут, но и бандеровцы от лакомого куска просто не откажутся — значит, войны не миновать. А тут ещё мы Крым у американцев из-под носа увели. Теперь Луганск и Донецк законно хотят свободы и самостоятельности. Значит, точно война...»

Вениамин Осипович начал собираться. Надежда заголосила:

— Не пуцу! Зачем тебе это?..

— Надя, милая, если бы не Дмитрий Иванович, меня бы давно не было на этом свете. А теперь ему туго. Думаю, там бойцы опытные нужны, а я в тайге отсиживаться буду.

Крашенин уговорил начальство дать ему отпуск, а участок его братья прикроют. Собрался, двуперстно перекрестился перед иконой Спасителя и в начале апреля уже

был на центральной площади Донецка. Поговорил с людьми, побывал у ополченцев, те и подсказали, что Дым Дымыч в Славянске.

— Только не пустят тебя к нему, на него давно украинские силовики охоту ведут.

— Ничего, я ему только на глаза покажусь, и всё будет в полном порядке.

Но в Славянске всё было действительно непросто. Крашенина приняли за лазутчика, связали, надели темную шапку на голову и бросили в подвал. Следователя он просил:

— Ну скажите вы Дмитрию Ивановичу, что Крашенина арестовали, да покажите меня ему.

Показали Вениамина только через два дня.

— Ты уж извини, брат Венька, что так вышло. — Дым Дымыч обнял его. — Ты как здесь оказался? Что делаешь?

— Хочу делать то, что и вы, товарищ полковник.

— Похвально, сержант. А стрелять-то не разучился?

— Никак нет. Мне в тайге не только по зверю приходилось стрелять...

— Видать, неплохо отстреливался, раз жив и здоров.

— Как учили.

Полковник приказал зачислить Крашенина в разведроту, поставить на довольствие. Вечером пригласил Вениамина к себе поговорить.

Крашенинзнакомился с ополченцами теперь уже своего батальона. Ребята сплошь бывалые, моложе него, но многие прошли Чечню, где Дым Дымыч командовал полком. Бойцы в батальоне в основном местные — открытые, дружелюбные, с настроением на победу.

Вечером Вениамин был гостем командира. Вспомнили Афганистан, своих ребят.

— Ты что не пьёшь, Венчик?

— Да я к этому не приучен. У нас, староверов, это не запрещено, но и не принято. Если понемногу, для компании...

— А я приучен. Слишком много войн на мою жизнь пришлось, вот и очередная началась. Дураки народы, их политики сводят, а они кровь льют. Да и как не лить, если Ярош и Порубий только и мечтают Днепр перейти и все промышленные регионы захватить — иначе им, западенцам, на одном хлебе да картошке не прожить. Новороссию хотят в Украину превратить. Не бывать бандеровцам в Новороссии!

— Так Новороссия входит в состав Украины.

— Эх, ты Венька, Венька — Кокшаровка-деревенька. Новороссию искусственно втолкнули в Украину ещё на заре советской власти. Тогда же все западные области принадлежали Польше, частично Венгрии, а что осталось на Украине? Киев, Чернигов, Полтава и их аграрные окрестности. Большевики в экономике кое-что соображали и отдали хохлам на прокорм Новороссию с её промышленностью и портами. Только в этом случае и можно было сформировать бюджет республики и развивать сельское хозяйство.

— Наверное, правильно поступили, — перебил Крашенин Дмитрия Ивановича.

— По тем временам, может, и правильно. Но история — наука важная, она говорит, что не бывает вечных империй и государств. Тогда никто об этом не думал, а Хрущёв ещё и Крым сюда добавил, за который в конце восемнадцатого века русская кровь лилась. А ты знаешь, что такое Новороссия?

— Да как-то не задумывался прежде...

— Так вот, друг мой, ещё в начале восемнадцатого века земли эти были мало населены. Слишком часто ходили здесь крымские татары, по дороге жгли и грабили всех и вся. Активное строительство и заселение укреплённых городков здесь началось в шестидесятых годах того же века, после Переяславской Рады, когда Украина попросилась под крыло России. В 1764 году была создана Новороссийская губерния, лет через двадцать к ней присоединили Крым. Это о наших местах писал Григорий Дани-

левский в романе «Беглые в Новороссии». А знаешь, что говорит современный историк Егор Холмогоров о становлении Новороссии? Перескажу своими словами. Долгими столетиями шла борьба цивилизации со степью, медленно надвигался на степь оседлый народец. Это было пространство народной колонизации, осуществляемой именно русскими людьми. Никому и в голову не приходило, что Новороссия может считаться какой-то Украиной. Она скорее была внутренней русской Америкой с её пёстрым населением. Отец Новороссии князь Григорий Потёмкин-Таврический пытался возвести под южным солнцем города по типу Петербурга, но не успел закончить свой проект. Однако заданное им направление создало со временем Новороссию, столь не похожую на аграрную Украину. Смелые эксперименты в этих землях требовали новых людей. И они ехали из внутренних великорусских губерний, создавая по уральскому духу заводы в Луганске и Донецке. К концу девятнадцатого века Донбасс и Харьков стали развитым промышленным регионом, считались неотъемлемой частью России, а Украина с её гоголевскими вечерами и двусмысленной памятью о Мазепе была где-то далеко. Надеюсь, теперь ты понял, что русских на родной земле хотя бы покоришь люди, чуждые нам по духу и воспитанию.

— Да ещё и униаты, не православные, — добавил Крашенин.

— Истину глаголешь, сын мой! Мы были, есть и будем русскими. Если все эти наймиты Запада не поймут по-хорошему, мы будем биться за свою свободу.

— Я с вами, мой командир!

— Ты не один, Веня, и слава Богу!

Венька Крашенин лежал в «корыте» плоской крыши на окраине Славянска уже четыре часа, начали затекать ноги и спина, во рту от сухости всё сморщилось... Но вот он наконец-то, шум винтов вертолёт! Машина пролетела над домами окраины очень низко, явно проверяя, нет ли где диверсантов, и пошла на посадку у блокпоста. Шум винтов затих, но совсем не прекратился.

«Хорошо! — подумал Вениамин. — Значит, посадка будет скорой».

Уже не опасаясь, что его заметят сверху, он сделал несколько глотков тёплой воды из фляжки и приготовил переносной зенитно-ракетный комплекс. Издалека были видны фигурки людей, ныряющих в вертолёт.

Шум винтов усилился, «вертушка», чуть накренившись вперед, начала подниматься и пошла прямо на Крашенина... Выстрел... Поспешно прыгая в лаз, ведущий к лестничной клетке, Венька успел увидеть, как снаряд пронзает пузатую машину.

— Прощай, «друг» мой заклятый! Прости меня Господи! — Вениамин перекрестился и быстро побежал по лестнице.

Вышел на улицу, всё тихо, только невдалеке в небо поднимался чёрный густой дым.

Штаб батальона ополченцев был недалеко, и вскоре он предстал перед командиром.

— Товарищ полковник!..

— Мне уже всё доложили. Молодец! И ещё поздравляю тебя с победой над твоим личным врагом.

— Полагаю, что так, но точно утверждать не могу.

— А я могу. «Укры» по всем каналам связи доложили в Киев, что сбит вертолёт, в котором был генерал Близнюк и двенадцать спецназовцев. Все погибли. Помянем сержанта?

— На этот раз не откажусь.

— За нашу победу! За Новороссию! За нашу Великую Россию!



Краеведческая МОЗАИКА

Трындычиха из Царицына

Эмилию (Эмму) Трейвас многие помнят по роли Трындычихи в знаменитой музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». Но, к сожалению, мало кто сейчас вспоминает, что родилась Эмилия Моисеевна 26 августа 1918 года в нашем городе — Царицыне Саратовской губернии.

Кто она? Скорее всего, ее звали Розалия (Роза) Трейвас. Она была первой законной женой Леонида Хрущёва. И хотя этот недолгий брак был аннулирован по личному распоряжению Н. С. Хрущёва, у Розы родилась дочь Юлия.

О послевоенной судьбе Розы Трейвас и ее встречах с бывшим тестем пишет публицист Лев Колодный: «До 1925 года Трейвасы жили в Москве, а затем снова уехали в Полоцк, где Эмилия пошла учиться в среднюю школу. Учебу в 1936 году закончила в Москве, куда семья Трейвас вернулась в начале 30-х годов».

В столице Моисей Трейвас работал сначала комендантом Центрального дома Красной Армии, а потом — на Московском электрозаводе имени Куйбышева заведующим лесной секцией. Кстати, сейчас бывший ЦДКА хотя и называется Культур-

ным центром ВС РФ, но в нем все так же есть должность коменданта.

Здесь кроется еще одна загадка: как в столице приезжий провинциал сумел получить «политически ответственную» или, как сказали бы сегодня, «престижную» должность? Почему он оставил ее?

Дело в том, что в 1930—1931 годах заведующим орготделом Сокольнического и Бауманского райкомов ВКП(б) в Москве работал Борис Трейвас. Скорее всего, родной брат Моисея Трейваса. Вот как о нем отзывался Н. С. Хрущев в своих воспоминаниях: «Трейвас — очень хороший товарищ. Фамилия Трейваса в 20-е годы была широко известна как комсомольского деятеля. Это был очень хороший, дельный человек... Сейчас, когда прошло столько лет, я должен сказать, что Трейвас очень хорошо работал, преданно, активно. Это был умный человек, и я был им очень доволен. Трейвас трагично кончил свою жизнь».

В апреле 1937 года Б. Е. Трейвас был арестован, а в августе расстрелян. Его сестра Фрума Ефимовна Трейвас получила 8 лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки.

Почему не пострадало семейство Моисея Трейваса? Видимо, потому, что отказалось от родственников — «врагов народа». После школы Эмилия Трейвас один год работала в военном отделе редакции газеты «Комсомольская правда». Тоже, видимо, благодаря тому, что дядя был партийным активистом.

В 1937 году она поступила на драматическое отделение Театрально-музыкального училища имени Глазунова, которое с отличием окончила в 1941 году. В это время она снялась в фильме «Свинарка и пастух» в роли подруги главной героини Глаши, но в титры фильма её имя почему-то не попало. На съёмках произошло важное событие в жизни Эмили Трейвас — она познакомилась с Ларисой Ладыниной. Их дружба продолжалась всю жизнь. После окончания института Эмилия не вышла на театральную сцену и не попала на съёмочную площадку — 8 июля 1941 года она вступила добровольцем в народное ополчение Москвы. С декабря 1941-го по декабрь 1942 года служила в агитбригаде Сибирского военного округа под командованием Николая Черкасова. И только в самом конце 1942 года она стала артисткой Дома Красной Армии Западного фронта, в апреле — мае 1943 года — артисткой ЦДРИ СССР.

В 1943 году Эмилия Трейвас была принята в труппу Центрального театра транспорта. Считается, что основным амплуа актрисы стали комедийно-характерные роли, которым хорошо соответствовала её внешность.

Первый раз Э. М. Трейвас вышла замуж еще до войны, но её муж погиб на фронте. Вторым супругом стал актер В. П. Мамонтов. Они познакомились в театре и прожили вместе до конца жизни. От первого брака у Владимира Павловича было две дочери, с младшей из которых Ириной у Эмили Моисеевны были в дальнейшем очень теплые отношения.

В 1958 году Эмилия Трейвас стала работать в Москонцерте. Вместе с мужем Владимиром Мамонтовым она ставила всевозможные сценки, отрывки из спектаклей, юмористические зарисовки, с которыми гастролировала по стране. Одним

из самых удачных был знаменитый отрывок из пьесы «Шторм», где она играла спекулянтку.

В 1960 году, почти через двадцать лет после фильма «Свинарка и пастух», в жизнь Эмили Трейвас снова вошло кино. Она сыграла повариху Ангелину Пархоменко в музыкальной комедии «Девичья весна». Затем были фильмы «Совершенно серьезно» (1961), «Веселые истории», «Как рождаются тосты», «Необыкновенный город», «Черемушки» (1962), «Внимание, в городе волшебник!» (1963), «Двадцать лет спустя» (1965), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Золотой теленок», «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Мистер Твистер» (1969).

Те, кто знал Эмилию Моисеевну, считали её очень мудрым человеком. Она умела дружить, поэтому её всегда окружало много интересных людей. Не имея большого достатка, она была очень радушна, обладала удивительной скромностью, никогда не «пробивала» себе роли. Даже когда Людмила Зыкина предложила ей помочь получить звание заслуженной артистки, она отказалась, сославшись на то, что это должно произойти само собой. Был у неё и литературный талант. Она очень хорошо писала юмористические стихи, на дни рождения радуя ими своих друзей.

Умерла она 8 января 1982 года. Приехала в гости к близкой подруге Марине Ладыниной. Как всегда, разговаривали по душам, и вдруг ей стало плохо. Врачи «скорой» констатировали инсульт. Эмилию Моисеевну увезли в больницу, но спасти её не удалось. Урна с прахом актрисы захоронена в колумбарии Донского кладбища Москвы. На этом же кладбище есть могила жертв политических репрессий, где похоронен Борис Трейвас.

Александр ФОЛИЕВ

«Гличь» и не сарептское масло

3 сентября 2015 года исполнится 250 лет со дня основания Сарепты. Это века для всех живущих на территории нашего края и особенно для наследников первых

колонию, которые основали немецкие поселения на территории России, для тех, кто видит в нашей истории и часть своей.

Пожалуй, нигде в России так, как в Волгограде, не любят горчичное масло. На нем жарят рыбу — чтобы корочка была золотистая, им салаты заправляют — чтобы с горчинкой, добавляют в тесто. Сейчас два завода в Волгограде производят нашу драгоценность, и не без успеха — их продукция известна по всей стране.

Сарепту основали в 1765 году как колонию гернгутеров, в основном выходцев из Германии, главной целью которых было миссионерство среди калмыков. Но производства, которые они здесь создали, впоследствии стали действительно «локомотивными» для всей России. Прежде всего, речь шла о производстве горчичного масла.

До XIX века основными пищевыми растительными маслами на Руси были горькие на вкус льняное, конопляное, а также импортные — дижонское, оливковое, которые были более дорогими и тоже горькими. В статье В. Медведева говорится о том, что опыты Н. Бекетова, а потом сарептянина Конрада Найтца по разведению горчицы позволили получить горчичное масло отменного качества. В 1810 году оно было поставлено ко двору императора. Александр I удостоил Найтца золотых часов, и после этого в Сарепте стало развиваться промышленное производство. Машина работала на конной тяге — лошади ходили по кругу и крутили жернова. Вскоре управление производством перешло к зятю Конрада Найтца — Иоганну Гличу. Так основалась торговая марка «Гличь», которая со временем приобрела известность во всем мире. Объемы производства росли, и в середине XIX века уже существовали десятки горчичных фабрик: в Сарепте, Малых Чапурниках, в посаде Дубовка, в Царицыне. Разведение горчицы распространилось на север до Самарской губернии, на запад — до Тамбовской и Харьковской.

Долгое время сарептское масло оставалось эталоном — в отличие от других масел, оно было чистым и прозрачным, светло-янтарного цвета, без осадка. При

его производстве использовались тщательное шелушение и очистка зерна, прессование и отстой готового масла. Но главной особенностью технологии было то, что семена горчицы выдерживались три года в амбарах при постоянной температуре! Этого позволить себе не мог практически ни один производитель.

Пришло время, когда сыновья Иоганна Глича — Константин и Фердинанд — решили полностью модернизировать предприятие. В 1856—1857 годах они построили четырёхэтажное кирпичное здание на берегу Сарпы, установили паровую машину, изготовленную в Германии, городе Плау (Мекленбург), грузовые лифты, транспортеры, паровое отопление. Ассортимент продукции увеличился до восьми сортов, объем производства вырос почти наполовину. В 1859 году император Александр II наградил Фердинанда Глича серебряной медалью «За полезное» на Станиславской ленте. Фирма получила право именоваться поставщиком Двора Его Императорского Величества. Фамилия Глич стала очень известной в России.

Помнят о знаменитых мастерах и поныне. В Волгоград не раз приезжали наследники Гличей из Швейцарии и Германии. Несколько лет назад с двумя из них мне довелось общаться. Это Гюнтер и Армин Глич, чей прадед уехал из России в начале XX века. Когда-то, ещё в 1910 году он получил приглашение на празднование 100-летия «Торгового Дома Гличь», которое широко отмечалось, но приехать в Сарепту не смог. Бурные годы революций, смена власти сделали эти надежды совсем призрачными. Его сын в качестве служащего по фортификациям во время Второй мировой войны надеялся побывать в Сарепте, даже был под Сталинградом, но не дошел.

И вот уже правнуки осуществили давнюю семейную мечту. Мы не могли обойти вниманием старое здание горчичной фабрики. Оно простояло полтора века и просто просится, чтобы его отреставрировали. Я представляю, какие чувства переживали Гличи, похлопывая по старым стенам. Первый вопрос Гюнтера Глича был: «А где паровая машина?»

В книге П. П. Попова «Слово о Старой Сарепте» рассказывается о том, что после Гражданской войны все производства Сарепты были разрушены. При большевиках паровая машина была демонтирована и отправлена в Политехнический музей в Москву. Сотрудники музея «Старая Сарепта» пребывали в гордой уверенности, что одна из первых в мире паровых машин действительно находится в этом замечательном музее в Москве.

Недавно мне довелось посетить Политехнический музей. На втором этаже выставлены экспозиции по разным отраслям промышленности XIX и XX веков, но нашей сарептской паровой машины там нет. Я обратился за разъяснениями к ведущему специалисту музея. Он с интересом выслушал меня и сказал, что ничего не знает об этой машине. Конечно, она наверняка была бы заметной частью экспозиции. Увы, по его словам, многие подобные экспонаты, попадавшие в музей в начале советской эпохи, не сохранились — «время было такое».

В музее «Старая Сарепта» мой рассказ тоже вызвал уныние — умерла еще одна легенда.

Посетили мы и современный горчичный завод. Его директор с гордостью показал новые технологические линии, угостил гостей своей продукцией. В современной Германии горчичное масло почти неизвестно. Там оно считается технологическим и используется только в промышленных целях. Кстати, на мой вопрос о старой сарептской технологии директор улыбнулся и сказал: «Разве сейчас кто-то будет три года ждать чего-то? Поэтому наше горчичное масло выпускается примерно по той же технологии, по которой работали конкуренты фирмы «Глиച്ച്», и имеет мало общего с настоящим сарептским маслом».

В музее «Старая Сарепта» открыта «горчичная» экспозиция. Там можно увидеть старые этикетки и бутылки, а также образцы современной продукции. Масло «Сарепта» и «Горлинка» имеют янтарно-горчичный цвет, особенный аромат, и мы привыкли ими гордиться. Например, если мне приходится ехать в другой город, я часто везу в подарок бутылку нашего горчичного масла. Оно имеет неповторимый, не сравнимый ни с каким другим маслом вкус. И всё же оно современное — не сарептское.

Александр СМИРНОВ

Отчий край

Литературно-художественный иллюстрированный журнал

Подписной индекс — 73662

Выходит 4 раза в год

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
400001, Волгоград,
ул. КИМ, 6

ТЕЛЕФОН: 26-93-09
otchiykray@mail.ru

Рукописи по электронной почте не принимаются

УЧРЕДИТЕЛИ:

Министерство культуры
Волгоградской области,
ГБУК «Издатель»

ИЗДАТЕЛЬ:
ГБУК «Издатель».
400001, Волгоград,
ул. КИМ, 6

Журнал зарегистрирован
в Ростовской региональной
инспекции по печати.
Свидетельство № Р1116

Художественный редактор
Вадим ЖУКОВ

Технический редактор
Татьяна ПРОХОРЕНКО

Корректор
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Подписано в печать 02.12.14
Формат 70х108/16.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,9.
Уч.-изд. л. 22,8.
Заказ 2404тп.
Тираж 1000 экз.

ООО «Т-Пресс»
при содействии ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат»».
400001, Волгоград,
ул. КИМ, 6

Тел./факс:
(8442) 26-60-10



“Театральные диалоги”. Так назывался фестиваль, прошедший нынешней осенью. В нём приняли участие театры Волгограда, а также Волжский и Камышинский драматические театры. По словам Министра культуры Волгоградской области Виктора Гепфнера, «Театральные диалоги» открыли новую яркую главу в летописи нашего края. Фестиваль помог деятелям современного искусства обменяться профессиональным опытом, соотнести друг с другом критерии художественного творчества, формы диалога со зрителем. Он стал достойным продолжением замечательного фестивального проекта, состоявшегося на волгоградской земле более двадцати лет назад – Первого международного театрального фестиваля с участием коллективов из Италии, Германии, Англии, Америки, Египта и других стран, проведённого Волгоградским НЭТ ещё в 1991 году».

На суд зрителей и столичной критики волгоградские театральные коллективы вынесли свои лучшие работы последних лет. «Продавец дождя» и «Вера, надежда, любовь» представил НЭТ. В исполнении актёров Молодёжного театра зрители увидели премьерный спектакль «Мой век». ТЮЗ показал пьесу «Шалый, или Всё невпопад» по мотивам произведений Мольера. Волгоградский музыкальный – оперетту Рауфа Гаджиева «Кавказская племянница», «Царицынская опера» оперу «Евгений Онегин». Не остались без внимания и работы других театров.

По мнению уважаемых театральных критиков – главного редактора журнала «Театральная жизнь» Олега Пивоварова, «патриарха» театроведения Николая Жегина и сценариста Александра Смольякова, «Театральные диалоги» по уровню организации и качеству представленных спектаклей могут претендовать на статус всероссийского и даже международного фестиваля.

С НОВЫМ ГОДОМ

